

# ГРАНИ

GRANY

# 42

# 1959

---

Postverlagsort: Frankfurt (Main), 1. 4. 1959

# Г Р А Н И

ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Год издания XIV

№ 42

Апрель - Июнь 1959 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

### ПРОЗА

Л. РЖЕВСКИЙ — Две недели ( <i>Записки с больничной койки</i> )	3
†БОРИС ШИРЯЕВ — Хорунжий Вакуленко. <i>Неоконченная повесть</i>	23
АЛЕКСАНДРА МАЗУРОВА — «Только всего — жизнь!...». <i>Повесть</i>	63
АГЛАИДА ШИМАНСКАЯ — Эпизод. <i>Рассказ</i>	82

### ИЗ УКРАИНСКОЙ СОВРЕМЕННОЙ ПОЭЗИИ

ИГОРЬ КАЧУРОВСКИЙ — Вместо предисловия	86
Микола Зеров, Максим Рыльский, Павло Филипович, Михайло Драч-Хмара, Павло Тычина, Володимир Свидзинский, Евгений Плужник, Олег Ольжич, Елена Телига, Олекса Стефанович, Юрий Клен, Евгений Маланюк, Михайло Орест, Иван Вагряный, Богдан Кравцев, Порфирий Горотак <i>в переводе Игоря Качуровского</i>	89
Краткие сведения об авторах	108

### ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

З. АРБАТОВ — Встреча с Максимом Горьким	111
А. СЛУЧЕВСКАЯ-КОРОСТОВЕЦ — Воспоминания об отце	117
К. К. СЛУЧЕВСКИЙ — Загробные песни	123

### ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Письмо о поэзии П. Востокова	133
ЭММАНУИЛ РАЙС — Украинская поэзия нашей эпохи	136
Р. ПЛЕТНЕВ — «Жизнь» — стихотворение в прозе	154
МИХАИЛ БЕРЛОГИН — Из дневника критика	158

### ТРИБУНА ПИСАТЕЛЯ И ЧИТАТЕЛЯ

- Н. НАРОКОВ — Привычки, преференсы и каноны 163  
В. МАНЬКОВСКИЙ — «Взгляд, затянувшийся папироской...» 170

### ФИЛОСОФИЯ. ПУБЛИЦИСТИКА

- ФЕДОР СТЕПУН — Немецкий романтизм и философия истории славянофилов 176  
Проф. Н. АЛЕКСЕЕВ — Природа и человек в философских воззрениях русской литературы 187  
С. ЛЕВИЦКИЙ — Заживо потребенный Век 205  
Л. ФЕДОРОВ — «Педагогическая поэма» коммунизма 212

### БИБЛИОГРАФИЯ

- Николай Армазов. Участь страсти. — К. Ф. Жизнь писателя. — И. Гусев. «Юность» — журнал молодых. — Григорий Забегинский. О «Мостах» через пропасть. — Г. Борский. Тарасов-Труайя — французский академик. — М. Шведова. Врачи в концлагерях. — О. Красовский. Молодежь и коммунизм. — М. Залевский. В защиту идеи промышленной демократии.* 231

## Две недели

(Записки с больничной койки)\*

... Заглянул из соседней палаты Вагнер — посмотреть, слушаю ли я радио. На простодушно-жуликоватом лице — удивление, чуть, пожалуй, даже и обида, что я все еще жив.

Бедный Вагнер! Дней десять назад он принес мне маленький детекторный приемник с наушниками для услаждения моих последних часов (я был тогда в жару) и доброго дела, за которое он, вероятно, втайне ожидал себе с небес поощрения. Доброе дело затягивалось; может быть, объявился и другой кто-нибудь, нуждающийся в музыкальной утехе.

Как на зло, наушники, когда он вошел, лежали заброшенно под стопкою книг.

— Geht es nicht? \*\*) Или вы не интересуетесь? — спросил он и пригнулся за ответом, смешно отвернув ухо, чтобы я не дохнул ему ненароком в лицо.

Я сказал, что от наушников болят у меня виски.

— Так я заберу тогда? А? — оживился он и стал вытаскивать шнур из штепселя, свистя легкими (у него их оставалась только половина).

Все собрал и ушел.

Не жалко! Музыка сейчас для меня тяжела и не дает отвлечения: все знакомое я не слушаю, а вспоминаю — где, когда слышал, с кем... Главное же: нашлось, наконец, настоящее отвлечение. И какое! Когда позавчера сестра-благодетельница принесла мне этот восхитительный постельный люпитр, на котором сейчас пишу; когда положил на него бумагу и повел пером, — я готов был плясать и кричать «эврика!», если бы мог... Никогда не пробовал раньше писать в кровати, хотя знал, что пишут же многие (даже здоровые). Оказалось — удобно!

От возбуждения поднялся к вечеру жар, и сестра пригрозила, что отнимет столик.

Вчера утром сналету исписал десять страниц, порядочной, должно быть, чепухи...

---

\*) Фрагмент из книги «Оптимистическая история», выходящей в ближайшие месяцы в изд-ве «Посев». Ред.

\*\*) Не действует? (нем.)



Потом расхотелось записывать всякое «взгляд и нечто», а непременно — рассказывать.

Ходил после обеда по парку и придумывал, как поинтереснее построить рассказ на тему «Две недели, или укрощение страха»... Нет, только в виде записок, другого ничего не выдумаешь; выдумка безголоса, как я сам, выгеснена слишком уж ощутительной правдой, которая сверлит и жжет в глотке.

Об «укрощении страха» сейчас и начну.

\*

Когда в восточнопрусском приозерном городишке врач объявил мне, что у меня в обоих легких процесс, — страха я не почувствовал. Хрипота, о которой он весьма мрачно распространялся, тоже не тревожила: мало ли от чего хрипнут люди. Когда выяснилось, что мне выхлопотали отправку в тыл, в лазарет, я даже и обрадовался. Правда, пока этой отправки ждал и взялся мерить температуру, начал довольно быстро разбалываться и входить в роль... Но страха не было.

Страх появился позже, уж в санитарном поезде, после долгой прохочущей ночи, укачавшей меня на моей верхней койке до одурения.

Проснулся — накат в масляной краске над самым лицом; желтоватые, пополам с йодоформом, качающиеся потемки; синий кусок стекла под свившейся створой, за которой несутся тени. Утро!

Потянул свесившееся с койки одеяло и от этого ничтожного усилия вдруг ослаб.

Подошла санитарка с длинным желтым лицом: «Wie geht's?»\*)

Хотел ей ответить — в горле забулькало и забил кашель. Прочел испуг у нее на лице, который она пыталась замаскировать, показав ни к чему, тоже желтые, зубы.

Принесла стакан с чем-то пузырьчатым, вроде нарзана, привинтила к койке столик-тарелочку на стрекозиной ножке. Ушла к тамбуру и стала говорить что-то санитару с красной, словно обваренной лисинной.

По тому искусственному углу, под которым она при этом от меня отворачивалась, я понял, что разговор обо мне...

Синий клинушек окна напротив светлеет. Рядом с ним — голова, забинтованная, как кокон, с желтым, похожим на муляж, лицом и каменно-неподвижными веками, по которым чиркают тени. Потом санитарка, помельтешив в проходе спиной, натягивает на эти тени простыню.

Накат над головой становится нестерпимо низким и душным.

Закрываю глаза, чтобы его не видеть...

Просыпаюсь оттого, что кто-то смотрит в упор.

Два лица: длинное, с желтой улыбкой — санитарки и круглое, блестящее очками и розовым глянцем щек — доктора с резиновыми змейками стетоскопа в крахмальном кармашке халата. Совсем молоденький доктор, только, видать, перескочивший через свои экзамены.

\*) Как дела? (нем.)

— Ну, как? — спрашивает он и тотчас же машет на меня руками: «Не отвечайте, не отвечайте, вам трудно» . . . — Берет у санитарки конверт, щурясь рассматривает на свет рентгеновскую фотографию, снимающую в людях смерть. Листает какие-то бумаги . . .

Очень мне нравится этот юноша-доктор. Похоже на то, что он только что получил письмо от невесты: когда он хочет быть сосредоточенным, он морщит лицо в гримасу — иначе ничего не выходит.

— Жжет горло?

— Очень.

— Ну, ничего! — говорит он, снова выпуская на щеки улыбку. — Приедем в Дрезден — и все уладится. Там первоклассные специалисты. Kehlkopftuberkulose там лечат прекрасно!

Kehlkopftuberkulose — горловая чахотка . . .

Я до сих пор горжусь тем усилием, которое сделал тогда, чтобы он не заметил, что о горловой чахотке я слышу впервые. На минуту даже зажмуриваю глаза . . .

Он и не заметил. «Дрезден — чудесный город. Город-музей. Его даже вражеская авиация щадит! — говорит он, уже отходя от меня. — Пока что давайте ему вина, а потом . . .»

Санитар, наклонив вареную лысину, распахнул перед ним дверь, впустив в вагон с площадки глухой пережат колес . . .

А потом пришел страх.

Много уже позже, в разговорах и из кое-каких раздобытых книг, узнал я подробнее об этой болезни и лотерейных шансах на выздоровление. Тогда же, в то утро, по моим понятиям, горловая чахотка означала конец, неопределенный и близкий, вот-вот за плечами.

С этим и ехал с полчаса, холодея, как в судороге.

Ждать конца мне случалось и раньше. Я знал, что к страху перед концом цепляется обычно и другой, не менее страшный: страх перед невозможностью, могущей свести с ума, об этом конце не думать. Одолеть эту невозможность — в этом состояла уж после и теперь состоит моя драка со страхом. Но тогда, в поезде, я был захвачен врасплох.

Мне стало вдруг жаль себя самого до слез, обильных, расслабленных, закипавших сперва сами по себе, от этой жалости, а потом — по любому ничтожному поводу.

Оконную штору напротив, после того как вытащили забинтованного, санитарка раздернула совсем; там, за окном, в утреннем глянце-вом солнце, заплывали веером, дымчатым, рыжим и зеленоватым, поля и пахоты. Весна! . . .

А когда войдет в силу — меня уж и закопают.

Турфяное рыжее поле с лощинкой и бахромой перелеска. По лощинке, вдоль перелеска, идет человек. Должно быть, охотник. Прикрываю глаза и вижу отчетливо: конечно, охотник — высокие, выше колен, сапоги и взакладку ружье. Шаги тяжело вязнут в хлюпающем, только что оттаявшем дерне, в зыбких кочках, и я слышу это хлюпанье и парной, пьяный запах земли . . .

Как хочется жить! . . . Счастлив, кто может вот так вот вдыхать этот запах и ветер в лицо и возбужденно-устало куда-то спешить! —

Домой, вероятно, откуда кто-то проводил и собрал тебя в путь на вечерней заре и встретит — на утренней.

Меня в этот мой последний этап на подвесную вагонную койку не провожал никто, и никто и нигде не встретит...

Какая это обидная и тяжелая жалость — жалость к себе самому, жалость покинутости!

Припоминаю, как ждал в больничной приемной отправки на поезд. Непонятно, по какому инстинкту: еще более разжалобиться или отвлечься — примысливаю при этом то, чего не было.

В таком, приблизительно, виде, если восстановить уже задним числом:

Белая, в масляной облупившейся краске приемная. Окно на площадке, на желтый с вишневым крестом автобус, в который сносят и сводят больных. Мы в приемной одни — я и Т. (Т. — это Та, которую люблю больше всего на свете). Мы молчим. Я почти слышу слова, которые мы хотим выговорить. Но мы их не выговариваем. От попытки сказать что-нибудь или улыбнуться у нее только вздрагивают углы губ.

Какой разительный контраст между этой приемной, шелудивой скамьей, лизоловой вонью со стен — и весенней фиалковой свежестью, которой веет на меня рядом!

Легкие ее пальцы на моей руке тоже чуть вздрагивают, и я боюсь повернуться, чтобы не дохнуть ей в лицо.

Автобус гудит напоминающе...

— Ты сейчас же напищешь, куда тебя отвезут, и я приеду... Да? Да? — говорит она, и я начинаю целовать ее руки. Она обхватывает мою голову, прижимает к себе, под подбородком, судорожно гладит меня по волосам, и я слышу, как бьются толчками у нее в горле удерживаемые слезы...

Я не хочу, чтобы она провожала меня до автобуса.

Я жду у окна, несмотря на автобусные сигналы-гудки, покуда она переходит площадь.

Вот она уже у рекламной тумбы, густо облепленной приказами. За тумбой — поворот в переулок. Обернется? Нет, не обернется, потому что она теперь плачет — я вижу это по ссутулившимся ее плечам и сбивающемуся шагу.

Мысленно догоняю ее, беру за плечи, поворачиваю лицом, целую плачущие глаза и — крепко, преступно — соленые от слез губы.

Потом плачу вместе с ней.

Потом плачу у окна, потому что она не обернулась, потому что так ясно, что это уходила от меня и ушла, завернув в переулок, ж и з н ь . . .

Потом оба мы — я у окна и я на вагонной койке — плачем о том, что все это вымысел, что Той, которую бы любил больше всего на свете, не было в этом городишке с серым незамерзающим озером. Не было вообще в моем окружении. Не было, может быть, никогда и в прошлом. Не будет теперь уж и в будущем...

Не будет, не будет, не будет...

— Вино! — сказала, подходя, санитарка. Вытерла тряпкой столик-тарелочку и поставила на него стакан. — Sofort trinken!\*)

Вино было густое и терпкое, похожее немножко на наше кавказское Каберне.

\*

Слезливость и сантименты прошли. Страх остался. Кривая его напоминала температурный график, который вычерчивали в моих больничных листках, или — за окошком то взлетающие, то проваливавшиеся телеграфные провода.

Я все смотрел и смотрел в это окошко напротив, покуда уж ничего не стало в нем видно, кроме расплывшихся желтых клякс фонарей в запотевшем стекле.

Потом побежали, кувыркаясь, кляксы синие — стрелок. Дрезден!

Там, в Дрездене, кривая пошла было вниз. Я узнал, что горловую чахотку действительно где-то в центре города (лазарет был в предместье, над Эльбой) лечат: выжигают с голосовых связок раскаленной иглой. Мне обещана была в это спасительное место поездка.

Я ждал терпеливо, мирясь с жжением в глотке, аптечным холодком палаты и сожителями.

Их было двое: квадратный летчик в свирепом жару и круглый, свисавший с потолка, шар-ночник, днем молочно-белый, блестящий, а к вечеру голубой.

Про этот шар я — совершенно серьезно: он мне мешал больше, чем бред и стоны Квадратного, — он давил меня, приходясь всегда прямо перед глазами, огромный, то неподвижный, то словно покачивающийся, особенно по ночам, когда он исходил голубым тусклым светом и выплывали на нем какие-то лунные айсберги и кратеры, и он тяжелел, вдруг наливаясь тенями, и казалось мне, вот-вот сорвется, и я зажмуривался. . .

Когда днем становилось особенно тяжело от сожителей, я вставал, садился к ним спиной у окна и часами глядел сквозь сетку почковатых ветвей на далекий город за невидной отсюда, под высоким берегом, Эльбой. Он брезжил вдали великолепной мозаикой, нежнейшими красками, размытыми перспективой и отблесками облаков, и я мысленно выбирал в пестрой россыпи крыш — ту, под которую меня повезут спасать. . .

И все пошло прахом!

Полузадохшись в подвале от неоновом мертвого света и запаха извести со сводчатых стен (прошло уже несколько часов, как начали кидать бомбы и лить фосфор), я побрел наверх, в свою палату: рефлекс «убежища» был у меня утерян.

В голубом вздрагивающем от дальних разрывов полумраке тяжело дышал в забыты Квадратный.

Выключив свет, я поднял штору затемнения.

Город на Эльбе горел. Сплюснутым клюквенным языком гладило

---

\*) Сразу же выпейте! (нем.)

пламя краюшку неба, то вылизывая ее дочерна, то заполняя собой и швыряя вверх сгустки малиновой мути. Выше оно полыхало оранжевым; еще выше, во весь уже купол — дымно-лиловым и розовым, растворив в себе звезды... Жидкий отблеск его вползал в палату — шар-ночник мерцал, как опал, зловецким голубоватым мерцанием.

Я глядел долго и оцепенело, пока не оторвали меня от окна хруст пружин за спиной и странные звуки: Квадратный сидел в мутно-розовой кипе простынь и подушек, кренясь к окну туловом, и плакал — хрипя, задыхаясь и лязгая зубами.

Я боялся, что он разгрызет край стакана, когда давал ему пить.

Я только наутро узнал, что он был многосемейный и что семья его жила в Дрездене...

\*

— Не хочу вас обманывать, — хмуро сказал дрезденский лазаретный врач. — Дело не в том, что все сторело и везти вас некуда, но мы вообще не лечим горло, пока не закроются в легких очаги бацилл. Иначе, вы понимаете, все повторится снова...

— Но они не закрываются...

— Ничего нельзя сделать. И потом — вы же видите... — повел он рукой вокруг.

Я взглянул и увидел то, что еще незаметно было в палатах: выпотрошенные ящики столов, папки с бумагами по углам и на стульях — признаки знакомые: эвакуация!

От нее у меня сейчас в памяти: длинный поезд из третьеклассных вагонов, продиравшийся к югу сквозь завесу из бомб на каждом почти узле и разъезде. Люди с кровоточащими легкими, разбегаясь, валились в сутробы (здесь лежал еще снег вперемежку с проталинами), потом снова забирались в вагоны. Ртуть в вагонных термометрах сплывала к нулю, в медицинских, под мышками, рвалась вверх; амплитуда была ознобом. Пыль неслась в лицо от соломы и войлочных одеял, наваленных всюду для согревания. Горло ссыхалось, в него словно забивал кто-то мелкие гвоздики. В спасательные перебежки по путям и перронам я пил воду из полуоттаявших, в желтых сосульках, кранов, вряд ли уже понимая, что делаю.

Сюда привезли меня в беспамятстве...

\*

До-ре-ла-бим-бам-бом...

Мое первое впечатление на новом месте, в одиночке, где сейчас лежу, — эта растрепанная гамма, ниспадающая цимбальной каплей с лазаретной курантовой башенки каждые четверть часа. Покуда я не привык, она мне очень мешала, как в Дрездене лунный шар, волооча с собой всякие ненужные смежности.

Впрочем самые первые дни я был в жару и кошмарах.

В них чередовались пожар и бомбардировки, — бомбардировки почему-то особенно часто. Напротив моей кровати, на стенке, висела репродукция с какой-то Мадонны, похожей на леонардовскую из нашего Эрмитажа. Голубой клочок фона над ее плечом вдруг вырастает



в небосвод и занимается дымно-малиновым заревом. Потом небо опять голубеет, и из-за невидимого горизонта выплывает на него самолет — темные капельки бомб, опрыскиваясь от него, — я отчетливо видел — летят на меня по кривой. Я кричу . . .

Репродукцию сняли . . .

Но об этом скучно рассказывать. Встреча с главным врачом — вот откуда и сейчас я веду свое здешнее летоисчисление.

Он прислал за мной сестру-ассистентку, как только я снова мог спускаться с постели. Она повела меня по длинным вывощенным в зеркало коридорам.

Покуда идем с ней — скажу немного о сестрах.

Они здесь монашки, какого-то ордена, в головных уборах парусом, падающим на плечи каменно-крахмальными складками, как у сфинксов, — словом, вроде тех монашек, которых так бойко и зло изобразил Маяковский в известном своем стихотворении. Меня же, напротив, восхищала та жертвенность, с которой они с утра до ночи возятся с нами, самоотверженно вдыхая сонмы коховских палочек. Вечерами у них коротенькие службы в местной санаторской капелле: на разговор с Богом, в отличие от желейниц наших прежних православных монастырей (очень, может быть, характерное отличие), остается у них не так много уж времени. Тем не менее, вопреки Маяковскому, я думаю, что если бы Христос сюда «снулся», как выразился этот поэт, то задержался бы здесь, вероятно, подольше . . .

Одна из этих монашек, та как раз, которую за мной прислали, заняла в моей здешней судьбе особое место. У нее иконописный лик, именно — лик, не лицо, подчеркнутый облаткой повязки, закрывающей даже часть щек; карие под прямыми бровями глаза, очень пристальные, но как-то мимо тебя, словно бы в никуда, — «Богородицны глаза», как я мысленно их называл.

Я привязался к ней послушно, по-детски. Свыше этого «по-детски» — разве то, что охотно смотрю на нее: в ней много притягательно-женственного, несмотря на линейность и сухость походки и постава головы. Когда я смотрю на нее так, сверх разговорной надобности, она краснеет. Она вообще часто краснеет, быстро и ярко, когда начинает ободряющий или наставительный со мной разговор.

Но об этом — тоже потом. А тогда мы пришли с ней в пахнущую камфарой приемную с приборами для надувания больных, и через несколько минут главный врач меня вызвал.

Не везет мне с врачами! Не то чтобы здешний оказался мрачен и черств — это был пушисто-седой старичок, в румянце (сам тоже, как я после узнал, чахоточный), весьма душевный и милый, и тем не менее подстерг меня у него совсем недоброжелательный случай.

Покрутив меня в потемках у рентгеновского экрана, заглянув потом в горло и выстукав, он прошаркал с сестрой к себе в кабинет, велел мне одеваться. За дверью глухо звучали их голоса, потом треск машинки; снова голоса или голоса — и опять стук машинки: он диктовал, вероятно, сестре свои заключения.

И вдруг эта дверь, белой лаковой краски, плотная, как у сейфа,

приоткрылась, оплыв беззвучно вовнутрь, и я услышал слова...

Оба сидели ко мне спиной: он — за столом, сестра — отвернувшись к нему от машинки.

— Безнадежно! — говорил он. — Может быть, всего каких-нибудь две недели, не больше... Вот-вот он не сможет уже и глотать, и тогда...

Сестра спросила у него что-то, чего я не понял (они между собой говорят здесь на диалекте), и он, не отрываясь от бумаг, которые рассматривал, пожал весьма выразительно плечами.

Потом, после паузы, сестра снова повернулась к машинке, поймала глазами щель, выше — мои глаза и быстро, испуганно захлопнула дверь, щелкнув медной тяжелой, до сияния начищенной ручкой.

Решить не могу, когда крепче схватило меня отчаяние: в первый ли приступ страха там, в поезде, или теперь, когда, хоть и обвыкнув со смертью, вдруг подслушал такой себе приговор.

Пожалуй, все-таки теперь сильнее: теперь это было не «вообще», теперь уж назван и срок, утверждён, как «с подлинным верно», и наглядён... Покойников, я как-то видел, вывозили отсюда по длинной аллее на ручных черных дрожках. Острые, как велосипедные, колеса оставляли на талом снегу узкий желтый сочащийся след...

В коридоре в широкие окна било мартовское горячее солнце, клочки голубого неба и щебет на ветках (все это почему-то заметил я только сейчас, на обратном пути); круглая рыжая клумба у устья аллеи и дорожка вокруг уж совсем просохли.

Через две недели высохнет и аллея, и правый под колесами будет хрустеть...

В конце коридора мне встретился Курт, умирающий великан — о нем мне рассказывал Вагнер. У этого вовсе не оставалось легких, ни мяса — один длинный костяк в полосатом халате; срок его давно миновал — он оттягивал его сам своим нечеловеческим упорством: неизменно каждое утро, задыхаясь, сползал с кровати, брился в несколько приемов, с привалами, и шел в общий зал — дойдет до дверей и обратно.

Шел он туда и сейчас, упрямо закусив губу, стуча о стенку, за которую держался, сухими запястьями, — этакая жуткая смесь человеческой воли и уже отказавшихся служить, почти уже мертвых костей и суставов...

Во сколько же раз я был крепче его — мне ходить пока было нетрудно!

И я долго ходил взад-вперед у себя по палате; куранты принимались бить несколько раз, с каждым разом укорачивая на четверть часа мои две недели...

Вечером этого скверного дня заглянул ко мне пастор:

— Wie geht's?

Заметно изменился в лице (все пугались по первому разу), услышав безголосый мой шип. Пожевав губами, выбрал из кипы брошюрок под мышкой одну, положил на мой столик, сказал «Gute Besserung» и ушел.

Пастор меня доконал!

Сейчас, задним числом, мне, пожалуй, и стыдно, но тогда я расстроился вдребезги: брошюрка называлась «Существует ли смерть?». Было слишком ясно, почему он ее именно выбрал.

Существует ли смерть?

Для меня существует, реальная и неотвратимая — на черных узких дрожках с велосипедными колесами, влипавоющими в талый снег. С учетом этой реальности через две уж недели, минус два, три... — сколько там раз успели пробить часы?

Существует ли смерть?

Недавно случилось мне разговаривать с одним юным католическим богословом. Его почему-то интересовало: верю ли я в запретную жизнь.

— Буквально? По-церковному? — Я сказал, что думаю об этом анахронизме, расщепляющем сознание человека с его чаемой гармонией на земле.

— А утешение?

— Почему делать ставку на слабых и отчаявшихся? Да и у них, у отчаявшихся, не отнимает ли этот миф больше, чем дает? Не меркантильность ли это — ожидание компенсации и даже своего рода премии на небесах?.. Если я убил, а потом, запершись в монастыре, надеюсь вымолить себе царствие небесное, — построить земное подлинное братство немислимо. Все расчеты с Богом должны происходить только на земле — она сама по себе достаточно хороша для этого. Верить следует только в свою земную, Им подписанную, путевку — потусторонняя не нужна и бессмысленна. Ведь прожить жизнь по-христиански, зная, что исчезнешь в ничто, и тем не менее не впасть в отчаяние и цинизм — благороднее и смиреннее в духе самого же христианства. Обновленное христианство — будущее человечества, но корни подлинного человеколюбия и, значит, жизнелюбия — в отказе от мифа о потусторонней жизни и от произвольного самовозведения в бессмертие...

В ответ он затопил меня богословской своей эрудицией. Милые вы мои, думал я, слушая, — как же искусно переделали вы Бога в науку! Целые курсы построили на бессмертии и душе — все по главам, по полочкам, со специальными терминами, похожими на жаргон... Нелепо, мне кажется... Не потому, что не дано эмпирически, но потому, что вообще не дано, ни в чем, обращается в нуль, поскольку я не нахожу этого в своей вере.

Кажется, он обиделся и, разведя руками, вздохнул: «Тем хуже для вас».

Очень, может быть, что хуже, поскольку нет мне от бессмертия утешения...

В эту ночь, после пастора, совсем не удалось заснуть...

✱

Я сделал себе из одеял навес над кроватью, вроде палатки или щалаща, и залег: со стороны смотреть — как зверь в нору умирать, но не совсем так, хоть и было похоже, а для тепла. В палате не топили, и воздух резал мне горло, словно распиливали его на квадратики, — под одеялами было легче дышать.

Так и лежал, не выползая.

Приносили завтрак, обед — все чуть теплое, жидкое... Глотать я уж почти что не мог.

Приходила сестра с иконописным ликом, прыскала в горло мне мяту; обходя глазами мой шалаш, говорила, качнув крахмальным своим орнаментом, «Gute Besserung!» и бесшумно закрывала за собой дверь. Я с ней не разговаривал. Мне вообще ни говорить, ничего не хотелось, и все стало все равно.

Вряд ли был и с м е р т н ы й страх — он улелся, как гончая, загнанная зайца, с высунутым, довольным языком. — Встреча со смертью, как я ощущал, словно бы уж состоялась: дохнув ледяным холодком, она заглянула в меня мимоходом и хлопнула по плечу: «Вот, мол, я... И чего тут бояться?..» Был страх другой, и драка с ним продолжалась, — страх перед м ы с л я м и, собиравшимися неизменно в два только слова... Их надо было одолеть, заглушить — эти два каменных слова, вызывавших почти звериную жалость к себе, от которой все в тебе ныло и рушилось:

Кончилась жизнь!..

Днем мне еще удавалось кое-как отбиваться от мыслей. Припоминал, например, стихи, которые знал наизусть; потом — те, от которых сохранились только обрывки, отдельные строчки и рифмы, — днем удавалось.

Зато к ночи, когда дежурная, просунувшись парусом в дверь и сказав «Gute Nacht!», выключала свет, — я почти вовсе терял над собою команду. — Мысли подхватывали и тащили меня, как лодчонку, в самую коловерт, так что я едва успевал отпихиваться от особенно гиблых причалов.

Приходили на память острые, как буравчики, мелочи дня — красное пятно на платке или недобор в весе.

Приходили из прошлого разные потроха пережитого и, наконец, все загопляющий, как паводок, самый пронзительный сантимент — покинутости.

Были, носились где-то, по эту сторону рубежа, флюиды чьей-то обо мне памяти и участия? Может быть — заклеенные в конверт, заблудившиеся по пути?

Или их не было?.. Люди на льдине, дрейфующей в никуда, мои земляки и друзья по несчастью, робинзоны и пятницы, жили, как иногда представлялось мне, в каком-то душевном полуоцепенении. Они как бы имитировали подлинную жизнь, наполняя ее своим теплом и кровью, поскольку это были живые, здоровые люди, у которых целы все четыре половинки легких и нет клеточка в горле. Они радовались и терзались, бывали мерзко грубы или надрывно ласковы, пили, буханили, играли в карты, плакали, слушая по радио «Большой земли чувствительно-героические песенки, влюблялись на час — «Однаво живем!», но были в глубине души универсально ко всему равнодушны и странно бесчувственны к чужой судьбе...

Петрович? Писал ему дважды из Дрездена и один раз отсюда — безнадежно! Бог знает, где он там кочует, и не угодил ли в петлю между фронтами... Мара? Милая Мара! Она красива и ласкова. Она хочет жить со мной, она говорит... У нее очаровательная стремительность, она не стоит, как ключ, а все переливается, как ручей, меняя русла...

В наши редкие встречи меня тянуло к ней, как тянет от зноя в тень или продрогшего — к теплой лежанке.

Но в формулу «Та, которую любил» . . . ее подставить немыслимо, как дробь вместо целого . . .

\*

До-ре-ла-бим-бам-бом . . .

Каждые четверть часа, сквозь ночь и проплоченные сонные таблетки, сыпался на меня этот бой; и все тащил с собой в память из прошлого всякие другие курантные россыпи и переливы и целую киноленту смежных картин, лиц, эпизодов, хвативших бы на добрый том мемуаров.

Вот Спасская башня, с совсем другой гаммой, и неповторимые, в лвиных каменных гривках, зубцы кремлевской стены . . .

Старые города нужно смотреть еще не проснувшимися, до рассвета. Только тогда, отдышавшись от шарканья, чада и трохота, чуждых торжественным каменным взлетам и вымахам, живет в капителях и раструбах окон вдохновенная мысль их строителей . . .

Я любил прошагать на заре мимо исчезнувшей, но если закрыть глаза, как и прежде мерцающей свечками Иверской — на площадь, огромную, как залив, с лиловым вдали, еще не протаявшим красками бредом Василия Блаженного. И дальше, мимо мавзолейного короба и башни с курантами, — к скату, где уже тропают вертикали, сменяясь продольным слоеным речитативом — берегового гранита, реки, мутно сросшейся с фасадами набережной, и уже тронувшегося дымками и вороньими крыльями над россыпью крыш и труб зеленоватого неба Замоскворечья.

Там и стоять до первого звона, слушая, как, туго сколовшись, он мягко, как стружка, падает на торцы, — стоять и чувствовать, либо только воображать, будто тебе открывается сейчас что-то новое, никогда до конца не постижимое, в существовании этого необыкновенного города . . .

И еще одна колокольня, коленчатая, белая; тоже со своей особенной гаммой звона, лежащего с кручи в поля. Эту строил Растрелли (кто-то недавно рассказывал, будто ее разбомбили).

Она видится мне, укутанная в весеннюю ночь, за стеной, тоже белой, лунно мерцающей, как киноэкран.

Подле стены — три весны: деревьев в еще не лопнувших почках, моя, семнадцатилетняя, и — той, что со мною рядом, — этой весне нет еще и шестнадцати; как ни стараюсь, не могу припомнить лица, а только запах свежестирированной блузки и прохладный, щекольный пушок на руке, которая прижимает мою: «Любишь?» . . .

На многоточии и обрыве: только немногим чудесникам слова удалось рассказать о таком без лубка и сусальности, мне — не под силу.

Но в своем полубреду я переживаю все это снова, горячо и растроганно . . . Ах, милые мои! — те, до которых дойдут эти записки, — попробуйте, не дай вам этого Бог, умирать от чахотки, — как драгоценна покажется вам тогда возможность расчувствоваться и задержаться на этом подольше . . .



Я не задерживался.

От вышеописанной белой колокольни (она верст на пять безлесного большака будет маячить сзади) я ехал, скинув с себя еще десять лет, к своим, на каникулы, в усадьбу, где вырос.

Ехал долго, до низкого солнца, слушая лошадиные всхрапы, восьмикопытный мягкий перебор по пыльным колеям, жавороночка и прочий по штату полагающийся звуковой орнамент петлявшего по холмам и ложбинам — и нет ему конца и масштабу — проселка.

Ехал, покуда, наконец, за поворотом вдали не вставала хвойная стенка ограды, с въездом в середине, стремительно ширившимся навстречу лошадиным мордам.

Два чугунных льва, кони моего детства, со звонкой, если постучать камнем, чугунной внутри пустотой. Дом непонятной архитектуры, с где попало прилепленными террасами и балкончиками, а внутри — бесконечными передними, коридорчиками и лесенками. Шумные трапезы за длинным столом, за который садилось голов пятьдесят, — трапезы, кончавшиеся почти всегда оглушительными спорами или таким вдруг неистовым «Вихри враждебные веют над нами!», что случайно забредший урядник, примостившись на балконной ступеньке, замирал в страхе, дожидаясь, покуда крамола не кончится...

За самим главой дома, в мансарду, посылали гонцами нас, ребятишек, звать к столу.

Он сидел, заваленный книгами, торча поверх них одной бородой, — маленький такой орлиноносый патриций-бунтарь, которого Третий Наполеон сажал когда-то в парижские тюрьмы, а Третий Александр — в отечественные. Рядом с ним, за сетчатой перегородкой, сквозил бронзой и блеклым маслом портретов «Храм предков», почему-то называвшийся на нашем домашнем жаргоне «музгаркой».

Мы очень любили, когда он нас туда впускал, и, придержав прыть рук и ног, чтобы чего не столкнуть, слушали и глазели...

«Мы ведь, — говорил он внушительно, — descendants de...») Это все наши предки»...

Я мало интересовался тем, что был чей-то там «descendant»\*\*), не успел заинтересоваться и после, когда этот интерес стал уж очень не в моде и стольким различным потомкам помешали стать в свою очередь чьими-либо значительными предками.

Мне нравился медный позеленевший ковчежец с предковскими ногтями, который мне неудержимо хотелось похоронить — он похож был на гробик...

Чаще, однако, вспоминались мне гораздо менее идиллические картинки, из судеб хотя бы того же самого дома за львами.

Последний раз ехал я туда в голый двадцатый год, в осеннюю слякоть, под пахнувший дегтем скрип тележных колес, хлебавших ухабы.

Дом стоял, как и прежде, осыпаясь балкончиками; из уважения к революционным заслугам владельца ничего здесь не тронули, но какая

\*) Потомки (франц.)

\*\*) Поломок (франц.)

скоротечная всюду разруха и нищета! Мне писали об этом и раньше, прислали даже и частушку, сложенную местным фольклором, в которой мудреное название усадьбы было переделано на своё — «Серово»:

Уж вы, серовски паны,  
На двоих одни штаны,  
Один моет — другой водит:  
Скоро ль высохнут они . . .

Панов впрочем в доме почти не осталось: враждебные ли, дружественные ли «вихри» почти начисто вымели из него жизнь.

Помимо самого патриция, жил теперь там только один «descendant», из мужиковствующих, — мужиковство было в роду, заквашенное, правда, не столько на толстовстве, сколько на водке и брачных бытовых мезальянсах. Этот был женат на бывшей скотнице — бабище лет за сорок, с зычным голосом и большими руками, которую он почему-то называл весьма легкокрыло: Софита.

Я поспешил к «самому».

Он, синий от холода, сидел, как и прежде, у себя в мансарде, поджав в кресле ноги, над книгами, в кавказской бурке, барашковой шапке и варежках. Длинные нечищенного серебра кудри падали ему на загорбок и плечи. Он, как я тут же припомнил, в годы войны дал обет не стричь волос, пока не придет революция. Когда пришла, впопыхах сперва не успел почему-то постричься, а потом, изумившись, что в ней как-то не оказывалось ему места, — и вовсе забыл. Кудри были немыты и сальны, к черному ворсу бурки — я заметил, когда обнимались, — липли гниды . . .

Мы спустились вниз, в кухню, где жили все трое, с плитой и рысистыми по ней тараканами.

Угощать меня было нечем, но бутылка самогону взялась откуда-то, хотя я и протестовал, предвидя последствия . . .

Они и пришли, когда принялись было за чай: пропал кусок сахару, единственный и заветный, хранимый специально для гостеприимства.

Видноват был старик, что тут же, на месте, яростно было доказано, несмотря на недоумевающе-гневную дрожь набрякших лиловых век: он и сам припомнить не мог, когда это было и как . . . Он сильно одрях за последние годы и, как это мне сразу же рассказали при встрече, ослаб памятью: ночью вдруг, натянув свою бурку, выходил на балкон и кричал в сонную мать, навстречу собачьему лаю: «Лошадей!» В эти свои ночные бродяжества он обшаривал все сусеки и полки, ища съестного. Съел он и сахар . . .

— Вот такой вот кусище! — показывает Софита толстых полпальца, вся ходуном ходя от негодования. — Сожрал, бесстыжие ваши глаза! . . .

— Я попросил бы, голубушка . . .

— Вам не о чем просить, кроме как о прощении! — вступает младший descendant, теребя свой, тоже ерлиный, нос, уже наливающийся бешенством.

— Я . . . я не могу допустить, чтобы всякая . . .

«Буц!» — подпрыгивает под кулаком по столу бутылка с остатка-

ми самогона. — Она не «всякая»! Она моя жена и хозяйка. Сейчас же просите у нее прощения!

— Mon cher . . .

— На колени! Целуйте ей руку. Ногу целуй! Она здесь королева! На колени, вам поворят, или я выпшвырну вас на улицу! . . .

— Сударыня . . . я коленопреклоненно . . . — начинает несчастный старик. Я едва успеваю помешать ему — поддерживаю, сажаю за стол. Все тяжело дышат, и я избегаю смотреть на лица, особенно — на старческую щеку рядом в мокрой ярко-выпуклой сеточке жилок, багровых и фиолетовых.

Постепенно мечущийся язычок копилки вытягивается ровной копотной струйкой вверх, к потолку. Я все-таки гость, скандалить со мной неловко.

— Ты на нас не сердись, — говорит, отдышавшись, descendant-младший. — Жизнь, брат! . . . И про нее плохо не думай, — кивает он на ручки, поправляющие опрокинутую посуду. — Она резковата, слов нет, но золотое, знаешь ли, сердце . . . И всех нас кормит . . .

Ох уж это мне «золотое» русское сердце! Когда я вспоминаю что-нибудь вроде вышеописанного, кажется мне иной раз, что уж пусть бы лучше было оно из какого-нибудь менее дорогого металла, но без этой уживающейся в нем вместе с золотом мерзкой всячины.

Впрочем, может быть, я ошибаюсь . . .

\*

Сроку моего оставалось с неделю. Жар, бессонница, выжидание к о н ц а . . . — Я различал уже его приближение, как шаги в коридоре.

Поэтому, когда однажды сестра, вспрыгнув в горло мне мяту, необычно замешкалась и, покраснев, присела на стул у моего изголовья, я тотчас же болезненно насторожился. Мне представилось, что она сейчас продолжит тему пасторовой брошюрки — что-нибудь насчет «смерти нет» или о необходимости последних приготовлений и т. п.

Это был первый маленький, но благодетельный ш о к за все время моей болезни, когда я увидел, что ошибся. Потому что она, помолчав и покраснев еще больше, начала совсем о другом, сопровождая каждый вопрос энергичным кивком головы, расплескивавшим крахмальное сияние:

— Зачем вы сделали себе эту палатку? Почему не хотите лежать на балконе? Почему боитесь свежего воздуха? Не открываете у себя окошка?

Я сказал, что от свежего, как говорит она, воздуха у меня режет в горле. Кроме того, жить осталось так уж немного, что не все ли равно, с воздухом или без.

— Откуда вы взяли, что «осталось немного»?

— Ну, вы же знаете откуда, я ведь слышал . . .

Ее щека, обращенная ко мне, стала вовсе пунцовой — может быть, от раскаяния, что не укараулила тогда дверь, или от досады.

— Врач не Бог, — сказала она, хрустнув крахмальными складками. — Не он отмеряет нам дни. Я не знаю, верите ли вы в Бога, но . . .

Она не кончила, глядя, как обычно, мимо меня своим невидяще пристальным взглядом. Верно ли, нет, но я мысленно закончил фразу

по-своему: «Если вы не верите в Бога, то почему так уж верите в докторов», — в этом, примерно, роде.

— Почему бы вам не поподробовать — в парк? Там ведь много теплее, чем у вас в комнате. Солнце, апрель... Почему не поподробовать? В конце концов...

Солнце и апрель!

О них в последние дни я позабыл совершенно. Солнце заползло ко мне только на рассвете, потому что окно было на северо-восток; за ним мерещились мне крупичатые недотаявшие супробцы и никакой весны.

В самом деле там воздух теплее? И она опять не договорила чего-то после «в конце концов». Что — в конце концов? Может быть — то, что если на днях все равно умирать, то почему бояться тогда выходить и вообще чего бы то ни было бояться? Чем я рискую?

Или он мне самому пришел в голову, этот поразительный довод?

Я посмотрел на нее: принимая мое молчание за упорство, она сидела, как вздох и укор, сжав руки в коленях.

Мне стало ее жаль, захотелось сделать ей что-нибудь приятное, чтобы не разочаровалась в порыве.

— Сестра, — сказал я. — Давайте откроем окошко.

Она оглянулась на меня недоверчиво, потом, вспыхнув, пошла крупными шагами к окну.

Я ждал напряженно, покуда дотянет до меня оттуда воздух.

Он был в самом деле неожиданно теплый и, должно быть, душистый — я тогда плохо различал запахи.

Тут же она разобрала и шалаш — сложила одеяла, вытащила палки, на которых он был укреплен, и унесла.

Оставшись один, я достал из шкафа и натянул на себя давно ненадеванную одежду. Спустился вниз. Придерживая дыхание, приоткрыл парадную дверь.

За нею действительно были и солнце и апрель.

Они набросились на меня, распростерши объятия, как на близкого, выползшего из подземелья...

Слепительный воздух, щебет, ошеломление. Второе благодетельное ошеломление в то утро. Я уцепился за него, как безногий за костыли... Правый под ногами и клумба рядом ходили, как палуба.

В устье аллеи свистнул в лицо сквознячок: «Стой! Что — пароль?»

— Пароль, братец мой, «Жизнь».

— Не правда!

— Ну, пусть «Смерть» — все равно, на попятный не стоит!

Еще два шага — и снова задохся... Спалнул на дорожку поглубже, где воздух не двигался...

Дорожка тесная, хвойная, колючая, как еж... Вокруг растет все в два этажа — в верхнем совсем еще голые ветки, в них, там и здесь, сквозят крупные птичьи скачки и крылья; в нижнем — кусты, в почках, впрозелень, и какие-то — уже в полную зеленую силу, в желтом медовом цветке и чириканьи...

Шагал через корневища, крытые плюшевым мхом, по шишкам,

топырьистым в солнечных пятнах и жухлым в тени. Муравьи бисером — поперек.

Господи Боже ты мой, как все здесь живет! . . .

Термометр после этой первой прогулки показал 39.

\*

Парк тут огромный. С одного края обрывается над рельсами, бегущими к Альпам; на другом переходит в лес. Все не по-немецки затуплено: дорожки, скамьи губчатого от старости дерева на увязнувших в хвое распатанных стойках. Везде больше ель, пирамидами и корабельная, в кронах; и заросли всякой хвойной и лиственной мелкоты.

Я бродил там, как Робинзон, делая разные открытия.

В можжевельниках — заброшенный кегельбан. Доски сопрели, пропустив в щели мох и какую-то бледно-оливкового цвета молодую щетинку. Оказалось: черника. Умилившись, я даже не подумал, как обычно, о том, что не увижу, когда она завяжется.

В парке вообще мне как-то удавалось не думать. Только слушать: шорохи, свисты в кустах, перипатетика-дятла, кукушку . . . Эту кукушку, которую уж и не надеялся еще раз когда-нибудь услышать, — первую весеннюю кукушку из сквозисто-дымчатого, всегда чуть мистического далека, слушал, разумеется, умиленно и восторженно. Она наобещала мне с три короба жизни . . .

Парк со своими шумами, клейкой вязью веток и горьким льющимся в горло настоем прели и хвой — вошел в меня, как наркотик. Я таскался туда по нескольку раз в день, как пьяница к стойке, пропуская звонки на обеды и ужины. Он подружал меня в свое живительное оцепенение, вскипавшее и пенявшееся вздохами только что пробившейся зелени, только что распеленавшейся почки, — и я, забывая свою обреченность, дышал вместе с ними.

Словом, не знаю, как это могло случиться . . . Может ли приговоренный к смерти позабыть день, когда приговор должен быть приведен в исполнение?

А вот я непонятным образом позабыл! День, в который истек отпущенный мне доктором срок жизни, мои две недели.

Напомнила сестра.

После обычной своей процедуры с мятой, уже уходя, вдруг обернулась ко мне с порога. В горячем и словно бы радостном румянце — замешательство: заговорить или нет; строгие губы то трогает, то отпускает улыбка.

Так и ушла, не заговорив, но я догадался, о чем хотела сказать, и у меня самого тоже погорячело в глазах.

— Ну — как? Вот и прошли две недели?

— Прошли . . .

— Живы ведь?

— Жив, сестра . . .

Такой был разговор, если выговорить . . .

\*

В лазарете — библиотека из вымороченных книг, настоящий переполох авторов и названий: Пете и «Тарзан», «Анна Каренина» в сокра-



щепном переводе, Ясперс и тридцатипфенниговые романы. Читал я по-многоу, после того как шалаши мы разрушили, покуда не напал на теперешнее свое занятие, эти записки.

Как именно напал и один предварительный эпизод — хочу рассказать.

Это было на четвертый либо на пятый день после первой моей вылазки в парк. Незнакомая тропинка вдруг уткнулась в забор, точнее — в место, где из него (вероятно, большие для отлучек по-черному) выломали две планки, так что получился пролаз. За ним, через канаву, которую с трудом одолел, — развилка двух лесных дорог, похожих на туннели.

На развилке — часовенка в миниатюре, алебастровая коробочка, с крышей коньком и створчатой в чугунных витках, решеткой, за которой сквозит что-то в красках и золоте.

После сырой тени парка здесь — как в плавильне: каленое солнце, каленый, обжигающий воздух, натянутый, как струна. Всё в буйном напряжении красок, соков и мускулов — и короткошерстые маргаритки на уже пыльной обочине, и жаркий белый щебень дороги, и лес, и небо...

По контрасту, должно быть, я вдруг тяжело ощутил свое собственное бессилие и как слаба во мне жизнь. Нет, наши северные весны гуманнее. Есть и в них буйство, но больше — томление, ошеломленность первой вспушившейся вербы, щурых почек, просыхающего суглинка. И солнце не грозит тебя истепелить...

Я вошел в синюю трапецию тени, которую бросала на щебень часовня.

Это была Богородица — за чугунными створками, — раскрашенная деревянная скульптура очень искусного резца. Я потом узнал, что сделал ее полвека назад один большой резчик из нашего же санатория, в благодарность за свое выздоровление; но и без справки чувствовалась вдохновенность работы. Лицо наклонено над Младенцем, видна только прядка бровей под выпуклым лбом, похожая на брови моей иконописной сестры-благодетельницы. В этом наклоне, в легкой бережности прижимающих рук, в плавности складки, открывающей у подножия только едва обозначенную резцом ступню, — торжественная и внятная, как рифма, гармония...

Над цементным полом и глиняной пустой вазочкой кружит плюшевый шмель, этакий маленький черный в золотистых подпалинах связной между двумя мирами — по ту и по эту сторону решетки. Он ошалело стучается об известковую стенку и, свалившись, расправляет мохнатыми лапками смятые шелковые подкрылья. Когда обрывается его валторновый гуд — смыкаются, как буфера двух осторожно сцепляемых вагонов, две тишины: летаргическая, за решеткой, и обманная — снаружи, — если прислушаться, слышно, как где-то над головой сладким прудным баском бурлит дикий голубь.

За спиной топоток: девочка с косичками и голубой авоськой в руках подошла к часовне, нерешительно замедляя шаг и косясь на меня. Она поставила авоську на щебень, присела, болтнув косичками, взялась за решетку маленькими кистями.

Я смотрел на ее мелкий профиль с шевелящимися губами и вскинутыми ресницами.

Отняв руки, она перекрестилась ладошкой, снова присела, повернувшись ко мне, сказала: «Grüss Gott!» и, подхватив голубую авоську, побежала вприпрыжку дальше.

Очень милая девочка, и щербатая: когда она мне улыбнулась, я увидел, что у нее не хватает молочного резца. Какую просьбу выговорила она с такой великолепной наивностью?

Впрочем, вероятно, всякая просьба наивна. Просьба о жизни, пожалуй, наивнее всех других. Или — как? . . .

Я тоже, подойдя к решетке вплотную, взялся за нее обеими руками. Шмель смятенно кружил у подножья и гудел . . .

Тут я делаю пропуск, потому что мне кажется, что дальше нельзя и не нужно рассказывать. Да вряд ли и смог бы я рассказать.

Дальше было ощущение отпускаящей рези во лбу от острой грани решетки и неотпускающей боли во всем теле, словно вынули из него вдруг костяк, и опирается все на одни только ноющие хрящи и мускулы. Я проталился несколько шагов, весь обмокнутый в эту боль, как свалившийся в воду тудель, бессильный встряхнуться.

Но — такой феномен! — буйство солнца и света вдруг перестало быть в тягость. Какая-то будто короста отвалилась с души, и стало ее прогревать, и вздымать грудь легким дыханием — удивительно легким и смелым, как мысль, которая всего несколько секунд назад казалась невероятной и не выговаривалась: «Что если не так уже все безнадежно? Е с л и б у д у ж и т ь ?»

Я пошел домой не в обход, а по главной аллее, которую избегал прежде из-за сквозняка.

Навстречу попался почтальон с волосатыми ногами из-под коротких штанов и тоже сказал «Grüss Gott!». Почта, значит, все-таки действует. Кто-то из ланикеров говорил мне, что нет, и почему, спрашивается, я ему так охотно поверил?

Когда пришла со своей мятой сестра, я попросил у нее конверт и бумаги: мне захотелось написать еще раз Петровичу, сделать еще одну попытку. Она принесла конверт, тетрадку, исписанную с одной стороны карандашом (она сказала, что это ее стенографические записки при просвечивании больных, и дала резинку стирать) и напрудный столик-пюпитр.

Свой восторг по поводу этого столика я уже описывал, помнится, раньше . . .

\*

Вот и вся история о моих двух неделях.

Кончив, написал на первом листе московский свой адрес и показал сестре. Она не сразу решила, как это принять, — прочла адрес, кивнула и только уж потом свела неодобрительно брови.

Это было вчера. Теперь перехожу на презентс.

Сегодня одиннадцатое апреля. Сегодня мне очень плохо: 38 с утра, и трудно дышать.

Доктор выстукал, сказал, что простуда и запретил подыматься с кровати.

Может быть, и в самом деле только простуда?

Здесь внезапные и прямо-таки предательские повороты погоды. Вчера похолодало вдруг до нуля, а я налегке зашел в самый конец парка.

Смотрел с обрыва на движение по шоссе, кусок которого виден отсюда. Судорожно, как расклеванная гусеница, ползла по нему дулами к югу вереница брони и орудий. Конец Третьего Райха! Впервые за последние дни я вдруг представил себе огромность этого конца и совершенно ничтожный, никуда даже и неприложимый, масштаб своего собственного...

Пошел серый снег, плаваясь в воздухе, и я только тут заметил, что продрог.

Вечером было уже все кругом бело, на листьях и на цветах.

Вечером нас водили в убежище — где-то поблизости начали бросать бомбы...

### 13 апреля.

Жар, бессонница... И откуда-то и почему-то — неотвязные, грузные мысли, опоздавшие жить. В прошлом, в мои довоенные годы, погибали они, едва родившись. Прошлое это представляется мне теперь иной раз совершенной пустыней бездумия, с тощими оазисами самых коротковолновых, самых расхожих мыслишек. Покрупнее я истреблял, загонял под пол, как бывало, крыс, расплодившихся одно время в моей московской квартире. Они, эти дружные мысли, прозили помешать спасительному приспособлению; помешать сделать смуту чьей-то чужой души — твоей собственной смутой, чужую ложь — твоей ложью, чужую волю — твоей волей или твоим безволием. Без них жизнь была безопасней; была ли она без них ж и з н ь ю (это уж я теперь, задним числом, себя спрашиваю) — не знаю...

Одно из самых тяжелых состояний, в которое я втопяю себя размышлениями из прошлого, — это стыд и раскаяние. Как неверно и наобум — утверждать, будто раскаяние сладко. Да, — если был и в самом преступлении «сладкий миг», расплата за который слезами — закон некоего биографического равновесия. Но в преступлениях подневольных и тебе самому в момент свершения омерзительных каяться тяжело. Здесь ведь каешься больше не в том, что ты сделал, а в том, что недостало у тебя мужества сопротивляться...

«Кто — за то, чего он никак не думает и считает гнусным, — трошчу поднять руку?»

И руки ползут вверх...

Здесь уж не раскаяние, здесь стыд, иногда такой острый, что стискиваешь зубы и готов застонать, как если где-нибудь в полевой операционной вытаскивают у тебя из спины пинцетом рваный гранатный осколок...

Вот один из осколков — и если бы можно было его тоже вырвать пинцетом из памяти! — Два существа кристальной души: старик-профессор и дочь, совсем почти девочка. Чай с блюдечка... Старик любит — с блюдечка и всегда извиняется. А мы с ней — тоже с блюдечка, чтобы его не смущать...

Когда я сживал у них, бывало, за чаем, мне казалось, что и я, как они, чист и светел душой.

И вдруг:

«Кто — за то, чтобы просить органы нашего правосудия строго покарать — имярек, — разоблаченного как»... и т. д.

Тут бы закричать во весь голос, отчаянно: «Не я... нет! Я против!»...

Но Лернейская гидра нашего времени, в отличие от той, которую задушил когда-то Геракл, требует непременно одобрения себе и анафемы жертвам.

И рука ползет вверх...

Оглушенный, спускаюсь потом в гардероб и вижу ее у вешалки: она долго не может попасть в рукав пальто сущейся маленькой кистью.

Почему она здесь? Как это можно? (Я потом узнал, что ее пытались убедить выступить на этом же собрании с отречением от отца).

Она меня видит, — избегая смотреть в ее сторону, я ловлю все-таки ее смятенный и умоляющий взгляд на лице без кровинки — такие лица бывали, вероятно, у снятых с дыбы.

Я не подхожу к ней, потому что не смог бы поднять на нее глаз. Почему не подошла она — узнать не пришлось.

Потом долго, почти до рассвета, хожу по пустым переулкам, думая не о том, что кого-то только что предал, а о том, что предал с ебя и — как буду жить, потеряв что-то самое важное, без чего я уже не я, каким привык себя знать, а другой...

Нет, разумеется, описать все это в полный пульс и накал мне не под силу. Тут нужен новый Толстой, который непременно когда-нибудь и придет; пока же, может быть — только какой-нибудь с огненным словом обличитель и проповедник — Савонарола, протопоп Аввакум, крик во весь голос:

«Люди, братья, дорогие, хорошие! Грешите, если не можете не грешить по общей нашей человеческой слабости! Творите себе кумиры, прелюбодействуйте, изрекайте на други своя свидетельства ложны! Друг простит предавшего его, предатель может раскаяться. Но бойтесь предать с а м и х с е б я, свободную свою душу и волю! Предать самого себя — самое страшное преступление, потому что прощать его уже некому и раскаяться н е ч е м...»

# Хорунжий Вакуленко

Повесть

*Борис Николаевич Ширяев — писатель, литературный критик и публицист — был многолетним сотрудником нашего журнала. В «Гранях» опубликованы его повести «Овечьи лужа», «Горка Голгофы» и «Кудеяров дуб». Последнюю повесть, обещанную читателям «Граней», Борис Николаевич Ширяев писал уже больным и не успел окончить. 17 апреля 1959 года, после тяжелой болезни, писатель скончался.*

*Б. Н. Ширяев занимает особое место среди остальных писателей российской эмиграции. Неискоренимая христианская Россия, народная Россия увлекали и овладевали творчеством писателя. Воля к борьбе, к активному сопротивлению злу до последней минуты жизни была не только сохранена Б. Н. Ширяевым, прошедшим советские аресты и ссылки, но и воплощалась в литературных героях его последних произведений.*

*Горькую утрату несет не только наш журнал, но и живая свободная русская литература за рубежом. Книги Бориса Николаевича, сквозь советские серые будни показывающие иной неумирающий лик России, пользовались и пользуются любовью читателей. («Последний барин», «Неугасимая лампада» и др.)*

*Ниже мы печатаем главы из последней неоконченной повести Бориса Николаевича «Хорунжий Вакуленко» (прямое продолжение повести «Кудеяров Дуб»), дружески предоставленные в распоряжение редакции вдовой писателя Ниной Ивановой Ширяевой.*

## ГЛАВА 1

— Уррра-а-а-а! . . . — дробно рассыпалось по мелкорослому сосняку и не одевшимся еще листвой, подрагивающим в весеннем ветерке сучьям осин.

— Уррра-а-а! — поживже, вместе с глухим топотом копыт донеслось с заслоненной вихрастым прошлогодним бурьяном гати.

Парень в ватнике, сидевший верхом на толстом суку старой осины, выпустил из рук веревку, конец которой он закреплял, и неловко, мешком, спрыгнул на землю. Рядом с ним глухо плюхнуло упавшее тело

---

См. «Кудеяров дуб» — «Грани» №№ 36, 37.



связанной женщины в рыжем помятом пальто и обшитых кожей валенках. Несколько человек в шинелях, стоявшие под суком, торопливо расхватывали прислоненные к молодым сосенкам винтовки и, пригибаясь, побежали через поляну к густевшим на противоположной ее обочине кустам. Спрыгнувший поднялся с колен и, припадая на ушибленную ногу, побежал за ними.

Вывесившийся широким наметом из леса всадник описал полукругие блеснувшим на солнце клинком и перерубил им веревку над головой висевшего на ней мужчины. Его тело, упав рядом с лежащей на голубом ковре подснежников женщиной, стукнуло головой о камень.

Спрыгнувший с сука убежал недалеко. Всадник, не сдерживая размахистого скока коня, дописал клинком над головой полный круг и, высоко взмахнув им, метнул сизую молнию стали на плечо бежавшего. Один из спешивших к лесу, тот, что был впереди других, не оглядываясь, но прижав согнутые в локтях руки к бокам, пружинил уверенными бросками опытного спортсмена. За ним неровной, прерывистой цепочкой растянулись остальные. Последний из них оглянулся, увидел доспевавшего к нему конника и скинул винтовку к плечу. Всадник, бросив все тело влево, повернул осаженным конем и уклонился от первой пули. Вторая в ствол не поспела. На голову стрелявшего упал клинок.

От большой суковатой осины взброд захлопали выстрелы. Это одетые в фельдграу, высypавшие из леса всадники стреляли с коней по бежавшим.

— Неуки, сволочь!.. — хрипло выругался передовой. — Палят без толку и мне рубать не дают, — бросил он в ножны клинок, поскокился бровью на свист пролетающих мимо него пуль и взял в сторону.

От гали на ту опушку поляны, к которой спешили убежавшие, высypала другая группа всадников в фельдграу.

— Стой! В землю штыки! — кричали оттуда.

Беглецы останавливались поодиночке, бросали наземь винтовки и поднимали руки.

— Гортайся в кучу без оружия, — выкрикнул первый выскочивший на поляну всадник, — рук не опускать! Один, два, три... четыре... — считал он сбившихся к своему командиру партизан, тыча в воздух прокуренным до черноты пальцем. — Восемь... девять... а с порубанными выходит одиннадцать... Надо думать, вся диверсия тут. Тебе, Михаил, объявляю благодарность: вовремя в обход поспел! А то бы в лес ушли, — по-начальнически крикнул он ехавшему во главе второй группы. Потом, повернувшись к сгрудившимся под осиной, бросил им с горьким упреком: — Вы!.. Тоже вояки называетесь! Команда была: «В атаку за мной!», а они постановились, как статуи, да еще с коней огонь открыли!..

— С чем в атаку идти, когда шашек чорт-ма. Один твой клинок на всю сотню, — сердито огозвался подъехавший бородатый казак.

— Тут не рубка, а маневр требовался, — примирительно сбавил тон начальник. — Ну, все равно, поздравляю с победой. Подбирай трофейное оружие. Пленных обыскать, а то гляди у них в карманах грана-

ты захованы. Вы, друзья-товарищи, лучше сами выкидайте, что загырили. Найдем при обыске, тем хуже будет.

Спешившиеся казаки вклинивались в кучу пленных, отбивали оттуда по одному, обшаривали одежду и сбрасывали в кучу затертые клеенчатые бумажники, жестяные коробки-табачницы, зажигалки, изредка смятые пачки денег. Нашедший, подморгнув соседу, совал такую пачку себе в карман:

— Трохвей!

Из середины кучки, словно сами собой, вылетели и мягко упали на землю две гранаты, а за ними, кувыркаясь в воздухе, как голубь-турман, взметнул вороненой стали пистолет.

— Так-то, — одобрил командир казаков. — А кто это там у вас в цивильной одежде? Ну-ка, выходи! Что это мне твоя рожка знакомой чудится?

Босой безусый парнишка в какой-то неопределенного фасона не то женской, не то мужской кацавейке разом выскочил из толпы пленных, словно ждал вызова.

— Где я тебя видал? С чего ты мне запомнился?

— А как же, господин начальник Середа, — бойко, ничуть не робея, зачастил парень, — как иначе? Я вам первейший первач от тетеньки Дарьи доставлял... Вспомнили теперь? С Сухого Хутора. Да и сами вы к нам заезжали... к тетеньке Дарье. У ней я теперь живу, как мать померла...

— Так, так... Теперь вспоминаю. Верно, — почесал под кубанкой Середа. — Вспоминаю и удостоверяю.

— Тогда сделайте милость, — совсем осмелел паренек, — пустите меня до дому. Какой я партизан? Сами видите. — Он расставил руки в стороны и повернулся вокруг самого себя.

— А каким манером здесь оказался?

— Всего только два дня я здесь. Третьего дня вночь пришли к нам двое с оружием, весь самого, конечно, забрали, все бутылки нашили и еще ведро нацедили. Говорят мне: «Неси его с нами до базы». Ну, я понес. Как иначе? А на базе командир ихний меня в оборот взял: «Ты теперь верный сын родины, — говорит. — Коли вернешься домой, тебя немцы все равно повесят. Зачисляю тебя в отряд». Вот вам все в точности.

— Надо думать — не врешь. Тетка твоя вчерась прибежала, на то же жалилась... А только по правилам должен я все-таки... — Середа остановился и теперь уже всей пятерней зачесал свой чуб, сбив на затылок кубанку. — Как же на этот факт мозгуешь, Михайло?

— Дело, по-моему, ясное. Передадим его в штаб — он как раз там самым виновным окажется. Не бывало так, что ли? А здесь удостоверить его ты можешь, да и я его помню. Кроме того, он нам нужен, раз дорогу на партизанскую базу знает. Пускай его домой — и все тут, — ответил молодой казак, командовавший второй группой.

— Однако же... Дисциплина...

— Здравый смысл выше дисциплины, Федор Платонович, — твердо возразил Миша. — К тому же мы с тобой не немцам, а России служим.

Середа крепко, с маху, еще раз окребанул свое темя и, надвинув кубанку на лоб, хлопнул ладонью по шее своего коня так, что тот вздрогнул и переступил с ноги на ногу.

— Так и будет! Гони домой, парень, да заодно тетке твоей скажи, чтобы сегодня четверть первейшего представила!

Паренек подпрыгнул на месте, притопнул о землю босыми ногами, но домой не побежал, а сделав несколько неуверенных шагов к казакам, поместился около Миши.

— Тебе что? Ко мне, что ли, дело есть? — спросил тот.

— Нет, я так . . . — потоптался на месте паренек. — Домой всегда успею, а здесь может и пригожусь на что.

— Твое дело. А мы русским людям всегда рады, — дружески кивнул ему Миша. — Звать тебя как?

— Васей. Василием.

— Ну, идем теперь разбирать, кто живой, кто мертвый из наших трохвеев, — зашатал к осине Середа. — Как здесь у вас в медсанчасти? — обратился он к возившемуся с телом женщины старику. — Жива?

— Кашляет и слюни пошли клубом. Значит — жива. А человеку этому амба.

— Еще бы! Он больше получаса, пока ее допрашивали, провисел, а ее только вздернули — туп и вы, — громко проговорил Вася.

— Ты, значит, в курсе дела, — обернулся к нему Середа, — ну, тогда разъясняй. Кто он такой, тебе известно?

— Все полностью знаю. Нам еще с вечера изложили задачу. Агроном он, из городу, для распределения присланного немцами семенного фонда. Приказ был перехватить и ликвидировать на месте.

— Кто у вас старший? — сдвинув брови, крикнул Середа пленным.

В их кучке засуетились, затоптались, затолкали друг друга локтями. Потом, раздвинув сгрудившихся, из нее выступил ладный, молодеватый солдат. Стал по форме и отдал приветствие Середе.

— Я старший подразделения.

— Имя, фамилия и воинское звание? — строго спросил тот. — Говори точно и ясно, не ври.

— Крюков Петр, сержант войск госбезопасности.

— Какое задание имел?

— Захватить и уничтожить всех изменников, доставивших колхозникам семфонд от немцев, — прозвучал твердый и ясный ответ.

— Мужики значит не зря болтали, — буркнул, метнув одной бровью к Мише, Середа. Потом громко сержанту: — Полный допрос с тебя в штабе снимут. Нам здесь этим заниматься не приходится . . . Или обожди чуток. Почему у тебя с нею задержка получилась? — указал он на лежавшую женщину.

— Объявила о своем членстве в ВЛКСМ и о работе в тылу врага. Документов, однако, не оказалось. В силу приказа должен был уничтожить на месте, что и выполнил.

— Вот и врешь, — послышалось из-под осины, — не выполнил. Жива она. Глаза открыла.

Все спешенные спрудились над лежавшей. Сидевшие на конях заглядывали через их головы.

— Легче вы, не напирай, а то как раз потопчете! — прикрикнул растиравший шею женщины старик, приподнял ее за плечи и опер о ствол осины. — Не бойсь, не бойсь, дамочка, дыши вольней. Глубже дыши, жива будешь, — ласково гладил он ее плечи. — Вот и глаза открыла. Видишь теперь, свои тут, русские люди.

Женщина медленно, с напряжением оглядела окружающих, сунула под платок свисавшие на глаза светлые космы и снова оглядела.

— Русские мы, видишь теперь . . . Поняла? — втолковывал ей старик.

— Гады . . . Враги народа . . . — выдавила из себя очнувшаяся и захлебнулась кашлем.

Середа и Миша разом обернулись друг к другу. На лице первого было полное недоумение.

— Что это мне сдается, зря я ее выхаживал, — покачал головой старик, отряхивая с колен налипшую талую землю. — Надо бы ее заместо того обратно на сучок тянуть . . .

— Вот тебе и резолюция, — растерянно прохрипел Середа. — Скажилась она, что ли, с перецугу?

— Сопоставь ее ответ с показаниями сержанта, — тихо ответил ему Миша, — тогда дело понятнее станет. Тут, видно, узелок крепко закручен.

— Предоставим ее зондерфюреру, пускай сам разбирается, — отмахнулся Середа.

— А что толку? Он по-русски, кроме «каррош», ни одного слова не знает, а по-древнеславянски начнет, еще хуже получается. К тому же он с утра на Ольгино городище уехал. Сказал, там и заночует.

— Все клад своей ищет! — иронически ухмыльнулся Середа.

— Не клад, а каменный крест, Ольгин крест, и еще часовня там должна быть старинная, — с горячностью возразил Вася.

— А ты откуда знаешь? — удивился Миша.

— Я там с ним копаю. И еще ребят ему собрал. Он — археолог, — медленно, но правильно выговорил парень. — В его немецкой книге про этот крест напечатано, и у нас про то же старики рассказывают.

Миша внимательно присмотрелся к малому: по одежде — все как полагается колхознику, а лицо иное, какое-то даже одухотворенное.

— Ты, что, из города? Учился там?

— Нет, я здешний . . . теперь . . . — заминаясь, ответил тот.

— Ну, свои частные разговоры отложим до вечера, — решительно прохрипел Середа, — а сейчас постановление выносить надо. Моя думка такая: к зондерфюреру всю эту банду вести нечего, тем более, что его нет, а волокиты с нею будет невпроворот: помещение, довольствие, караул выставлять надо . . . Заваливай лучше, Михаил, мертвяка на его тележонку, бабу туда же сажай, бери шестерых казаков, да и валяй в город. Там пленных по начальству сдашь и словесно обо всем доложишь. Так вернее будет. А я своего сам осведомлю.

— Много он у тебя поймет!

— Поймет — не поймет, а все равно скажет: «Каррош» и сигарету даст.

— Пустое место, а не командир, — презрительно пожал плечами Миша.

— За такое пустое место нам Николаю Угоднику свечку в оглоблю ростом поставить надо, — внушительно сказал Середа, — попал бы к нам какой, вроде как тот, что в Бердянске порядок наводил, он бы дров наломал. Здесь, браток, ситуация очень сложная. Немцам ее не учесть.

— Учтешь просто, надо только понять: русские — не коммунисты, коммунисты — не русские.

— А партизаны кто? Вот он, перед тобой стоит, — ткнул пальцем Середа в лоб Васе. — Не коммунист, значит — русский, а между прочим партизан по всей форме.

— Я забранный... — пробормотал Вася.

— Немцы того не разбирают. Попал с оружием — значит партизан.

— Много там таких, как ты? — спросил Васю Миша.

— Хватает.

— Отчего же к нам не перебегают?

— Немцев боятся.

— Вот тебе и корень вопроса! — сплюнул и придавил ногой плевок Середа. — Тут индивидуальный подход требуется, а немцы его не осуществляют. У них все под один ранжир. Ну, — злобно бросил он оземь кручёнку и снова сплюнул, — преть нам сейчас некогда. Вали кто-нибудь за телегой! Грузи мертвяка, бабу сажай... А ты, — обернулся он к Мише, — отбери себе шестерых, каких пожелаешь...

— И четырех хватит.

— Бери шестерых. Лесом дорога пойдет. Возможно и нападение. Ты передовой дозор вышли. И в темпе веди команду, чтоб засветло в город поспеть.

— А дойдут? — с сомнением взглянул на пленных партизан Миша. — Ведь больше тридцати километров.

— Дойдут, — уверенно бросил Середа. — Они сейчас в полной дисциплине. Напуганные. Бегом побегут, как на них принажать.

## ГЛАВА 2

Дорога к городу тянулась по болотистому мелколесью. Тусклая зимняя хвоя корявых сосенок сливалась в какую-то жидкую муть с такой же тусклой буризной не распустивших еще листа осин. Солнце брезгливо куталось в серую рвань облаков, не смеялось по-весеннему и, казалось, вот-вот чихнет и закашляет.

Смутно было и на душе у ехавшего в самом конце отряда Мишки. Во главе вереницы, прямо за передовым всадником, шла запряженная брюхагой лошадежкой тележка повешенного агронома. На ней, неловко спустив ноги, сидела спасенная, а за ее спиной торчали согнутые в коленях ноги не уместившегося в длину тележки мертвеца. В кабриолах тележку встряхивало, и колени упирались в спину женщины. Тогда

она досадливо отгалкивала их локтем. Лицо мертвеца было прикрыто каким-то мешком, а перерубленная Середой веревка с налипшим на нее комом грязи свешивалась с задка телеги.

Женщина то и дело хлестала лошадь кнутом, но толку было мало: колеса увязали по ступицу, и лошаденка останавливалась, раздувая темные от пота бока. Тогда шедшие за тележкой пленные упирались руками в задок и хором кричали:

— Но-о! Мила-а-я!

Глядя на них, на их искреннее и даже веселое стремление помочь мухортой лошаденке, на напряжение их упертых в грязь ног, Мишка думал:

«Многие из них, если не все, идут на смерть. Ведь, конечно, большую часть немцы перевешают. Они это знают... И все-таки торопятся. Даже сами помогают ускорить движение... Нелепость! Впрочем, в жизни разве не так же? Вот хоть бы их взять, партизан этих: пошли помогать режиму, который их самих же угнетает, убивает. Погибнут на его защите... Разве это не то же самое, не такая же нелепость? А много ли среди них таких, что стали на этот путь сознательно, вырешив, что так надо, что этот путь верный? Вряд ли. Большинство такие, как Васыка этот — «забранные». Разными способами «забранные». Одни — прямым насилием, упрозой, другие — постепенным психологическим насилием, задурением мозгов, а третьи просто случайно...»

«Ну, а наши, думал дальше Мишка, наши-то вырешили ясно правду своего пути?»

Мишка перебросил глаза на мерно покачивающуюся в седле широко спину ехавшего впереди тележки.

«Маштакон... Этот знает. Он вырешил. Не сегодня, не вчера пришел он к своему конечному выводу, а, пожалуй, еще с малых лет в себе носил. Только подходящего времени ждал, чтобы выявить, чтобы реализовать идею. Идею? Есть она у него?»

Ход мыслей Мишки задержался на мгновение, словно заплутал перед какой-то преградой и, взяв разбег, преодолел ее: «Есть! Только не отвлеченная идея, не абстрактная туманность, а реальная, вещественная: своя земля, свой дом, своя корова, в целом — собственность на свой труд и его продукцию. Не идея это разве? В этой осязаемой реальности для него Россия, а остальное — за горизонтом. Конечно, идея, только в примитивной еще, первоначальной ее форме.

За ним, справа от тележки, Чудненко. Вот у этого...» — Мишка засмеялся даже, оглядев франтоватого, свежесбрированного парня с пухлым, плоским, но смазливим румяным лицом. «У этого, пожалуй, весь его идейный запас в банке парфюмерного крема умещается. Насовал нам таких бойцов против коммунизма «казацкий князь» герр оберштурмфюрер Вашке в Мелитополе! Молодец Середа, что сумел их быстро в казацкий корпус спровадить... в качестве «лучших» тому же Вашке вернуть. Этот Чудненко к нам явно из-за пайка пошел да из-за обмундирования... Больше всех в солтне набрать его ухитрился, да еще скупает и перепродает. А деньги на духи, на кремы, на одеколоны, чтобы двамка головы дурить. Весь он на виду, донжуан лекущего времени», — мысленно добавил Миша и перевел глаза на мешковато, не по-казацки сидевшего в седле конвоира справа от тележки.

«Горбылев. Тоже из лагерей, мелитопольского набора. Только тут дело много сложнее. Во-первых, не казак и даже вообще не колхозник, а горловский шахтер, рабочий. С детства не на земле, а под землей. Во-вторых, неграмотный. Тоже редкость в его возрасте. Почему? Слушай, можно сказать, исключительный: когда в классе икону сняли, он из школы ушел и под землю зарылся; мальчишкой, пацаненком вагонетки там откатывал. За красоту и силу на службе в армии переведен в Москву, в первую дивизию. Да еще на внешнюю охрану Кремля попал. Там политруки неволили его учиться, но он отбил, полностью неспособного из себя разыграл. «Грамотного в комсомол бы записали, а пока я темный — не нудили», говорит. Попал на фронт уже с взрывшей мыслью о перебежке. На Дону привел ее в исполнение и даже патронную двуколку приволок к немцам. Те его, конечно, под общий ранжир — в лагерь. Но там, к счастью, Вашке со своим набором подвинулся. Горбылев — к нему... Тот его моментально в казаки переписал и к нам. Обязательно надо к этому индивиду подход отыскать. Только трудно — скрытничает, все в себе что-то вынашивает и вывить не хочет.

Кто еще? Старик Гостельников, лекарь наш знаменитый и костоправ? Ну, здесь дело, как на ладони: весь он от старого режима, дореволюционный. И все советское ему ненавистно, все без разбора. Твердых, полностью монолитных людей та эпоха выковыла.

В дозоре еще двое колхозников с Кубани? Эти тоже несложные. Оба такие же Маштаковы, только пожиже, не настоялись еще.

Итак? Общий вывод? У нас из шестерых пятеро под знаком плюса. Под знаком минуса один Чудненко. Итого в целом — плюс четыре, — перешел по привычке на алгебраический метод Миша, — а у них из девяти с их точки зрения, пожалуй, только один сержант под знаком плюса. А восемь — с минусом. Результат — минус семь. Неплохо! Живем!»

На сердце Миши прояснело и, словно в ответ, влажный осенний ветер сбросил с солнца серое барахло облаков. Даже корявые сосенки и те разом повеселели и зашептались.

«Стоп! Обчелся! — хлопнул себя по лбу Мишка. — А баба? Ее я и не принял в расчет. Ну-ка, прощупаем. Под каким она знаком?»

Миша толкнул каблуками своего конька и сквозь расступившихся пленных протиснулся к задку тележки. Почувяв мертвеца, его лошадь всхрапнула и замаялась, раздувая ноздри.

Теперь женщина не хлестала кнутом свою клячу. Должно быть, сама устала. Она, сторбившись, ютилась в передке, задом к ходу движения, подобрав под себя ноги и зябко засунув кисти рук в рукава пальто.

«С чего с ней начать разговор?» — обдумывал Миша.

Осмелевший ветерок скинул мешок с лица висельника.

«Бррр... — перекарежило Мишу. — Скверная, тнусная какая-то смерть в петле. Синий язык торчит... Глаза не закрыты, не успокоены в вечном сне, а выпучены, словно и теперь человек еще страдает... Нехорошо...»

— Закинь своего соседа мешком! — крикнул он женщине.

Та подняла опущенную голову и кольнула Мишу глазами.

— Сам закинешь.

— Тебе ж ловчее, а я не дотянусь. Видишь, конь мертвеца боится и заминает.

Миша снова, теперь уже сильно ткнул каблуками бока лошади и подхлестнул ее нагайкой. Лошадь вздыбилась на месте и рванула в сторону, в обход телеги.

— Видишь? — осадив ее, крикнул Миша женщине.

— Ну, так пусть открытым и остается. Какая ему теперь разница? Он свое полностью получил, — проговорила, словно в деревянную доску отстукала, та, не поворачивая головы к Мише.

— Неужели тебе-то самой не тошно на этот пейзаж любоваться?

— Абсолютно безразлично, — пожала плечами и презрительно шмыгнула носом женщина.

— Опоздай мы минут хоть на пять, сама такой бы была, языком бы дразнилась, — с внезапно охватившей его злобой крикнул Миша.

— Ну и что? — тоже озлившись, отстукала спасенная. — Я ко всему готова. А вот тебе-то не мешает к нему присмотреться, тебе-то уж безусловно своим гадовым языком давиться предстоит... Холуй фашистский!

Один из пленных протиснулся мимо Мишиной лошади к тележке и прикрыл мешком лицо висельника.

— Придетя там или нет — это дело далекое и очень гадательное, — овладев собой, спокойно и даже весело отпарировал Миша, — а ты вот уже побывала в петле...

— Судебная ошибка всегда возможна.

— Ага, вот в чем дело! Значит, сержант не врал, что ты комсомолка?

— И не скрываю этого, не прячусь, на службу к агрессорам не иду, — так же деревянно отстукивала женщина.

«А ведь она молодая еще, — присмотрелся к ней Миша. — Сколько ей может быть лет? Лицо какое-то неопределенное. Может быть тридцать, а может и меньше двадцати... Словно засушенная, консервированная».

— Урядник! Дозорный к нам скачет, — крикнул спереди Маштаков.

Миша тронул коня и, обогнув телегу, поскакал вперед, разбрызгивая в обе стороны каскады жидкой грязи.

— В чем дело? — спросил он у подскакавшего молодого, еще безусого парня с зарумяненным скачкой пухлым лицом и плутовато поблескивающими глазами. — Подозрительное что-нибудь обнаружили?

— Не... Все в порядке. И город теперь весь на виду. Не более двух километров до него осталось. Лес кончается. Место чистое. Дозвольте дозору сняться.

— А что, соскучились?

— Какое там веселье.

— Ну, ладно, ворочайте к нам. А быстро дошли, — взглянул Миша на стоявшее еще в полпути до горизонта солнце. — Не только за-светло в городе будем, а вечерком и погулять сможем. Город виден! — крикнул он, повернувшись в седле. — Прибыли! Оправься, смотри веселей!



Лица казаков разом повеселели, больно уж надоело месить то густую, то жидкую грязь. Чудненко вынул из полевой сумки советского образца гребешок и круглое зеркальце, снял пилотку, бережно свернув ее, сунул в карман и, бросив поводья на шею лошади, начал тщательно выправлять пробор и напوماженную наческу на лоб.

### ГЛАВА 3

Из всех старательно подобранных Мишей немецких слов подошедший к нему в ортскомендатуре унтер-офицер понял лишь то, что перед ним «казакенфрайвиллигер» и что нужен переводчик. Он кивнул головой, вышел в другую комнату и через минуту вернулся оттуда, идя позади полноватого, приземистого человека в больших роговых очках.

«Кто он? — задал себе вопрос Миша. — Немец или русский? Офицер или вольнонаемный? Как его называть? Одет в офицерское обмундирование, но погонов нет... На рукаве какая-то черная ленточка... Немец? Нет, идет вразвалку, словно сонный. Немцы так не ходят».

— Из охранной казачьей сотни? — не здороваясь и глядя куда-то поверх Мишиной головы, спросил вошедший. — В чем дело? С донесением?

— Приведены пленные партизаны, — отрапортовал Миша.

— Письменное донесение, — с раздражением протянул руку переводчик.

— Нет его. Пленные отправлены прямо с места боя. Донесение завтра пришлет зондерфюрер Мюллер. Ведь сам Середа...

— Ох уж этот ваш Середа-Пятница, — брюзгливо помотал головой переводчик. — Сколько с ним всегда возни, путаницы, неразберихи... Ну ладно, докладывайте, — сел он к пустому столу, зевнул и даже приспустил веки глаз.

«Русский, — решил Миша, уже знакомый по опыту с лениво небрежительной манерой, усвоенной многими русскими переводчиками при разговоре с соотечественниками, — у немца совсем другое обращение было бы. Но черт с ним! Какое мне до него дело? Исполняю приказ — вот и все. Даже и сесть не предложил...»

Миша придвинул к столу ближний стул, спокойно уселся на него и, подавляя в себе какую-то невольную антипатию к переводчику, начал доклад:

— Сегодня, в шесть тридцать, крестьяне поселка Змиева сообщили нам, то есть командиру сотни Середе о засаде, подготовленной советскими партизанами по дороге в город...

— Змиевские колхозники? — несколько оживился переводчик. — Кто именно? Вы имена сообщивших знаете?

— Одного знаю.

— Имя? — вынул самопишущее перо переводчик.

— Титенко Кузьма. Другой старик какой-то. Его не знаю.

— Жаль. Титенко Кузьма, — повторил переводчик, записывая.

Дальше Миша рассказал о решении Середы атаковать засаду, не

взглянув на отсутствие немецкого командира сотни, зондерфюрера Мюллера, который был в отъезде.

— Превысил власть, — отметил не то про себя, не то обращаясь к Мише, переводчик.

Дальнейший рассказ о всем ходе операции, атаке с фронта и с тыла он как будто и не слушал, так же сонно опустив веки и уперев подбородок в кулаки. Но Миша оживился. Он снова переживал пафос недавнего боя, даже вскочил со стула при описании самой атаки. Но слова его будто растворялись в воздухе, не доходя до ушей переводчика, слушавшего его подчеркнуто лениво, показывая всем своим видом, что он лишь выполняет скучную, не имеющую значения формальность. Сонливость исчезла с его лица только тогда, когда Миша упомянул о словах, сказанных сержантом про повешенную.

— Где она?

— Там же, внизу, на подводе. Вместе с пленными.

— Приведите ее сюда немедленно. Впрочем, нет, — остановил вставшего со стула Мишу переводчик, — я сам распоряжусь.

Он повернулся к сидевшему за своим столом унтер-офицеру и сказал ему несколько слов по-немецки. Тот вышел.

— Дальше?

— Дальше? Дальше, собственно, ничего, — несколько растерянно ответил Миша. — Пленные доставлены сюда. Вот и все.

— Опрос им делали?

— Нет, кроме переданного вам разговора с сержантом. Обыск делали. Вот отобранные документы, — положил Миша на стол перед переводчиком завязанную в платок пачку. — Прошу принять пленных, выдать расписку и ордер на ночевку конвоем и фураж. Коням нужна выстойка.

— И то и другое получите за тем столом, — указал переводчик на первый стол от двери и, увидев входящую в сопровождении унтер-офицера спасенную, подтвердил кивком головы какие-то свои соображения. — Гущина. Так я и думал, — буркнул он про себя. Потом, усилив голос, добавив, обращаясь уже к ней, медленно и раздельно: — Поехали за продуктами, гражданочка милая, а заехали в петлю... Бывает. — На слова «за продуктами» он налег с особенной силой.

«Какие же продукты? — удивился Миша. — В тележке ни мешка, ни корзинки не было... И что же это? Она ему, как видно, знакомая? Какая-то здесь сложная ситуация».

— Ваш отец, то есть отчим, агроном Кузьмин погиб при исполнении своего долга, — продолжал переводчик, — выполняя приказ гражданского управления. Следовательно, вы и ваша мать можете рассчитывать на пенсию. Заявление подадите мне. Лично к вам вопросов не имею. Цель вашей поездки мне известна, а ортскомендатура осведомлена о командировке агронома Кузьмина в Змиевку для распределения семфонда. Но пока не уходите. Быть может комендант, которому я сейчас доложу это дело, захочет о чем-нибудь спросить вас сам. Садитесь и отдыхайте. Вы тоже не уходите, — бросил он Мише, уже открывая дверь к коменданту.

Ждать его возвращения пришлось недолго, не более пяти минут, но Мише они показались целым часом. Он беспокойно вертелся на сту-

ле. Воздух ортскомендатуры словно давил, душил его. Со всех сторон смотрело что-то чуждое, враждебное.

Гущина наоборот, как домой приехала. Она уютно уселась в глубокое кресло, сбросила платок с головы, растегнула пальто и наскоро причесала круглым гребнем волосы. Налипшую на лицо дорожную грязь тоже отерла, хотя и небрежно, без помощи зеркала, но все-таки, взглянув на нее, Миша с удивлением увидел совсем еще молодую, лет двадцати двух девушку, а не средних лет женщину, какую он считал ее до сих пор.

Из двери коменданта вышел молодой розовощекий офицер с двойной радужной орденовских ленточек на груди, а за ним — теперь не вперевалку, а подтянуто — переводчик. Миша встал им навстречу.

— Комендант занят, — объявил переводчик, — а его заместитель, обер-лейтенант фон Кистер хочет знать, какие ощущения переживала ты... то есть вы переживали, Гущина, находясь в плену.

— Скажи... скажите ему, придет время — сам узнает, — злобно ответила девушка.

— Ну, нельзя же так, — поморщился переводчик, — сказать что-то все-таки надо.

— Ну, тошно, что ли... вот и все. А если надо еще, то от себя что-нибудь подоврите. А меня отпускайте скорей. Мне домой надо. Жрать хочу смертельно. Я ведь с утра не ела.

— Ладно.

Переводчик быстро заговорил по-немецки, обращаясь к лейтенанту. Говорил он что-нибудь, должно быть, забавное — тот смеялся, а потом похлопал Гущину по плечу, сказал ей несколько слов по-немецки.

— Обер-лейтенант поздравляет вас с благополучным окончанием вашего рискованного приключения и советует в дальнейшем быть более осторожной при поездках за продуктами. Теперь все. Можно идти. К вам только несколько вопросов, — обернулся он к Мише, подождав его движением руки. — Комендант предпочитает ожидать информации лейтенанта Мюллера, а обер-лейтенанта интересуется лишь общее количество партизан в засаде и их вооружение.

— Захвачено в плен девять, двое зарублено в бою, всего одиннадцать, — отрапортовал Миша, вспомнив подсчет Середы, и разом спохватился: «Вот маху дал! Ведь девять с мальчишкой! Как теперь выкрутиться, выйти из этого положения?»

Выход пришел неожиданно сам собой.

— В счете приема значится только восемь военнопленных, — взглянул в поданную унтер-офицером рапортицу переводчик, — сбежал один по дороге, что ли? Или? — строго сдвинул он брови, пронзительно сквозь очки взглянув на Мишу. — Одного... при попытке к побегу... Так? Говори! — прикрикнул он, но тут же, сообразив, засмеялся: — Ловкачи вы, однако, с вашим Пятницей! Спасенную жертву террора тоже в состав партизан для количества занесли! Так ведь? Ох, уж этот ваш Пятница! Донесение писать — так он малограмотный, а вздувать трофейные показатели — так очень грамотный оказывается. — Потом снова заговорил по-немецки, видимо рассказывая обер-лейтенанту о

Мишкиной опшибке в счете, как об очковтирательстве со стороны Середы. Оба засмеялись, и лейтенант потрозил Мише пальцем.

— Трофейное оружие: десять винтовок и две ручных гранаты, — торопился замять свой промах Миша. Пистолета и винтовки мальчика он не назвал. — «Замотаю их, теперь маху не дам!»

— Доставить все сюда, особенно гранаты, без каких-либо отговорок, — приказал переводчик, не спрашивая у лейтенанта.

«Прошибся все-таки, дурак несоленый, — обругал сам себя Миша. — О гранатах промолчать бы надо, самим нужны до зарезу».

— Можете теперь идти, — начальственно разрешил переводчик. — В городе не задерживаться. Выступить завтра с рассветом... Да, кстати, — остановился он уже по пути к своему столу, — передайте этому своему... как его... Серёде мой дружеский совет не превышать власти своего воинского звания. Он не командир сотни, а унтер-офицер, фельдфебель, не более того. Ортскомендант очень недоволен его самовольными действиями.

— Но боевая обстановка требовала немедленных решений, а лейтенанта Мюллера не было, — горячо возразил Миша.

— О требованиях к боевой обстановке ортскомендант будет говорить с лейтенантом Мюллером и с этим Середой, которого вызывают для объяснений, — оборвал его переводчик. — Получи документы и иди, — привычным к приказам тоном добавил он. — Иди.

— Стойте! — злобно выкрикнул ему вслед Миша. — А висельника с телегой куда девать? Немцы его не принимают.

— Тело повешенного доставить к вдове. Лошадь вернуть в земуправление. Вот она укажет вам адреса, — тькнул он пальцем в сторону совсем повеселевшей теперь Гущиной.

#### ГЛАВА 4

— Маштаков! — позвал Миша, выйдя из ортскомендатуры. — Вот тебе два ордера. Один на фураж, другой на ночевку в солдатенхайме. Веди туда казаков, да ордера не перепутай. Хотя все равно — там разберут. Моего конька тоже прихватите. Я пешком пойду, покойника к супруге доставлю. Со мной, — Миша пошарил глазами среди разбивавших коней казаков, остановился на Чудненко и засмеялся, — со мной Чудненко! Садись на тележку, дружок, возглавляй похоронную процессию!

В толпе казаков заплескался смех. Сам Чудненко, тщательно отиравший платочком брызги грязи со своего лица, растерянно развел руки с зеркальцем и платочком, да так и застыл в этой позе. Его круглое, плоское лицо вытянулось и даже как-то заострилось. Казалось, вот-вот он заплачет. Перспектива везти мертвеца на прыжной телеге, запряженной пузатой кобыленкой, вместо эффектного проезда по городу верхом на коне и лихо избоченясь, рушила все его планы и надежды на веселый вечер в городе.

— Господня урядник... — жалостно лепетал он, — нельзя ли...

— Нельзя! — резко прервал его Миша. — Сдадим мертвеца по принадлежности — доставишь тележку в земуправление. Там, конеч-

но, сейчас никого нет. Придется искать, кто бы принял лошадей. Они, — указал Миша на казаков, — колхозники, не найдут, а ты городской, сам служащий, тебе это будет легче сделать. Разговор окончен! Садись!

Чудненко досадливо сунул в карман свои туалетные принадлежности, бормоча что-то себе под нос, влез на передок тележки и хлестнул лошадей обеими вожжами сразу.

Смех в группе казаков зазвучал громче.

— Тебе, Чудненко, эта почетная должность как раз по принадлежности. Ты всех нас форсистее. Да стой, куда поехал? Пассажирку-то принять позабыл! — кричали отсюда.

— Я пешком пойду. Здесь недалеко, — ответила Гущина на вопросительный взгляд Миши и крикнула Чудненко: — Первый сверток налево, по Пролетарской. А там переулками, я укажу.

— Ну, тогда и потопаляй вместе, — кивнул головой Миша. — Потыше, Чудненко, все равно нас поджидать придется. Не гони! А то еще эта клячушка содохнет у тебя по дороге...

— Идти по одной дороге еще не значит идти вместе. Можно и врозь, — так же сухо, тем же деревянным голосом, как в лесу, ответила девушка. — Вы впереди, я сзади, или наоборот. Мне все равно.

«Отмежевывается, решил Миша, и в разговор вступать не хочет. Видно с характерцем. Ну, черт с ней!» — Показывай дорогу! — добавил он вслух.

Идти, к счастью для Чудненко, пришлось действительно недолго и главным образом по тихим, безлюдным переулкам, где глазеть на похоронный кортеж было некому. Минут через десять Гущина остановилась возле маленького невзрачного домика, ставни окон которого резко выделялись на серой, облупившейся штукатурке стен своей ядовито-зеленой окраской.

— Здесь, — коротко стукнула она. — Подождите у крыльца. Сейчас я мать позову.

Из окна соседнего дома высунулись, тесня одна другую, две женщины. Обе были молоды. Чудненко небрежным жестом сбил на ухо пилотку и отошел шагов на пять от тележки, показывая всем своим видом, что он не имеет никакого отношения к подводе с торчащими над нею коленями мертвеца.

— Скоро там, что ли? — нетерпеливо крикнул в незакрытую Гущиной дверь Миша.

Вместо ответа из нее неторопливо вышла сухопарая женщина лет сорока, чертами лица та же Гущина, только посуше и постарше: те же белесые редкие брови, тот же прямой разрез негнущихся при улыбке тонких губ, тот же острый торчок подбородка и даже ее голос оказался таким же деревянным.

— Доездили! — приветствовала она мужа с верхней ступеньки крыльца. Потом, сойдя к тележке, сбросила прикрывавший его мешок, вытерла руки фарлуком и, расстегнув пальто мертвеца, полезла к нему в карман. — При нем деньги были. Ты, что ли, взяла? — крикнула она в дверь.

— Там без меня желающие нашлись, — показала голова Гущиной, — казаки у него карманы вычистили.

— Ну и врешь, — неожиданно подавал голос Чудненко, — на казаков тут валить нечего, когда до них партизаны его обрабатывали...

— Один чорт, — выдвинулась целиком из дверей Гущина, — не трудись, мать, по карманам искать. Ясно, что там пусто. Пускай они его лучше везут куда знают, а нам его некуда девать.

— Ну и шалава. Дурой была, дурой и осталась, — возразила Гущина-старшая, — так в этом пальте его и везти? В немецких ботах? Как есть ты дура... Да и пиджак на ём еще сподится, с руками на базаре огорвут. Что стала, как статуя бесчувственный? Иди, помогай разбирать его.

Глухое раздражение, накапливавшееся в Мише с первого момента пребывания в комендатуре, разом взорвалось.

— Но этим вы уже у себя займетесь, — оттолкнул он плечом женщину от тележки. — Чудненко, подхватывай его под колени! Понесем в дом! Живо! Берись!

Сам он охватил мертвеца под плечами, гадливо содрогнулся, почувствовав на своей щеке его липкий, холодный язык, и, преодолев отвращение, изо всех сил дернул тело с телеги.

— С виду ледащий, а тяжелый, — перехватив ноги агронома, заметил неловко взявшийся за них Чудненко, — лестница тоже называется, чорт ей в зад, — споткнулся он на прогнившей ступеньке.

— На пол, на пол в сенцах его кладите. В комнату нечего нести, — барабанила словами сзади баба.

Но Мишка, протиснувшись сквозь тесные сенцы, открыл задом какую-то дверь и, увидев в комнате кровать, стал пятиться к ней. Гущина-старшая, проскользнув мимо него, сорвала с нее лоскутное одеяло, перебрехала на стол подушки и потянула полосатый матрас.

— Обождите... Не видите, что ли, он весь в прызи.

— К чорту! — снова оттолкнул ее Миша и завалил мертвеца на бесстыдно раскрытую кровать. Ему было противно, гнусно до тошноты, до удушья. Все противно, все — и обе Гущины с их деревянными молотками голосов, и посиневший, раздувшийся язык мертвеца, и даже полосы на матрасе.

— Кончено! — выкрикнул он, сбросив груз. — Идем, Чудненко! Ну их всех к...

Готовое вырваться прубое ругательство застряло в горле Миши. Он остолбенело смотрел в открытую теперь дверь, ведущую во внутренние комнаты. В ее пролете, опершись плечом на притолоку, стояла Мира... Или не Мира... Или совсем другая Мира... Кто?

— Мира? — почти шепотом спросил Миша, шагнув к ней.

— Миша? — ответила она тоже вопросом, плотнее прижавшись к притолоке, словно бессильная от нее оторваться. — Миша? — повторила промче. — Вы?

Миша не отвечал. Он схватил обе руки девушки, сжал их и тряс мелкой дрожью.

— Мира... Мира... Мира... — твердил он. Только одно это слово и выговаривалось, проскакивало из переполненного тысячью слов

сердца. — Мира... Мира... Мира... — и все эти слова, вся тысяча, вместились в нем одном.

— Знакомца, что ли, встретила, Мира? — пробарабанила позади Миши Гущина, и это произнесенное ею имя резануло Мишу, словно хрип пилы, ворвавшийся в мелодию песни.

— Да, это наш студент. Одного со мною курса и в редакции вместе работали, — как-то виновато, словно оправдываясь, ответила Мира.

Миша слышал, как Гущина нарочито громко, пренебрежительно шмыгнула носом. Злоба, раздражение снова закипели в нем, готовясь вырваться, поднялись и разом опали, когда зазвучал голос Миры:

— Вы давно уже здесь, Миша? Почему не заходили в редакцию? Ведь мы здесь уже четыре месяца.

— Ка... какую редакцию? — растерянно спросил Миша.

— Как — какую? Нашу, конечно. Русской газеты «Полесский вестник». Да что вы на меня уставились? — засмеялась Мира, и теперь Миша увидел ее прежнюю, настоящую. — Газеты вы, что ли, не видали?

— Нам украинское барахло присылают, а русской — нет, — помотал он головой.

— Все здесь. И Брянцевы, и Вольский и обе Зерцаловы, — продолжала, все более и более становясь прежней, Мира. — Эх, вы, Мишенька, медвежоночек! Из какой берлоги вы к нам пожаловали? Большая газета. Восемь страниц. Идемте, я покажу вам и дам последний номер, — потянула она его за руку в другую комнату и, притворив за собой дверь, быстро зашептала: — Сегодня вечером приходите к Брянцевым. Здесь нельзя говорить. Поняли? — Мира схватила с полкрытого клеенкой стола газету, сунула ее Мише в руку и торопливо приоткрыла дверь. — Еще юношескую, еще крестьянскую газету выпускаем... И толстый журнал подготавливаем. Мы с Таской корректоры, но и перевозу иногда. А с моей подругой, Владой, вы знакомы? Пойдемте, — подтолкнула она Мишу в дверь, — я вас познакомлю.

— Не трудись, знакомы, — буркнула Гущина.

— Ну, тогда все. Заходите в редакцию к Таске. А мне еще перевод кончать надо, — протянула девушка руку Мише.

— Все, — ошалело пожал эту руку тот. Миша чувствовал себя каким-то оглушенным, нетвердо стоящим на ногах, словно земля под ним волнообразно колыхалась. Мысли расплзались во все стороны и ни одной из них он не мог схватить, не видел ни Гущиной, ни мертвеца на кровати, ни стен, ни стола. Все сплывалось, снова расплывалось и кружилось. Но вдруг перед ним четко и ясно вырисовался улыбающийся приптомаженный Чудненко.

— Чего разгильдяишничаете? — неожиданно для самого себя сорвался на него Миша. — Пони эту чортову тележку в земуправление и сдавай ее хоть сторожихе, только чтобы расписка была. К чорту ее! Ко всем дьяволам!

Выругался — и полегчало. Расплзшиеся мысли, хоть и медленно, но снова сползли в голову. Взглянув на закрытую теперь Мирой дверь, Миша махнул рукой и, не глядя на Гущинных, вышел из дома.

## ГЛАВА 5

Первый же встречный указал Мишке дорогу к редакции. Она, вместе с типографией, помещалась совсем недалеко, на Пролетарской, переименованной теперь в проспект гетмана Наливайко, о чем жители города всегда вспоминали, сидя в одной из нескольких красовавшихся на ней закусочных, называвшихся теперь тоже по-иному — цукернями.

— А ну, по стопочке в память славного гетмана...

— Готово! Налито! Теперь Выпивайку помянем... Что? Говорите — не было такого гетмана? Не было — так будет! Этого добра, — щелчок пальцами по стопке, — хватает, а вот насчет Закусайки — чорт-ма! Такого гетмана пока не предвидится...

Вход в редакцию был в прошлом безусловно эффектным. Здесь была гостиница для особо важных посетителей города, превращавшегося в крупный индустриальный центр. От тех времен сохранилась вращающаяся стеклянная дверь, но стекло в ней теперь было только одно, да и то разбитое.

В первой же комнате Мишу поразила ее неустроенность, необходимость, словно жильцы только сегодня в нее въехали и завтра собираются уезжать. Три стола с пишущими машинками, не покрытыми чехлами, стояли вразброд. Перед ними еще большой стол, закиданный ключьями бумаги, возле него одинокий стул и два других, валявшихся недалеко. Шел уже седьмой час вечера, но помещение было не убрано.

«Дуся должно быть дома осталась, подумал Миша, она бы не допустила такого безобразия».

Такова же была и следующая комната. В ней стоял только один стол, за которым сидели два парня в замызганных стеганых ватниках и ели творог из немецкого котелка. Тут же были свалены на полу их шинели русского образца, вещевые мешки и пятнистое полотнище палатки. На вошедшего Мишу они не обратили никакого внимания.

— Из сотрудников редакции есть кто-нибудь? — спросил он.

— Мы сотрудники редакции. А вам что? По какому делу? — не отрываясь от котелка, ответил один из сидевших.

— Мне нужно видеть редактора, Котова или Вольского...

— Приходите завтра. Сегодня занятия уже кончены.

— А как пройти в типографию?

— В ту дверь и на двор по лестнице. Там увидите.

Спустившись по замусоренной лестнице и выйдя из полутьмы на двор, Миша почувствовал себя словно в другом мире. Сквозь растворенные окна виднелись фигуры стоявших у кас с наборщиков, слышался мерный постук печатной машины. На Мишу пахнуло близким, родным, словно паром от вынутого матерью из печи борща.

— Смотрите, смотрите, кто к нам идет! — закричал сидевший у одного из окон Таска. — Мишка объявился! Весь полностью! К тому же и в геройском виде! Откуда?..

Закончить вопроса Таска не успел. Он исчез из окна, занятого теперь полностью широкими плечами Шершукова, из-за которых, как опенки из-за пня, тянулись еще несколько голов.

Миша подбежал к двери типографии и со всей силой, словно ожи-



дая сопротивления, ткнул ее плечом. Падая, он почувствовал себя в чьих-то объятиях, да таких, от которых его ребра смачно хрустнули, а в пруди сперло дыхание.

Разжав тиски, Шершукков встряхнул Мишу за плечи и звучно поцеловал в обе щеки.

— Говорил я вам, что объявится! Невероятно, чтобы такой парень затерялся и пути к нам не нашел! Можете сами его освидетельствовать, — отступил он на шаг назад, выдвинув перед собой Мишу.

Что происходило дальше, Миша плохо осознавал. Он только пожимал тянувшиеся к нему со всех сторон руки, не разбирая, чьи они, не вглядываясь в лица их владельцев. Не все ли равно? Ведь все здесь были своими, близкими, родными.

«Не так как в ортскомендатуре, пронеслось в его голове, а даже совсем наоборот . . .»

— Ну, все теперь поручкались? — стараясь перекрыть треск сыпавшихся со всех сторон вопросов, кричал Таска. — Все? Тогда дальнейшие персональные разговоры — в порядке живой очереди! Мой — первый номер, на основе стажа давности дружбы. Идем, Мишатка, в шершукковский закуток, а то здесь замнут нас обоих, как цыплят. Ну, прежде всего, говори: кто ты и где ты? — толкнул он его в просторное мягкое кресло в застекленном кабинете зава типографии. — Узнаешь? — ткнул он пальцем в его темно-зеленую бархатную обивку. — Из нашей редакции прихвачено. Можно сказать, реликвия. Вдохновляйся ею и повествуй.

— Да что повествовать-то? Кто я — сам видишь, — указал Миша на свои алые кубанские погоны, — фрайвиллигер, то есть доброволец охранной кубанской сотни. А где я — сказать трудно. Сейчас здесь вот, в этом кресле, а вообще в движении: нынче здесь — завтра там.

— Что ты в сотне, это я знал, тебя при выезде из города видели, а в дальнейшем вся сотня у нас из глаз пропала.

— Мы на Керчь походным порядком шли. Пролив по льду переходили, а вы через Ростов. Ясно, что разошлись.

— Как в море корабли . . . Но для того, чтобы снова сойтись. Так? А знаешь, Мишка, — Таска схватил его за плечи и потянул к себе. Может быть, хотел поцеловать, но застеснялся, — все-таки чертовски тебе рад.

От избытка охватившего его чувства Таска ухватил Михаила за оба колена, развел их в стороны и потом с силой стукнул друг о друга.

— Ой, чорт! Больно ведь! Дурак . . .

— Ничего! Три к носу — пройдет. Ребята у нас, правда, свои, хорошие, не так как в редакции, а все-таки такого, как ты, друга, у меня здесь нет.

— А в редакции что? Кто там теперь? — с тревожным интересом спросил Миша.

— И не говори! — махнул рукой Таска. — Там теперь такое идет, что сам чорт ногу сломит. Да ты не волнуйся: предмет твой теперь у нас. По корректуре меня подменяет и находится под прикрытием мощного шершукковского крыла, а у него без либерализма — гайка туго закручена.

— Ты все-таки про редакцию толком расскажи, — настаивал Миша.

— Пусть это тебе сам Всеволод Сергеевич расскажет. Зайдешь ведь к нему? Он живет на Тарасе Шевченко номер пять. Только спрашивай не Шевченковскую улицу, а Пушкинскую. Вернее будет. Понял? А у нас с тобой иная тематика. Середа где? Вьюга где?

— Середа у нас же фактически сотней заворачивает. Командир ее — немец, но умный, зря не мешается. А Вьюга... лиши, брат, в окончательный расход нашего атамана... Погиб смертью храбрых, — и Миша коротко рассказал о гибели Вьюги.

— Царство ему небесное, — перекрестился Таска и в ответ на удивленно-вопросительный взгляд Миши сказал, подавляя проступавшую на лице несколько смущенную улыбку: — Я, брат, теперь в церковь хожу и большое удовлетворение там получаю. Верую или нет — сам того не знаю, а хорошо мне там. Тянет туда. Царство небесное Вьюге Ивану, — повторил он. — Точка. В своем стиле поставил он эту точку. Умер так, как ему и умереть полагается. Да, по-моему, ему дальше и жить-то было незачем. Он свое выполнил, осеменил какой-то клочок земли и дальше, по неуклонному естественному закону, должен был сам засохнуть, исчезнуть, уступив место новым. Но ты вот сказал, что сотней у вас командует хотя немец, но умный... Но... Вот это «но» у них в редакции боком теперь и выскакивает. В том все и дело. Однако, мы опять с основной тематики сбились. Говори: в боях был?

— Почти от самого Мелитополя продвигались в боевой обстановке. Мелкие стычки с партизанами почти каждый день, — не без гордости ответил Миша. — Да это что, — добавил он с напускным равнодушием, однако, не удержался в этом тоне и снова с гордостью: — Хотя потери есть и ранеными и убитыми...

— Ну, а я прожил эти месяцы без потерь и даже, как видишь, с некоторым пополнением в буквальном смысле этого слова, — захохотал сам своей остроте Таска, оттянув ворот рубашки, чтобы показать обросшую жирком шею. — Была тридцать девять сантиметров, а то и тридцать восемь, теперь же сорок три, с тенденцией на укрупнение... Видишь?

— Вижу. И ряшка тоже, «как щит героя», выражаясь по-гумилевски, — добродушно похохатывал, смотря на самодовольную физиономию друга, Миша. — Кроме того, все пуговицы на местах и рубашка чистая. Стало быть, жить стало лучше, жить стало веселее... Так? Ты как — женат теперь или опять на холостом ходу?

— Нет, брат, я по призванию человек семейный, — важно и солидно проговорил Таска, поладив себя по животу, — раз женился — так уж не разженюсь. К тому же и незачем. Решение принято окончательное и обжалованию не подлежит. Знаешь... Это тебе одному я скажу; фактик, хотя и частного порядка, но вместе с тем имеет политическое значение. Женился я на Галке можно сказать с голлодухи. Помнишь ведь? Никаких там соловьиных или черемуховых любвей промеж нас не было, а так... один генеральский рацион из офицерского клуба, —

с грустным отсветом в глазах, быть может с сожалением о прошедшей мимо него юности, покаялся Таска, и Миша, уловив эти едва заметные тени, тихо и сочувственно кивал его словам.

— Знаю... Все это знаю...

— А какой она сама тогда была, Галка, тоже знаешь?

— Стопроцентной стервой, — не подумавши, но от всей души брякнул Миша и тут же смутился. — Ты прости, пожалуйста... Мы все ее тогда такой считали.

— Можешь не извиняться. Правильно считали. Даже не просто стервой, а сверхстервозой она была. Только почему? — Таска хитро подмигнул и сделал паузу, предвкушая эффект своего сенсационного сообщения. — Потому что, — раздельно проговорил он, — потому что она, Галка Смолина, безжалостно топившая студентов, — снова пауза и потом, как из пушки: — потому что она — очень хороший человек, — еще решительнее и раздельнее закончил свою речь Таска и умолк, наслаждаясь видом полного недоумения на лице Миши.

— Ничего не понимаю, — сознался тот.

— Снаружи это понять действительно трудно, а как прогрызешь дыру в нутро, так все ясно и просто станет. Галка по натуре тоже сто процентно семейственный человек, — впад в профессорский тон, продолжал он, — домохозяйка и мать семерых ребят по призванию. К тому же баба в годках, в самом возрасте, да еще с темпераментом. А ее-то вместо домохозяйек в контрольную комиссию запрягли. Ее подсознательно тянет ребятам соплю вытирать, а вместо соплей — партнагрузки разные. К тому же рожей не вышла. Ну, и взбеленилась баба, на стенку полезла. Ясно теперь? Все кругом нее в той или иной мере любовь крутят, а ей вместо положенного по штату мужа или хотя бы какого-нибудь хахалишки подходящего одни основоположники марксизма-ленинизма... При такой ситуации любая святая очертенеет, — посмеивался Таска.

Но Миша не смеялся. Наоборот, чем неожиданней и даже комичней становились сопоставления Таски, тем печальнее и серьезнее становился его взгляд, тем теплее и ласковее смотрел он на приятеля. Таска — обжора, сплетник, трус, эгоист-обыватель — поворачивался к Мише другой, неизвестной ему стороной.

— Ну? — подтолкнул он замолкнувшего друга.

— Какое тебе еще ну? Я все про себя сказал. Нукай теперь на себя.

— И мне на себя нечего нукать. Мною эта задача поставлена и разрешена. Ни в плане частного случая, конечно, но в целом, как вывод из явления. Ведь не одна такая Галка в партии, не исключение она. А тот же Середа? Не Галка он разве? Представь, не будь революции, не завязни он из-за его форсистости честолюбия в партии, был бы теперь наш Середа сверхсрочным вахмистром его императорского величества конвоя. Грудь в крестах и медалях, эскадрон в блестящем порядке, на душе тишь и гладь. А то, глядишь, и в офицеры бы выскочил... Это для него — в рай попасть. А ему те же партнагрузки, та же

партучеба, о которой он без мата вспомнить не может, к тому же еще партийная дисциплина и безнадежное заперывание в низовке. Устремления у него были наполеоновские, а попал в червяки какие-то... Взгляни на Шершукова. Ведь он только теперь, вырвавшись из клещей партии, развернулся во всю свою ширь. Мало ли таких? Таких вот, ущемленных, не могущих раскрыть самих себя, сейчас против нас идет?

— Подавление личности коллективом, — вставил Таска.

— Это только ходкая фраза. К чорту ее! Я практически разрешаю задачу. Тебе хорошо: перед тобой бумага, — дернул Миша какой-то лист на столе Шершукова, — вычеркнет твоя рука с отгрызком карандаша вот это слово, убьет его — и все тут. Убил и забыл. А вот в этой руке, — поднял свою растопыренную ладонь Миша, — не карандаш, а винтовка, и передо мной не мокрые корректурные листы, а живые люди, — выхлестнул из самой своей глубины Мишка, — живые русские люди! Какую-то часть из них мне вычеркнуть надо... А какую? Как узнать, кто передо мной стоит? Середа или тот, что Бронницына ухлопал? Шершуков или Плотников?

Замолчали.

— Ну и как? Как разрешил ты эту задачу? — глухо спросил Таска.

— Говорю, практически разрешил. Вернее, сама обстановка ее за меня разрешила. Теории здесь ни к чему. От них только душе чесотка. Как у Брянцева.

— Ну как же?

— По-ленински, брат. Не боюсь этого сказать. Ленин тоже дураком не был. Да и кроме того, это решение до него еще многими и многими во всех временах было принято. «Или-или» — вот оно решение. Другого нет и быть не может. В настоящей ситуации или в землю штык или пулю в лоб. Вот когда я это решение принял, то разом твердую почву под собой почувствовал и дорогу свою ясно увидел, — закончил Миша, встал, расправив плечи. — Твердо и ясно. Не сверну с нее. Однако, — засмеялся он, — раз о дороге заговорили, то и мне собираться в дорогу нужно. Пора к Брянцевым. Говоришь, Пушкинская, номер пять?

— Завтра к нам зайдешь? Или с утра ко мне на квартиру? Это даже лучше. Там твой предмет рядом помещается и пролаз под забором к нему есть.

— Нет. Завтра с рассветом выступаем. Но в ближайшие же дни жди. Мы ведь стоим недалеко, всего в километрах тридцати. Как будет свободный денек, так и прикачу.

— Понимаю. Магнит действует, — подтолкнул локтем Мишу Таска.

— Да еще не один, — весело засмеялся тот и обнял его за плечи. — Все вы тут для меня магниты: и ты, и Брянцевы, и типографские ребята... Даже и Пошел-Вон. Ведь и он здесь?

— Куда ж он денется? Ну, всего! Пока! Ждем!

## ГЛАВА 6

Никаких сомнений! Мыло было сварено из какой-то дохлятины, к тому же пропухшей еще до варки. Черное, тягучее, оно воняло еще в горшке, а когда Ольга, вздрагивая от отвращения, мазнула им замоченную рубашку и начала расстирать его, густая волна нестерпимого смрада чуть ее не задушила.

• Виновата в этом была, конечно, советская власть. Ведь только при ней стали варить мыло кустарно, из всякой дряни, а до революции всем его хватало, хоть завались. Да какого еще! Мраморно-белого с голубизной или желтого, как янтарь . . . Сволочи, сволочи и еще раз сволочи! Какую жизнь испакостили!

В дверь давно уже стучались, но углубившаяся в воспоминания Ольга не слышала. Она неподвижно сидела на стуле, опустив руки, с которых густыми, мутными ошметками спадала воночная пена.

— Брянцева здесь живут? Ольга Алексеевна, вы дома? — громко спрашивали за дверью.

— Вот на мое проклятое счастье кого-то еще чорт принес! — проворчала Ольга. — А я в таком виде, — осмотрела она сверху вниз свой передник и мокрую, в пятнах, юбку. — Еще вонь эта . . . Советчина проклятуца! Кто там? — резко крикнула она. — Если вы к Всеволоду Сергеевичу, так его дома нет.

Вместо ответа дверь распахнулась сама собой. На пороге ее стоял немецкий солдат.

— Что вы тут, как в осаде сидите? Меня-то, кажется, стесняюсь нечего. Я вас сто раз за стиркой видел . . .

— Миша! Мишенька! — закричала во всю силу легких Ольгунка, метнулась к нему, раскинув руки, чтобы обнять, но увидев на них корку загустелой серой пены, злобно затрясла обеими пятернями и топнула ногой: — Проклятая советская власть!

— Оно, конечно, так, но ведь я-то за нее не отвечаю! — рассмеялся вошедший. — Давайте-ка лучше я вам сейчас вот хоть этой тряпкой руки оботру и поздороваемся тогда, как полагается.

Миша решительно шагнул к столу, на котором высилась груда приготовленного для стирки белья, выхватил что попало и завладел рукой Ольги.

— Подштанники Всевкины, — вырвала у него свободной рукой болтающуюся штанину Ольга. — Сидите уж лучше вон на том стуле, я сама все сделаю, — съпала она ворчливой скороговоркой.

— Вот так прием! — ухмыльнулся Миша. — Думал, вы меня обласкаете, приголубите, а встретили прямо мордой об стол.

— Так вам и надо, не хватайтесь за чужое дело . . . Ну, ладно, — вытерла она ополоснутые в ведре руки, — теперь все в порядке. Вставай же, обниму вас. Ух, какой большой стал! — охватила она шею Миши руками. — И борода колючая . . . Надо бриться, когда к женщине идее. К свету, к свету, сюда, к окну, — тормозила она малого. — У-у-у-у, какой! . . . В плечах раздался и лицо совсем другое. Еще вот так повернитесь. Совсем взрослый наш Мишенька стал. Женить пора.

Миша стоял, как столб, тщательно выполнял все приказы Ольги и чувствовал себя очень глупо.

— Как телок на базаре.

Ольга забежала с одной стороны, потом с другой, потом сзади, потом начала вертеть Мишу и вертела, пока сама не устала.

— Ладно... Телок... Нет, теперь уж целый бычок. Начинайте рассказ с того самого места, на котором остановились... Когда распростылись мы с вами. Ведь тогда вы хотели остаться в городе. А что дальше?

— Я хотел остаться там с Вьюгой и вести с его бандой подрывную работу. Но вышло так, что не оказалось ни банды, ни Вьюги.

— Разбежались? И Вьюга ваш дал драпача? — гадливо, словно плюнув, проговорила Ольга. — А вы его в герои возводили.

— В чем и не ошибся, Ольга Алексеевна, — спокойно ответил Миша, — героизм его теперь смертью подтвержден и удостоверен. Он угонул, вернее, утопился в цистерне мазута, утопив вместе с собой и того энкаведиста... Мирочкиного... — Миша замялся и с трудом выдавил из себя: — знакомого...

— Какая ужасная смерть, — зажала ладонями глаза Ольга, — в мазуте...

— Не ужасная, а прекрасная, Ольга Алексеевна. Подлинно героическая. Жертвенная и к тому же осмысленная, целеустремленная и достигшая цели.

— Расскажите мне все это со всеми подробностями.

— Пожалуй что не смогу. Многого теперь уж не помню, подробностей то есть. У меня у самого тогда все перед глазами крутилось.

— Почему?

— Потому что другой энкаведист, его помощник, больно здорово мне горло перекрутил.

— Мишенька! — всплеснула руками Ольга. — Как же вы спаслись?

— Единственным возможным способом — ликвидировал его, — спокойно, как будто о чем-то обыденном, будничном ответил Миша.

Несколько секунд Ольга упорно, не отрываясь, смотрела в глаза юноши. Губы ее были плотно сжаты, сжаты были и кулаки ее рук; даже побледнела от напряжения. Потом глубоко, всею грудью втянула в себя воздух и откинулась на спинку стула.

— Да, Мишенька мой, теперь вы стали мужчиной...

— На аттестат зрелости сдал, — иронически улыбнулся он. — И, знаете, не трудно было. — Как-то само собой все это получилось.

— Дальше?

— Дальше не так важно. Важнее то, что перед тем было и в то самое время. Этот «Красавец» метил, поджегши мазут, перебросить огонь на бензиновые цистерны. Помните, их три как раз перед вашим вагоном стояло... Вот тогда веселенькая история получилась бы: ведь все поезда были там на путях и все набиты отъезжающими. Поэтому-то нам с Вьюгой и нужно было все быстро сделать. За эту быстроту он своей жизнью заплатил.

— Не за быстроту, а за наши жизни. За жизни безмятежно спавших там в ту ночь. Упокой, Господи, душу раба Твоего Ивана... Ивана ведь? Так? — обратилась она к Мише.

— А кто же его знает? Может Ивана, может Петра... Дело темное. Да и неважно это — Господь Бог сам разберет.

— Ну, а потом, Мишенька?

— Ну, и потом все само собой пошло. Случайно встретил отряд Середы. Он ухитрился почти всю колхозную молодежь мобилизовать и организовать, реквизировали коней из колхозных остатков, в результате — кубанская охранная казачья сотня получилась. Повел он ее походным порядком на запад вместе с откатывавшимися немцами под их начальством. А мне куда деваться? Одному оставаться? Ну, и я с этой сотней потопал. Топал, топал, да вот и к вам притопал.

— Видела, видела я вашу сотню, когда из города выезжала, — радостно вспомнила Ольга, — и вас, Миша, тогда видела, даже и голос ваш в хоре слышала. Правильно сделал, умник мой Мишенька, теперь уж большой медведь, Михаил Иванович Топтыгин. Правильно! За это я ему сейчас конфетку дам. Вот она, получайте: бережет Катюша, бережет... А что бережет — сами знаете. Только трудно ей, бедненькой, сейчас, очень трудно, — затуманилось лицо Ольги. — Впрочем, ей надо. Надо. Каждой женщине рожать больно, а рожать надо.

— Как рожать? Кого рожать?! — тревожно и даже с испугом спросил Миша.

— Не волнуйтесь, не волнуйтесь, Отелло станицы Полтавской. Саму себя рожать, женщину в себе рожать, бабочку из личинки, из кокона высвободить. Ведь ее мама умерла, вы это знаете?

— Откуда мне знать? Когда умерла? Отчего?

— Вскоре по приезде сюда. Простудилась в дороге. Но мне думается, что даже не от простуды, а попросту не вынесла отрыва от своего гнезда. Корни обсечены. Тихо, как-то незаметно умерла. А ведь вы помните, как Мира росла при ней? Точно в теплице. Вот и пришлось теперь прямо из теплицы да на ветер, на мороз.

— Ну, ведь отец же остался. Он очень любит Миру, — возразил Миша.

Ольга безнадежно махнула рукой.

— Совсем в детство впал. Даже хуже. С детьми проще. А его смерть жены и, конечно, потеря насиженного гнезда так же окончательно из колеи выбили. Болтает какие-то умные глупости или глупые умности — не разберешь, а делает, просит, глупости: капризничает, окулит, как щенок, всю душу Мире измотал...

— Бедная, бедная... И что ж, ничего с этим сделать нельзя? Как?

Пена нежной жалости залила сердце Миши. Ему ясно представился сияющий улыбкой доктор, благодушно восседающий у окна и с завидным аппетитом поглощающий свою утреннюю порцию ультрафиолетовых лучей; потом он услышал доносящуюся из глубины дома хлопотливую воркотню докторши и, наконец, словно из голубого тумана выплыла Мира, не такая, какой он увидел ее теперь — настороженная и вместе с тем словно пришибленная чем-то, а прежняя Мира-Мотылек, Мира-Грѐза, Мира-Мечта... Недостижимая? Что из того? Пусть недостижимая, но неудержимо влекущая, зовущая к неведомой, неизведанной радости.

«Мира, родная, любимая!» — потянулся он всем телом к возрожденному памятью сердца образу. Даже со стула привстал и снова осел, разом отяжелев, ослабев.

Мира, но не та, которую он только что видел внутренним зрением, а совсем другая, новая, неизвестная, непонятная, но так же любимая, так же влекущая, вошла в комнату, осторожно, но не брезгливо обошла бак с вонючим мылом и обняла шагнувшую к ней навстречу Ольгу.

## ГЛАВА 7

— Стирка? И у нас такое же вонючее, — показала глазами на бак Мира. — Прямо никаких сил с ним нет. А другого не достать.

— Вы с этими, с новыми сотрудниками редакции пококетничайте, — не скрывая какой-то непонятной Мише злобы, ответила Ольга, — у них уже везде блат. Они достанут.

Миша так и остался сидеть на стуле — встать позабыл. Он напряженно вглядывался в эту новую для него Миру, старался охватить всю ее разом и вместе с тем рассмотреть каждую ее деталь в отдельности:

«Шубка та же, голубая, но сидит по-другому, по-новому: не самоуверенно, не щеголевато, а как-то трусливо прячет себя самое под серым, поношенным платком старой докторши. Никогда бы его не надела прежняя Мира... И тулоносые валенки с большими мужскими калошами — тоже не надела бы. Лицо обтянулось, посерело и загладилось. Не подурнела Мира, совсем нет, а... закрылась, именно закрылась, заслонила лицо изнутри. Не сверху маску надела, а снизу, отнутри.

Руки? Острая жалость, жалость до слез проколола всю душу Миши, — руки красные, грубые и ногти совсем коротко острижены... На пальцах чернильные пятна и, хотя ногти короткие, под ними черные полосы».

— Мира? Мирочка? Бедняжечка моя! — рванулся к ней Миша.

— Ну вот, то сидел испуганом, египетской статуей, а теперь чуть с ног не сбил бедную девушку! — шлепнула его по затылку Ольга. — Совсем одичал наш медведь в своих лесах. Ну, подайте ручку, шаркните ножкой, скажите...

Наставления Ольги запоздали. Миша схватил обе руки Миры и быстро, мелко, торопливо целовал эти огрубевшие руки с черными полосами под ногтями, словно боясь, что их кто-то отнимет.

Ольга разметнула брови так, как делала это сильно рассердившись; крепко, до болятки, прихватила клок волос на затылке Миши и потянула его голову к лицу Миры. Для верности и ее подхватила под затылок другой рукой.

— Ну целуйтесь, чорт вас подери! Ну! — подталкивала она.

Миша беззвучно прижал свои губы к губам девушки. Мира не отклонила и не приныкла к нему. Словно застыла.

— Пентюх! Болван! Орясина! — злобно выкрикнула Ольга и изо всех сил дернула Мишку за попавший ей в руки клок волос. Начисто вырвала их. — Бурбон! Остолоп!



Больно было Мишке. Даже очень больно. Но плакала почему-то Ольга Алексеевна. Плакала горько, жалостно и злобно. Всё вместе.

— Проклятая, чортова советчина... И юноши с девушками целоваться при ней разучились... Хорошо целоваться... По-настоящему...

— Не разучились! — вдруг сверкнул на нее зажегшимся лицом Миша, не глазами только сверкнул, а всем лицом, заодно плечами и грудью. — Нет, не разучились! — охватил он руками стан Миры, прижал к себе и крепко, звучно поцеловал ее в губы, потом в щеки, в глаза и снова в губы.

Руки девушки обвились вокруг его шеи, обвились и сомкнулись.

— Не разучились! Не разучились! — повторял между поцелуями Миша и вдруг бережно отстранив Миру, стрел в обхват Ольгу Алексеевну и начал разом трясти и целовать ее, приговаривая: — Не разучились, не разучились ни целоваться, ни драться...

— Пустите! Вот скаженный! — весело отбивалась от него Ольга. — Я-то тут причем?

— При всем! Война всем война! Тотальная! Так как же — умеем мы целоваться?

— Умеете, умеете! Очень хорошо умеете! Только меня пустите!

— Ну, вот! Так-то. Теперь и поговорить можно, — выпустил Ольгу Миша и сам плюхнулся на стул с мокрым бельем. — Ох, чорт! — вскочил он и застыл при взгляде на Миру. Теперь она была прежней. Внутренняя маска спала с ее лица. Глазки, щеки, губы жили. Даже голубенькая шубка не свисала больше с плеч вялой, морщинистой хламидой, а сама прихорашивалась на стройной фигуре девушки: ну-ка, теперь посмотрите, какая я на самом деле!

Докторшин серый платок конфузливо сполз с головы и спрятался где-то за спиной Миры.

— Ну, ша, киндер! Теперь тихо, — скомандовала Ольга. — Садитесь не ближе, как на метр друг от друга и поговорим.

— О чем? — спросил Миша.

— Конечно, о ней, — кивнула на Миру головой Ольга, — не о международном же положении.

— Что обо мне говорить? Все равно ни до чего путного не договоримся, — снова потускнела Мира.

— Ну, нет, теперь дело иное, — бодро и уверенно возразила ей Ольга, — теперь он с нами, — ткнула она кулаком в шею Миши и хлопнула его по плечу. Руку ушибла и замахала ею по воздуху. — Видите, какой твердый? Слово о камень хватилась...

— На кость пришлось. Излагайте дело, Ольга Алексеевна, а от Миры, как видно, толку не будет.

— Придется сделать маленькое введение, — подумавши, начала Ольга. — Вы ведь, Мишенька, с нашей теперешней ситуацией не знакомы, а здесь совсем не то, что на Кубани было. Здесь все партийцы налицо и главное то, что они все организованы. Они здесь, пожалуй что, главная сила.

— Непонятно мне это, — покачал головой Миша. — Неужели их гестапо до сих пор не перехватало? Просто не верится...

— Сами увидите, — многозначительно сказала Ольга, — не гестапо их, а они гестапо захватили и вертят им, как хотят.

Все разом замолчали. На лице Миры еще блуждали отсветы непогашенной улыбки; Ольга что-то напряженно обдумывала, наморщив лоб и сведя дуги бровей; Миша выжидательно поглядывал то на одну, то на другую.

— Как доктор себя чувствует? — спросил он, чтобы хоть этой банальной фразой рассеять придавившую всех тишину. — Что он поделяет?

— Письмо пишет. Двадцать седьмую страницу уже начал, — ответила Мира и грустно улыбнулась, словно говорила о безнадежно больном. — Спал хорошо и котлетку сегодня скушал.

— Ого, обстоятельное, видно, письмо! Кому же? — спросил Миша.

— Гитлеру. Разъясняет ему, что русская интеллигенция — явление особого порядка. Целую диссертацию написал уже. Господи Боже мой, кого он только в нее не насовал! Начал, конечно, с Радищева, а потом и Герцен, и Лавров, и Скрябин, и Пирогов, и Левитан . . .

— Еврея-то Гитлеру в качестве столпа русской интеллигенции! — всплеснула руками Ольга. — Ну, додумался! Хорошо, что это письмо до Гитлера, вероятно, не дойдет.

— Конечно, не дойдет. Но переводить его мне придется, иначе обида, упреки, укоры, даже слезы . . . Вы не представляете себе, Ольга Алексеевна, как это больно . . . слезы эти . . . беспомощные, старческие и ребяческие вместе . . . Ах, как больно! — сжала ладонями виски Мира.

— Ну, об этом потом. А теперь, прежде всего, о вашем положении, об извлечении вас из мышеловки, в которую вы попали, Мира. Ведь возвращение Миши очень многое изменяет. Теперь это сделать гораздо проще. По-моему . . .

— Ничего не меняет. Ничего не облегчает, — прервала Ольгу Мира, — скорее наоборот — усложняет.

— Да ведь Миша . . . — рванулась к ней Ольга.

— Ни Миша, ни вы, ни Всеволод Сергеевич, никто мне не поможет.

— Почему?

— Потому что, хоть я и в мышеловке, да не мышка! Не хочу быть ею и не буду! Потому что я сама, одна, своими силами и только ими должна из этой мышеловки выскочить. Сама завязла в болоте по своему безволию, по своей собственной стадности, так сама и должна выкарабкаться. Своею силой, своею волей . . . Сама, сама, сама! — выкрикнула, притопнув ногой, Мира.

Ольга пристально взгляделась в девушку и спросила каким-то глубинным, трудным голосом:

— Сама?

— Только сама, только . . . — таким же голосом, сурово, словно врагу, ответила ей Мира.

Миша ничего не понимал в этих отрывистых фразах, но, не спуская глаз, смотрел на Миру. Ее слова шли мимо него. Он даже не пытался уяснить их себе. Лицо Миры, весь строй ее тела, ее движения, ее интонации говорили ему больше. Перед ним стояла снова иная Мира, не избалованная, кокетливая докторская дочка в голубенькой шубке, не пришибленная в столкновении с прубой жизнью сирота, закрывшая шубку старым платком, а глаза серой завесой покорности и безразли-

чия, но та, что прятала за этой завесой свое подлинное лицо, та, что скрывалась, подавляла самое себя, а теперь вырвалась, как весенняя половодная речка, стряхнувшая с себя оковы зимнего льда.

— Всеволод Сергеевич дома? Можно его к окну попросить на два слова? — донеслось с улицы.

— Нет его, но вот-вот придет, — отозвалась Ольга. — Да вы входите, Петр Антонович, у нас неожиданный, но очень радостный гость.

— Я не один. С Палачом к вам можно? Кошки нет?

— Можно, можно. Я ее вместе с котятами на чердак перетащила.

## ГЛАВА 8

В приоткрытую дверь просунулась лобастая голова матерого волка. Волк, не входя в комнату, внимательно осмотрел умными глазами всех в ней находившихся и потянул носом, ловя их запахи.

— Ну, стал на дороге! Иди вперед, — подтолкнул его сзади Степанов, — здесь у нас с тобой врагов нет. Знаете, — продолжал он, войдя и целуя руку Ольге, — я не подаю ему твердых, заученных команд, как это принято, а говорю как человеку, простыми словами и, представьте, он все понимает! Здравствуйте, Мирочка, давно вас не видел, а уж вас-то, — обнял он Мишку свободной рукой, другой он держал толстую цепь собаки, — вас-то и видеть не чаял. Совсем молодцом стал, — оплядел он Мишку опытным взглядом старого военного, — только прямой держаться надо, собраннее, а не мешковатить, как нобранец...

— Какой у тебя замечательный ошейник, Палач! Где только такой достать удалось? — трепала обеими руками уши собаки Ольга. — Бронзовый! И даже с выгравированной надписью!.. Теперь ты франт, псина! Только вот имя у тебя гадкое... Почему вы не переимените его, Петр Антонович?

— Нельзя. Под ним собака значится в аттестате и реестре питомника НКВД. Да и к чему? Очень подходящее имя: у него все замашки профессионального палача, вернее, палача по призванию.

— Вы думаете, что он на самом деле был вытренирован для этой цели?

— Не думаю, а знаю из того же реестра. Там вся его родословная и весь его послужной список помещены. Кроме того, свирепостью он намного превосходил всех остальных собак питомника. Понятно: мать — немецкая овчарка, а отец — настоящий сибирский волк. Ведь немцы, забрав его, ничего не могли с ним поделать. Одного зондерфюрера он чуть до смерти не зарыл. Потому только мне его и отдали, а не отправили в Германию, как других собак.

— А к вам разом пошел? — спросила Мира.

— Шинель, — потряс плечом Степанов, — запах русского сукна был ему знаком, близок, а немецкая древесина чужда и враждебна. Вот почему он и пошел ко мне.

— Нет, не согласна я с таким механическим объяснением, — возразила Ольга, — я уверена, что и у собак есть свой сложный психический мир: симпатия, любовь, обоснованная чем-то ненависть — чув-

ства, душевные чувства, а не только материалистические рефлексы. Вот видите, — с торжеством указала она на голову Палача, дружески и доверчиво положенную ей на колени, — почему это? Ведь на мне нет шинели.

— Напрашиваетесь на комплимент о вашей неотразимой преле-сти, — засмеялся Степанов, — но я вам его не преподнесу, а просто поставлю знак вопроса. Не знаю и угадать не могу, почему у него к вам, к одной только вам, такое доверие и дружба.

— Должно быть, родство душ, — засмеялась теперь и Ольга, — я ведь в душе тоже палач. Многим, очень многим без колебания сама головы порубила бы. Да и запах русского шинельного сукна мне мил и близок, так же как и ему.

Давившийся сдержанным смехом Миша не выдержал, прыснул и закатился вырвавшимся на волю хохотом.

— С чего это вы, голубчик? — удивленно спросил его Степанов.

— Ох, не могу! — задыхался Миша. — Мне представилось сейчас, как Ольга Алексеевна вон тем маленьким зазубренным колунчиком, что в углу стоит, Сталину голову рубит... И все мимо, мимо попадает... А Сталин...

— Это я-то мимо? — взорвалась негодованием Ольга. — Ах, вы невежа, чурбан неотесанный! Вы знаете, что этим самым колунчиком я все дрова рублю! Я, я, а не Всевка-лодырь! Вчера кувшин Тамары в мелкие щепки раскрошила, а он, как железный! Дубовый, должно быть... А кроме того, катается и из-под удара выскальзывает. Вот вам и мимо.

— Да что вы мне все загадки загадываете? — подавил смех Миша. — Какой еще кувшин? Какой Тамары?

— Таких загадок у нас более чем достаточно. Понимаете, здесь совсем другое положение, чем у нас было. Мы здесь на немецком снабжении, а дров нам не дают, заматывают русские учреждения, через которых снабжаемся. Так вот мы потихоньку разворовываем реквизиит и декорации местного театра. Мне вчера попался кувшин, с которым Тамара из «Демона» к реке Арагве идет... Он из дерева выточен. Крепкий же, дьявол! А я все-таки разрубила, вот! — победно закинула голову Ольга. — А Сталину голову отрубить мне все равно, что раз плюнуть.

— Берегись, Сталин! — в тон ей крикнул Степанов.

— Ну, мне пора, — встала Мира, — не провожайте меня, Миша. Не нужно, чтобы нас вместе видели. И к нам больше не приходите. А когда попадете снова в город, пошлите ко мне Галку. Они ведь рядом с нами живут. Встретимся здесь или у них.

Мира закуталась серым платком и, покивав всем головой, не прощаясь за руку, вышла. Из-за двери было слышно, как стучали по лесенке крыльца ее непомерные мужские галоши.

— Ну, вот, теперь самое время, — уселся поудобнее на стуле Миша, — разгадывайте мне ваши загадки. Прежде всего главную: почему партийцы здесь в такой силе?

— Потому что, — размеренно и ясно, округляя каждую фразу, начал Степанов, — этот город был занят немцами без боя за него, в результате глубокого окружения. Вся партийная головка не успела

бежать и осталась на месте. Сначала ушли в подполье, но потом, приглядевшись к немцам, осмелели до наглости. Поддерживая и вытягивая друг друга, они захватили все командные должности и в городе и в прилегающих районах. Таким образом, они не только управляют жизнью всего края, но частично и самими немцами.

— А те чего смотрят?

— Не только смотрят, а протезируют им, говорят: «Ничего, ничего, если они были коммунистами. У нас тоже при веймарском правительстве было очень много коммунистов, а теперь все они стали добрыми немцами, а многие даже активными нацистами. Так будет и у вас».

— Немцам легче работать с партийцами, чем с беспартийными. У них административные навыки, нахрап и беспринципность, а подобрать аппарат управления из беспартийных, найти туда честных и дельных, настоящих людей немцам не под силу. Вот они и пошли по линии наименьшего сопротивления ради собственного удобства, — вставила Ольга.

— Не только ради удобства, Ольга Алексеевна, — обернулся к ней Степанов, — но и по другим, более глубоким причинам.

— Каким? — спросил напряженно слушающий Миша.

— Во-первых, в силу того, что нацизм и коммунизм при огромном различии в их программах все-таки два сапога — пара. Внутренняя психологическая близость.

Во-вторых, потому, что здесь гражданское управление и власть находятся в руках розенберговских чиновников — гольдфазанов, как называют их в армии, где их расценивают как «немцев третьего разряда». Первый разряд — в армии, второй разряд в промышленности, а третий — в гольдфазанах, которых ловким и гибким нашим партийцам водить за нос совсем не трудно.

Наконец, третье и самое главное . . . —

Степанов сделал короткую паузу и потом медленно и чеканно произнес:

— Потому что немцы боятся всего подлинно русского и самих русских . . . Настоящих русских людей.

— Вот это верно, — вкочил со стула Миша. — Я это тоже не раз уже замечал. Только сам себе не верил. Думал, что это национально-квасное самообольщение.

— А вы этого кваса не бойтесь, — хитровато подмигнул Степанов, — хороший квасок, ипрისტый и с изюминкой.

## ГЛАВА 9

— Хоть одна радость за целый день, — крикнул с порога вошедший Брянцев. — Миша! Здравствуйте, дорогой! Откуда вы?

Мишка вскочил, рванулся обнять вошедшего, но тут же застыдил-ся, покраснел и лишь изо всех сил потряс протянутую ему руку. Вслед за Брянцевым молча вошел, как всегда бесстрашный, Котов и улыбнулся Мише как будто только из вежливости, так же молча поздоровался с остальными и сел в углу.

— Ну, рассказывайте, дорогой мой, все ваши приключения. Вижу, что вы теперь в казачьей охранной сотне? Значит, приключений у вас было немало.

— Ох, избавьте, Всеволод Сергеевич, — замахал обеими руками Миша, — я уж три раза сегодня рассказывал. Больше не могу, да и из головы все выскочило. Лучше вы мне расскажите о редакции, о всех наших, кто — где, кто остался, кто в дороге затерялся... Ведь я же ничего еще не знаю, первый раз только попал в город, а то все в колхозах или в лесах...

— Ну, это без водки сделать трудно, — вяло и неохотно ответил Брянцев, — кстати, дай мне поесть, Оля... Ну, и водки, конечно... для встречи... — словно извиняясь, добавил он.

— Нехорошо это, Всевка, — покачала головой Ольга, — водка, водка и водка. Каждый день водка. Разве вот только по случаю приезда такого гостя...

— Я и говорю: ради встречи.

— Знаете, Миша, никогда он пьяницей не был прежде. Ну, пил водку, как все люди, но потребности в ней у него никогда не было, а теперь буквально спивается. Явно спиваешься, — повернулась Ольга к Брянцеву, — каждый день, каждый день, и не рюмкой, не стопкой, а стаканом... Так ведь, Всевошка? И теперь ведь тебе стакан поставить?

— Конечно. Я не курица и не казарейка.

Все как-то неловко, принужденно замолчали, стараясь делать вид, что не заметили слов Ольги. Она тоже молча расставила на столе тарелки и стопки, принесла толсто нарезанной немецкой колбасы и еще каких-то, тоже немецких, консервов.

— За радость нашей встречи, — чокнулся со стопкой Миши своим стаканом Брянцев и, не дожидаясь других, жадно выпил его большими глотками.

— Устал я... Ничего... Сейчас все пройдет, — вздохнул он всей грудью. — Сейчас... Тогда расскажу.

— Плохо дело... — грустно покачала головой Ольга. — Что там у вас сегодня? Опять гадость какая-нибудь? Выкладывай уж разом, — мятко и нежно, словно мать ребенка, обняла она за голову мужа. — Выплюнь дрянь эту — легче станет.

— Хуже и быть не может, — откинулся на спинку стула Брянцев, — к блату, к доносам, к интригам и прочим результатам советского воспитания теперь еще воровство прибавилось.

— Ну, это не так уж страшно, — спокойно отозвался Степанов. — Везде и всюду у нас воруют. Иначе не прожить.

— Нет, и страшно и отвратительно, Петр Антонович. Не то, что воруют, а как воруют и кто ворует. Вот что страшно. У нас обнаружилось систематически организованное раскрадывание получаемых от немцев продуктов питания. Прямо какой-то трест воровства. Воруют сами раздатчики и сплоченная вокруг них группа. Поймите же, поймите, ведь это русские офицеры, — надрывно выкрикнул Брянцев, — и у кого они воруют? У своих же товарищей, у своих братьев, таких же военнопленных, как и они! Мерзость! Мерзость! — содрогнулся он грудью и плечами, торопливо налил себе второй стакан и, лишь выпив

его, вспомнил о гостях; неловко улыбаясь, извинился и налил им. — Тошно и гнусно. Тяжело это. Перед немцами стыдно.

— Послужили бы вы в полиции, так не то еще увидали бы, — равнодушно махнул рукой Степанов, — и перед немцами нам нечего стесняться. Думаєте, они-то «святые»? Не хуже нашего таскают, что могут и где могут.

— И здесь немец замешан, зондерфюрер Онэ. Он покрывал всю эту гадость и получал соответствующее вознаграждение в масляной валюте. Впрочем, немец он липовый — эмигрант 1920 года из обрусевших немцев. Тоже почти что русский . . .

— Ну уж нет! Не позорь его именем русский народ, — вспыхнула Ольга. — Корни всех этих мерзостей к нему тянутся. Ведь вся эта шпана им же подобрана. Понимаете, Миша . . .

— Ничего не понимаю и не смогу понять, пока вы будете по ключкам рвать и какие-то лоскуты мне давать, — замотал головой Миша. — Расскажите связно, толково, последовательно, что у вас тут произошло и что происходит . . . Кто-нибудь один расскажите. Так лучше будет.

— Ну, это, пожалуй, я лучше всех сделаю. Всеволод Сергеевич и Ольга Алексеевна вносят слишком много темперамента, а наше дело привычное. Я вас во все и посвящу, — вызвался Степанов.

— Слушаю. Теперь я весь внимание, как писали в старых романах.

— Так вот, мы все приехали сюда можно сказать «на готовое». Вся русская администрация города и края была уже организована и укомплектована по плану какого-то — имени его пока не назовем — единого центра. Укомплектована главным образом бывшими партийцами и всецело подчиненными им ответработниками, создана, так сказать, круговая порука для них, а для нас, прибывших — глухая стена. Я, например, был назначен и до сих пор состою на должности базарного смотрителя, скандальных баб дисциплинирую, а прибывшие со мной рядовые полицаи совсем на службу не приняты.

— Потому что вся здешняя полиция сплошные уголовники, — встала не выдержавшая запрета Ольга.

— Так или почти что так, — хладнокровно подтвердил Степанов, — но с издательством дело обстояло сложнее. Своих специалистов у местных не было, а насовать кой-кого в редакцию . . .

— Даже в четыре редакции, — поправил Степанова Брянцев, — теперь ведь у нас три газеты и толстый журнал выходят . . .

— . . . было нельзя, — продолжал начатую фразу Степанов. — Такого старого газетного воробья, как доктор Шольте, на мякине не проведешь. Нужно было найти другой путь, другой метод . . .

— И его нашли! — снова ворвалась в плавную речь Степанова Ольгунка. — Омоложение пропаганды выдумали!

— Не перебивайте! — цыкнул на нее напряженно слушающий Миша.

— Правильно: откуда-то был выброшен лозунг омоложения, немцы его подхватили и тотчас же в лагеря военнопленных была послана бригада вербовщиков с зондерфюрером Онэ во главе.

— А от редакции кто поехал?

— Вольский и очаровательная Женичка Зерцалова . . .

— Здорово! — хлопнул себя по колену Миша. — Умнее и выдумать нельзя!

— Да, умно. Вольский далеко еще не изжил в себе пропитавшей его советской закваски, а у Зерцаловой в голове не только царя, но и самого задрипанного президентика не имеется, — сказал Брянцев.

— Ну и на вербовали! — дергала Мишу за рукав Ольга. — Все, кто угодно, есть — только литераторов и газетчиков нет. Зато и бухгалтеря, и аспиранты, и инженеры, и студенты — все налицо. Даже один какой-то не то геолог, не то географ, а на самом деле просто очковтиратель имеется.

— Вы понимаете, как все это получилось? — спросил Мишу Степанов.

— Нет. Очень уж все странно и нелепо.

— А вместе с тем чрезвычайно просто. В лагерях десятки тысяч серых обезличенных людей. Масса. Найти в ней нужных труднее, чем отыскать иголку в копне сена. Вербовщикам пришлось набирать это «омоложение» по рекомендации лагерной русской администрации, а в ней первую скрипку играли те же партийцы. Ну, и подсунули тех, кто им подходил, — подчеркнул Степанов.

— Ну, и что же изо всего этого получилось? — спросил Миша.

— Теперь уж я расскажу, — отспранил Степанова Брянцев. — Чорт знает что получилось, говоря коротко. Редакция и вся пропаганда в целом (у нас ведь теперь еще кадр устных докладчиков имеется) насквозь провоняли советчиной. Самыми тухлыми ее запахами: блатом, интригантством, очковтирательством, доносами . . . Особенно доносами. Вся эта шагия только ими и занята. На нас, на «стариков» пишут. Это еще понятно, дорогу к руководству себе расчищают. Но тишут и друг на друга и даже на совсем нам посторонних, вроде своих квартирных хозяев. Доктор Шольте только очки протирает. Может быть, они на самом деле тускнеют от чтения всей этой литературы. Но еще хуже то, что наши, соприкасаясь с ними, разлагаются: на Жене теперь это уже явно заметно, Вольский тоже начал вилить, ведет какую-то свою линию . . .

— Ну а кто же работает? Кто проворачивает все эти издания?

— Те же и те же, — подал, наконец, голос не сказавший до этого ни одного слова Котов. — Мы с Всеволодом Сергеевичем, ну еще парочка из ростовской газеты, прибудившаяся к нам по дороге . . . Они кое-что делают, а эти, набранные, если и дадут что-либо в газеты, так обязательно рассказ с претензией на масштаб не ниже Михаила Шолохова, да еще такую желтизну закатыт, что глаза на лоб вылезают. Сегодня, например, один этот, как его, Струев, подал мне якобы его личные воспоминания о встрече в Бутырьках с попавшим туда же экс-палачом. Но не простым палачом, Боже избави от такой банальности, а с неким специалистом того же дела, вынырнувшим непосредственно из сказок Шехерезады. Он якобы ежедневно по утрам душил шелковым шнурком заготовленных НКВД красавиц, с которыми ночью услаждался Сталин . . . Каково?

— Да уж тут, кроме «каково», действительно ничего не скажешь!

— Я ему предложил, — продолжал Котов, — послать лучше этот



перл в редакцию берлинской русской газеты. Там-де дорожке заплатят, и, представьте, он это всерьез принял. Поблагодарил за совет и послал. Деспотули, вероятно, будет доволен, по крайней мере, посмеется вволю.

— Тяжелое впечатление создают все ваши рассказы. Получается так, что в городе и в области оперирует подпольный советский центр, — сказал Миша.

— Не только оперирует, но и руководит всею общественной жизнью края и его экономикой, — мрачно добавил Брянцев. — Вы слышали лишь ничтожную часть того, о чем мы могли бы вас осведомить, подтвердив каждое слово фактом. Да и не только мы. Вы потом, наверное, с Мирой поговорите? Знаете, кто она теперь?

— Я только что видел ее и знаю, что она корректор.

— Корректор-то корректор, а вместе с тем она тайный наблюдатель за нами, сотрудниками типографии и редакции, иначе говоря — сексотка.

— Чушь! Никогда этому не поверю! — вскочил Миша.

— Она сама вам это подтвердит, — горько улыбнувшись, продолжал Брянцев. — И Луштин, Таска ваш, много вам порассказать сможет.

— Нет, совершенно невозможно, чтобы Мира стала сексоткой, — отчаянно твердил Миша, и заходил по комнате. — Не верю, не верю!

— Всевка, ты грубый мужлан с твоею всегдашней прямолинейностью, — сверкнула глазами на мужа Ольга. — Нужно было толком ему все это разъяснить, а не рубить так, сплеча. Слушайте, Миша, — обняла она юношу за плечи и, не поспевая, как-то вприпрыжку, заходила с ним рядом. — Всеволод не так вам все сказал. Ничего прятящего Миру нет, наоборот, пожалеть ее надо, помочь... Понимаете, дознались, что она была в комсомоле. Это дочь ее домохозяйки дозналась, вернее сама Мира ей по наивности сболтнула. Ну и налегли, навалились на нее, да еще во время болезни ее матери. Мира растерялась и согласилась выполнять их задания, а потом сама нам об этом сказала и теперь доносит им то, что мы ей продиктуем. Она очень рискует при этом, конечно. Вот и судите сами, есть в этом что-нибудь плохое, позорное? Конечно, нет.

А ты разом: сексотка, — напустилась Ольга на мужа, — дурак ты! Чуть не убил малого! Нужно быть чутким и осторожным с людьми, Всеволод, а не ахать их обухом по башке.

— Простите... Это, правда, глупо у меня вышло, — смущенно бормотал Брянцев. — Простите, Миша...

— Ничего, обошлось все, — глубоко вздохнул тот. — А то меня, как кулем пришибло. Чуть паралич сердца не сделался. Но, господа, я не понимаю вас: вы скулите, жалуетесь, ноете, а сами пассивны, ничего против этой банды не предпринимаете и ждете, чтобы кто-нибудь за вас это сделал.

— Что бы мы ни предпринимали, все будет бесполезно и бесплодно, а следовательно и предпринимать бессцельно. Мы здесь бессильны. Расскажи ему о случае с Шершукковым, Ольга. Ты лучше меня это сделаешь. К тому же я устал, — оперся подбородком на руки и прикрыл ладонями глаза Брянцев.

— Всеволод, конечно, неправ в своем глубочайшем пессимизме, —

страстно заговорила Ольга, — неправ и в своих выводах. Бороться надо, надо даже при самых малых шансах на успех. Но случай с Шершуковым очень характерен и интересен. Вот как это было.

Шершуков ведь сам был в партии, а может даже и в известных вам органах служил, во всяком случае с их методами хорошо знаком. Здепшнюю обстановку он уяснил себе разом. В это время с возобновлением работы типографии, которая до нашего приезда бездействовала, в породе появились печатные листовки советского содержания с призывами к восстанию, инструкциями диверсионерам и так далее... Их содержание, упомянутые в них факты показывали, что эти листовки печатаются здесь, а не перебрасываются к нам через линию фронта.

Шершуков решил действовать самостоятельно...

— Так и надо было ожидать, — кивнул головой Миша, — он человек действия.

— Исследовав печать листовок, он по некоторым сбитым буквам установил шрифт, кассу и наборщика, работавшего за нею...

— Прямо Шерлок Холмс! — с восхищением воскликнул Миша. — Молодец! Такой прыти я от него даже не ожидал.

— Теперь вы меня не перебивайте! — хлопнула его по руке Ольга. — Дальше он стал следить за этим наборщиком и его приятелями, нащупалихний склад готовой продукции на свалке макулатуры. Наконец, прямо с полчиным, тепленькими, за набором листовки двух из них захватил, тут же сам их арестовал и под конвоем нашей же типографской охраны отправил к немцам.

— Вот молодчина! Вот молодчина! — повторял во время ее рассказа Миша. — А вы говорите, Всеволод Сергеевич, что людей у нас нет. Есть! Вот они! Такого прямо хоть бургомистром назначай, он с любой работой справится.

— Он-то справится, а вы слушайте дальше, — мрачно отвечал ему Брянец.

— Ну? Что было? — вопросительно повернулся Миша к Ольге.

— Холостой выстрел — вот что дальше было. Сначала Шершукову благодарность, даже орден этот нелепый — подсолнух на зеленой ленточке прислали, потом арестантов отвезли куда-то, а теперь мы узнаем, что они, как миленькие, разгуливают по Коростеню и даже на каких-то ответственных должностях работают...

Вот вам и «дальше». Это всё.

— Нет, не все еще, — снова выглянул из-за своей завесы молчания Котов. — Теперь под Шершукова ведется самый ожесточенный подкоп, и если бы не защита доктора Шольте, то он был бы уже снят, а может быть, и похуже что-нибудь получилось.

— Не страшны ему эти подкопы, — спокойно улыбаясь, отмахнулся Миша, — он сумеет за себя постоять.

— Это так со стороны вам кажется, а говорится «плетью обуха не перешибешь», — сказал Котов.

— Не совсем правильно... Смотря какой обух и какую плетью бить. Середка вот своею плетью ложе винтовки с первого удара в щепу разбивает, чем приводит в дикий восторг всех немцев.

— С одного удара? — переспросил с большим интересом Степа-

нов. — Это крепко! Я так не смогу... А вообще в прежнее время по казачеству нагайками большие фокусы делали.

— Значит, надо найти или самим создать такую плетть, которой мы могли бы перешибить придавивший вас обух, — решительно заявил Миша.

— Нет такой плети и негде нам ее взять, — безнадежно процедил сквозь зубы Брянцев.

— Есть! Должна найтись!

— Нет!

— Есть! — стукнул кулаком по столу Миша.

— Есть, — сдержанно, но уверенно подтвердил Степанов. — Только вот Всеволод Сергеевич не хочет ее в руки взять.

— Почему? — спросил разом и Брянцева и Степанова Миша.

— По интеллигентскому чистоплюйству, — не скрывая некоторого пренебрежения, ответил последний, — в силу неких пережитков, отмерших теперь этических представлений и традиций. Так ведь? — обратился он к не поднимавшему головы с ладоней Брянцеву.

— Не не хочу, а не могу, — ответил тот.

— Вот! Слышали, молодой? Я разъясню вам этот патологический случай какого-то морального аппендицита.

В нашем городе, — начал обычным размеренным тоном Степанов, — размещен штаб крупной армейской группы, действующей в западном направлении. При нем две комендатуры: ортскомендатура и фельдкомендатура. Распределение функций рабочих между ними я не знаю, но факт тот, что обе эти комендатуры находятся в непрерывной междуведомственной борьбе и, кажется, удельный вес фельдкомендатуры при штабе командующего очень значительный. Но дело в том, что фельдкомендант, граф Фалькенберг, доживает последние дни, буквально дни, может быть, даже часы. У него рак желудка. Это честный, благородный офицер старой, еще кайзеровской школы. В его комендатуре атмосфера совершенно иная, и туда советчики не проникли.

— Ну так к нему и обратиться, — сказал Миша.

— Именно туда, — подтвердил и Степанов. — Но беда в том, что граф Фалькенберг завален всевозможными письменными и словесными доносами, большая часть которых оказывалась и оказывается враньем. Поэтому он не придает теперь им никакого значения и даже не рассматривает их. Теперь мы подошли к самой сути, — обернулся Степанов к Брянцеву и подчеркнуто, с аффектацией, произнес: — единственный человек, которого граф Фалькенберг выслушает и которому он поверит, это Всеволод Сергеевич. Почему, спрашиваете вы? Потому, что при встрече в Керчи во время вашего пропагандного турне они произвели друг на друга очень, очень хорошее впечатление. Кстати, и вами, молодой, граф тогда был очень заинтересован...

— Ну, так зачем же стало дело? — метнулся Миша к Брянцеву, потянул его за оба плеча и оторвал от глаз прикрывавшие их ладони. — Идите! Изложите! Откройте ему глаза!

— Я — русский, и делать доносы немцу на русских я не могу, — поднялся со стула бледный, как смерть, Брянцев.

## ГЛАВА 10

Миша просыпался всегда разом, целиком, всем организмом. Полудремотной истомы, постепенного перехода от сна к бодрствованию, о котором ему случалось читать в старинных романах, он понять не мог.

«Как же так? — думал он. — Проснулся — значит проснулся, очнулся, а спит — значит спит. Какое же это может быть промежуточное состояние? Выдумка!»

Так и теперь. Открыв глаза, он разом ощутил жизнь всего своего тела, услышал биение сердца, пульсацию крови, почувствовал готовность мускулов к напряжению и действию.

Солнце еще не всходило. Тяжелого, давящего чувства, с которым он засыпал вчера, придя в солдатенхайм от Брянцевых, как не бывало. Наоборот, Миша ясно ощущал, как струи бодрой свежей радости вместе с кровью переливались по его жилам.

«Откуда взялась эта радость? — думал Миша, перебирая в мутной еще со сна памяти все слышанное и виденное им накануне. — Ведь ничего радостного не было: тяжелая политическая обстановка, несомненное преобладание враждебных сил, улагодный пессимизм Брянцева и, главное, двойственность его мышления, парализующая волю к действию — все это более, чем скверно. Ведь это потеря той небольшой площади, твердой почвы, на которую взгромоздились и, шатаясь и балансируя на ней, все же зголяли интеллигенты, подобные Всеволоду Сергеевичу. Взобраться взобрались, но не устояли . . . А ведь они лучшие! Они нужны . . . Так что же дало, принесло эту радость?»

Миша потянулся под жидким немецким одеялом, с хрустом расправил плечи и вдруг, без каких-либо логических построений, понял:

«Мира! Она! Только она! Одна она своим появлением, самим фактом возвращения в мою жизнь, своим пребыванием здесь, в осязаемой, реальной близости одарила этой радостью бытия, веры в себя, в свои силы, одарила завтрашним днем, как в детстве суббота — воскресеньем».

— Мира! Только она! — громко, во весь голос чуть не выкрикнул Миша и, выскочив из-под одеяла, босиком подбежал к окну: — Рано еще! Но не ложиться же снова? Все равно не засну. А они пусть еще подрыхнут, — окинул он взглядом лежащие на койках, укрытые с головами одеялами и шинелями фигуры. — Пусть дрыхнут. Спешить некуда.

Не надевая куртки и не застегивая ворота серой фланелевой рубашки, Миша вышел во двор. Стоявшие у конюязи лошади, услышав человека, подняли опущенные головы и затупотали, переминаясь с ноги на ногу. Миша спустился с крыльца и, широко разводя выброшенными от плеч руками, сделал несколько глубоких выдыханий. Не потому, что этого требовали правила утренней зарядки, а потому, что хотелось глубже и полнее глотнуть набухшего парами весны воздуха.

«Вот она, пришла все-таки весна, а с нею и радость!»

За забором, на соседнем дворе, закричали разом два петуха. Они тоже горланили по-весеннему, радостно, задорно.

— Ку-ка-ре-ку! — ответил им Миша, придавив губы свернутой в

трубку ладонью, и так удачно ответил, что на соседних дворах отозвался еще десяток петухов.

— Должно быть я крепко выругался на курячем языке! — засмеялся Миша. — Ишь как все разом загалдели! На доброе слово никогда бы так дружно не откликнулись . . .

От коновязи донеслось тихое, ласковое ржание.

— Узнала? — снова засмеялся Миша. — Учужала?

Он подошел к своей уже сбросившей зимнюю шерсть кобылке и огладил ее шелковистую шею и щеки, прочесал пятерней сбившуюся челку и расправил гриву. Кобылка помотала головой, потом потянулась к его лицу и дыхла в него мягким влажным паром.

— Хлебца хочешь? Придется до дому подождать, — чмокнул губами Миша, выражая этим свое сочувствие ей и сожаление. Потом, повинаясь какому-то мгновенно возникшему влечению, потерял губами о нежный, трепещущий храп лошади и чмокнул ее меж ноздрей. — Мира, милая . . . — прошептал он и встряхнул головой, словно что-то отгоняя от нее. — Ну, дошел до точки! Все смешалось. Должно быть весна так действует. Однако, и вытвандалась же, — осмотрел он лошадь, — и шерсти под грязью не видно, как броня. Танк, а не кобыла. . . Давайте, барышня, приводиться в порядок!

Продолжая смеяться, Миша вынул из седельной кобуры добротные немецкие щетку и скребницу, оттер ладонью несколько крупных пятен присохшей грязи и, широко размахнувшись рукой, прохватил щеткой по шее и плечу лошади.

— Ш-ш-ш-ш-ш . . . Ш-ш-ш-ш-ш . . . — пела щетка.

— Хр-хр . . . — вторила ей скребница.

Ритм размеренных взмахов втягивал в себя Мишу, как танец.

— Раз-два! . . . Ш-ш-ш-ш . . . Хр . . . — подсчитывал он взмахи руки и снова радовался, сливаясь с ними.

— Туда-сюда! Туда-сюда!

Из дверей общежития, зевая во весь рот, вышел голый по пояс немец с мохнатым полотенцем через плечо и голубою мыльницей в руке. Он не спеша осмотрелся, удовлетворенно кивнул головой и широко улыбнулся Мише.

— Морген!

— Гут! Зер гут морген! Прехтиге морген! — усердно закивал в ответ тот, мобилизуя все известные ему, подходящие к его настроению слова. — Вундербар морген! Фрюлинг, зонне . . .\*) — Ну, если немцы встают, то и наших будить пора. Эй, братва! — застучал он в стекло окна. — Вставай! Время!

— Эс ист шон цайт\*\*), — одобрил немец, растирая холодной водой грудь и плечи.

Русские вывалились из дверей все разом, комком, с хохотом подталкивая под бока не очухавшегося еще от сна, раздиравшего рот в зевоте Маштакова. После всех, в одиночку, вышел Чудненко. Он усиленно растирал себе юбейми руками левый, сильно припухший глаз.

\*) Хорошо! Очень хорошо утро! Великолепно утро! Удивительно утро! Весна, солнце . . . (нем.)

\*\*) Уже время. (нем.)

Ребята перемигнулись и хихикнули. Чудненко подошел к умывальнику, намочил платок в холодной струе и приложил его к глазу.

— Не понимаю, как меня чорт угораздил вчера о дверь стукнуться, — нарочито громко произнес он, — вот об этот косяк... Не хотел света включать, будить вас...

— Это тебе за то, что от компании отбился, с нами в кино не пошел. А картина была какая — на все сто!

— Я в проигрыше не остался, — хвастливо повел плечами, не отнимая платка от глаза, Чудненко, — с такой барышней познакомился, что на все сто двадцать!

— Поднимай на все двести. Поверим. Ейная квалификация и отсюда видна, — с полной серьезностью отозвался старик Гастельников.

— Как это так? — заносчиво выпрямился Чудненко и даже платок от глаза отнял. — Что ты под этим подразумеваешь?

— А сияние, — спокойно и деловито ответил старик.

— Какое сияние?

— Которое от того места идет, куда она тебя поцеловала... Так и светит, так и играет на все цвета... Прямо, как радуга.

— Дурак, старый чорт! — злобно отплюнулся Чудненко. — Говорю ж тебе, что это об косяк.

— Ну, а я про что? — лукаво ухмыльнулся костоправ. — И я про тот же косяк. Про него же. У него, сынок, кулачищи прямо как свинчатки!

## ГЛАВА 11

Наскоро позавтракав в солдатенхайме стаканом ячменного кофе с тонким ломтиком хлеба, казаки двинулись в обратный путь. День города уже начался и шел по заведенному порядку: волна рабочих и производственников схлынула, по улицам торопливо трусилы озабоченные учреждения, домохозяйки с самодельными сумками и сетчатými авоськами пробегали, перекликались меж собой, стайки ребят-школьников, от хлебных ларьков, извиваясь как змеи, тянулись очереди. Все, как обычно. Сегодня, как вчера. Та же ленивая перебранка в очередях, те же пыльные окна магазинов, такие же, как вчера, комки смятой бумаги на тротуарах. Если бы немецких солдат не попадалось на улицах, так войны совсем не было бы заметно. Советские будни.

— Скука, — зевнул до боли в скулах Миша, — ну их всех к чорту! Выбраться бы отсюда поскорее. Рысью, марш! — скомандовал он.

Но как только последние подслеповатые домишки пригородной слободы остались позади, разом повеселело. Бывают дни, когда календарь неожиданно делает резкий прыжок. Вчера хоть и трело солнце, хоть и бурели ошметки зачерствелого льдистой кромкой снега, все же была еще зима. Она гмирала, агонизировала, но еще валялась грязною ветошью по обочинам очнувшейся от морозной спячки дороги. А сегодня и эта дорога и вся земля отряхнулась, как вылезшая из воды собака, перемигнулась с заплясавшими по лужам солнечными зайчиками и запела, засвистала, зажужжала разноголосицей каких-то Бог весть откуда налетевших птичек, жуков, жужелиц...

— Ишь ты, смотри, — указал нагайкой Гастельников на сбегавшийся к дороге мелкий осинник, — вчера весь бурый был, а сегодня зелень его прошибла. За одну ночку лист почку распер. Вот она жизнь что значит — сила!

— Так и в человечестве бывает, — отозвался Горбылев, — иной раз за один момент человек весь полностью переоборудуется.

— Это ты, собственно, к чему? — спросил Гастельников.

— А к тому, что мы вот сейчас с красноармейцами воюем, с советскими партизанами тоже. И мы бьем и они нас бьют... А кто они и кто мы сами есть — того ни они, ни мы не знаем.

— Как это не знаем? Раз за Йоську стоят — значит сталинские холуи, коммунисты.

— Вот такие коммунисты все равно, как эти деревья. Вчера бурые были, а ныне зеленые стали. Нет, ты погоди говорить, а сначала дай почкам в человеке лопнуть, росток свой обозначить, тогда и решай, кто он есть.

Из-за укрытого табунчиком молодых корявых сосенок поворота дороги выскочила легкая военная автомашина.

— Все наше командование катит, — разом узнал Миша сидевших в ней зондерфюрера и Середу, — по какой же надобности? Интересно... А ясно, что в город.

Поравнявшись с разъездом, машина застопорила.

— Ну, как ездилось? — не здороваясь, спросил Середа.

— Радости мало. А впрочем все в порядке: пленных сдали, расписку взяли.

— А какой тебе еще радости надо?

— Неуютно там что-то... И в городе и в самой комендатуре, — поморщился Миша. — Чужие все... Какие-то враждебные...

— Ты что ж, думал к теще на именины едешь? Мы и отсюда чужинину эту видим. Даже и в самый текущий момент. Сейчас вот оба мы вызваны, — ткнул локтем зондерфюрера Середа, — а зачем? Ясно понятно, не за награждением. Этого ожидать не приходится.

— По собственному впечатлению от приема в ортскомендатуре могу только подтвердить твои предположения. В особенности переводчика там опасайся. Вредный.

— Нам он ни к чему. Зондерфюрер, конечно, сам говорить будет, ну, а я за себя, что до меня касается, и без переводчика постою. Однако, прощевай. Нам стоять не приходится. А кстати, почему у тебя, командир разъезда, передового дозора не выслано?

— На какого он чорта?

— На такого, какой нас, километров за пять отсюда, из двух автоматов обстрелял. В низинке... Знаешь? Так ты дозор выставь обязательно.

— Ну, пока...

## «Только всего — жизнь!..»

### 1. Сын вернулся

Вот и дом! Аллан остановился у двери. За дверью мать ждет его. Они уже говорили по телефону сегодня утром. Но она не знает, *каким* возвращается ее сын. Вспомнился госпиталь, слова врача, его очки, серые тени на плохо выбритых щеках и вопрос: «Сколько вам лет?» Ответ: «Двадцать семь». Пауза. «Тридцать семь было бы лучше... Но вы можете жить где-нибудь в горах, где много солнца, сухой воздух и можете даже поправиться».

Вот этого мать не знает, не знает, что «лучше тридцать семь» и что в горах можно жить и «даже поправиться». Не знает мать и о другом, но о нем и не должна знать. Относительно же отъезда в горы предстоит сказать. А о том, другом — никогда.

Аллан позвонил. Услышал, как мать бежала к двери, дверь распахнулась. Оба стояли молча. Два года не переступишь сразу.

— Алл, ты вернулся! — мать ухватилась за плечи сына, глядя в его лицо, целуя и запинаясь. — Кончился... этот ужас! Мальчик милый... ты — дома... — Его щеки были мокры от материнских слез.

— Ну, как ты, мамсик? Дай мне на тебя взглянуть. И рассказывай скорей, как жилось.

«Пусть говорит! Только бы не расспрашивала!» думал Аллан. Не мог он говорить о двух годах на фронте! Есть вещи, о которых не говорят с теми, кто их не пережил.

— Мальчик мой, рад, что вернулся? Или уже отвык от дома?

— Еще бы не рад! Глупости спрашиваешь, мамсик. Дай мне осмотреться... Все знакомо. Вижу, ты не пожалела своих силенок: всё блестит. Неужели и цветы в мою честь? Красота!

Мать не сводила глаз с сына и нервно жевала вставными челюстями, чтобы не заплакать.

Потом были подарки, вопросы, новости и еще подарки, и еще вопросы. Слезы высохли, волнения улеглись. Аллан был рад. Так было легче. Скорее бы загнать жизнь в колено. Мать пошла в кухню, где озабоченно топталась у плиты. Запах жареного и шипенье сковороды внесли нечто обыденное, бытовое. Но и оставшись один, с горой подар-



ков, цветами, с начищенным серебром в буфете, Аллан больно чувствовал фальшь праздника. Войдя в ванную помыться, избегал смотреть в зеркало. Не хотелось встречаться с самим собой.

— Алл, ты готов? Можно подавать? — спрашивала из кухни мать. — Нет, нет, не помогай. Сегодня ты — гость. Садись. — Мать раскраснелась у плиты. Мать улыбалась. Кушанье тоже было праздничное.

— Как-то там кормили вас? Пооди, всё консервы! Возьми еще ножку. А вот зеленый горошек, твой любимый.

Задребезжал телефон.

— Это, должно быть, Бетти! — воскликнула мать восторженно. — Мы приглашены к ним на обед сегодня вечером.

Аллан встал и потянулся за трубкой. Мать деликатно вышла на кухню, с понимающей улыбкой на лице.

Аллан не знал, что сказать Бетти. О чем спросить? Хорошо, что заговорила она первая. Отвечать легче.

— ... Разумеется. Нет, Бетти, нет, ничуть ... Не знаю почему ... просто показалось ... уверен. Сегодня вечером? В шесть часов. Хорошо. Не по телефону ... До вечера!

Он облегченно повесил трубку. Мать улыбаясь принесла горячий кофе и яблочный пирог. Хотя девицы теперь и не были такими, какими матерям желалось их видеть, но всё же Бетти была прекрасная пара. Главное же, с детства она и Аллан были вместе. В такую любовь можно верить.

Бетти подбежала к зеркалу: подчеркнуть ли еще ресницы? Или довольно? Может быть, губы сделать ярче? Нет, ярче невозможно ... Звонок! Она прислушалась. Да, прислуга открывает дверь. Бетти бросилась в прихожую. Она не видела лица Аллана. Она целовала его губами, которые нельзя было сделать ярче. Целуя, она чувствовала, как изменилось, осунулось его лицо. Она взглянула: цвет кожи стал темнее, нос выдался. Аллан молчал. Целоваться дольше было невозможно при родителях. Приходили гости. Очаровательные девицы обнимали Аллана. За ними — пожилые дамы, с подпертыми высоко бюстами, оплывшими подбородками и неправдоподобно ровными и белыми зубами в растекающихся дряблых губах; за толстыми тянулись тощие, сутуловатые, с запудренными морщинами и жилистыми руками, позванивающими связками браслетов. Коренастые джентльмены, с тулитанными лицами, крепко пожимали ему руку, и сухие старички хлопали по плечу.

После обеда и вина были танцы. Аллан близко держал Бетти в фокстропе, касаясь рукой обнаженной теплой спины. Шелк ее платья скользил по его ногам; визжали скрипки под зигзагами смычка и крихтели саксофоны. Влажное счастье светилось на личике Бетти ... Но Бетти была часть «парада», которого он не мог «принять» ... и не он один. То, о чем «вернувшиеся» не могли говорить, но чего не могли и забыть, легло между ними и прошлым. Сквозь это несказанное и незабытое нельзя было срывать заново порванную жизнь.

Аллан знал, что завтра он скажет матери о том, что ему нужно жить в горах и там «спастись» от прежнего. Напрасно пытаться вернуться к тому, что было. Но кто знает, может быть найдется новое, другое, неизвестное ему?..

И вот, на следующее утро, за стаканом апельсинового сока перед кофе, Аллан сказал:

— Мамсик, я еще не сообщил тебе, что мне предстоит уехать из Нью-Йорка в горы, из-за климата. У меня с легкими неладно.

Услышав эти слова, мать уставилась в рот сына, точно ей мало было услышать, но требовалось и *увидеть* эти жуткие слова. В комнате стало тихо. Была сказана правда. Праздник кончился.

— Ты не беспокойся. Как видишь, я не так уж болен; но мои легкие нуждаются в сухом воздухе и солнце. Скажем, где-нибудь на Западе, в пустыне, я могу жить и поправиться, так что это лишь временный отъезд...

— Почему ж ты не сказал сразу? — спросила мать с тяжелым упреком. Аллан не ответил. Она и не ждала ответа. — Зачем скрывал? — повторила она, точно кукушка, спрашивающая безответный лес. Она молча встала и принесла из кухни горячие румяные булочки. Сама была землисто-бледная.

— Это в госпитале сказали? — спросила она.

— Да.

— Хорошие ли там доктора? Верно, завалены работой. Поди, кое-как осматривают. Ты должен пойти к нашему доктору Катберту. Он знает твой организм. Ты что же чувствуешь?

— Да ничего особенного, иногда тяжесть, дышать тяжело, температура слегка поднимается. Знаю, что сухой воздух и солнце меня исцелят. Вернусь домой здоровым. Мамсик, не надо делать из этого драму.

— Я тоже уверена... — поторопилась поддержать надежду мать. — Знаю по примеру Вильяма Маккарти: у него оба легких были затронуты. Уехал в Новую Мексику, не помню сейчас, как местечко называется, над Санта Фэ, прожил там год и вернулся, — ну, просто глазам не верили, так хорошо выглядел.

— Вот видишь, огорчаться нечего. Так и я сделаю, уеду в горы, может быть в это камое местечко над Санта Фэ и вернусь через год.

— Конечно. Ну, пей кофе, а то остынет. — Мать смахнула слезу и положила руки на плечи сыну. — Как доктор Катберт скажет, так и сделаем. Какой-нибудь год, и все зарубцуется.

Она прижала его голову к своему узорному бумазейному капоту. — Я верю в силу солнца больше, чем в лекарства. Жизнь в сухом климате делает свое дело, и ты забудешь, что был болен. Вопрос только времени.

Она говорила так, точно заговаривала судьбу. Аллан не слушал слов. Прижавшись ухом к материнскому халату, он слушал глухой бой сердца в старой пруди.

В комнате было тихо. Стыл кофе. Канарейка замерла.

## 2. В горах

Шел пятый месяц, как Аллан Сандерс поселился один в горах, над Санта Фэ. Пожилая экономка миссис Валтон приходила каждое утро стряпать и убирать дом. И каждое утро она находила, что он выглядит «сегодня лучше, чем когда-либо». Мало-помалу Аллан и сам начал чувствовать, что ему лучше. Первые два месяца он подолгу лежал на широкой террасе. Она выходила на восток, где скалистая горная стена врезалась в утреннее небо. Утром горы были розовые, а в сумерках — лиловые. Потом стал гулять, нашел места, к которым тянуло возвращаться, плоский камень, на котором полюбил отдыхать. Долина лежала внизу. Вокруг был сухой запах пустыни. Пустыня оказалась красивой, с длинными добела раскаленными днями и темными холодными ночами; с запекшейся в долгое лето землей, но застланной покровом диких мелких цветочков весной. Это был новый мир. Прошлое осталось за высоким горным хребтом. Аллану нравились люди, что проходили мимо, в клетчатых рубашках, босые, с прямыми иссиня-чёрными волосами и густым оливковым загаром. Ему казалось, что эти люди живут жарко, цельно, так, как не дано ему жить. Сидя на нагретом камне, он думал о них и ему хотелось к ним. Думы эти грелись вместе с телом.

В полдень миссис Валтон приносила поднос, нагруженный вкусной едой, на террасу; он ел охотно, желая стать сильным. А затем лежал нагой, с закрытыми глазами — так ослепителен был полуденный свет. Ему казалось, что с закрытыми глазами он поглощает больше желанного тепла. Мозг замирал, заботы переставали мучить; притуплялись и таяли тяжкие картины в памяти, а с ними и обещания вернуться домой, когда позволит здоровье. Аллан знал, что здоровье возвращается к нему. Его грудь вбирала глубоко, и изнутри оздоровленного тела поднималась сила ровным мощным вздохом. Не болезнь уже держала его здесь, а новые ростки свежего сознания на здешней почве, где ничто не напоминало о прежнем... Был июнь, цвели пионы в саду. Чуть приоткрывая веки, он видел сквозь дрожащую бахрому ресниц их розовые и малиновые помпоны, пахнущие медом, и пчел, сосущих душистое сердце цветка.

Доктор велел ему пить козье молоко, и хотя козье молоко было противно, он пил его не только по настоянию врача, а больше потому, что приносила молоко мексиканская девушка, совершенно непохожая на девушек, которых он раньше знал. Ее отец был одним из тех загорелых босых мексиканцев, которых он видел только издали. Она же приходила сюда, с ней он говорил. Вначале дичившаяся, теперь она приручилась. О ней шла молва, что она «не в себе» (так говорила миссис Валтон). Но Аллан давно перестал обращать внимание на то, что болтают люди. Чем больше он говорил с ней, тем больше ему хотелось с ней сблизиться. Она была здешняя, выросла в этих горах, которые дарили ему новое чувство и силы, и опсюда, оглядываясь на прошлое, на тех, кого он там оставил, он видел их пораздо более «не в себе», чем эту девушку. Они были теми, кто сломал ему жизнь.

В один из жарких июньских вечеров, когда даже цветы, если до

их дотронуться, дышали теплом, Аллан застал Хуаниту сидящей на плоском камне, на котором он полюбил отдыхать. На ней было желтое платье. Сидела она, согнув спину, и казалась луной, всходящей над обрывом. Аллан тихо уселся рядом на теплый камень. Она не вздрогнула, лишь удивленно посмотрела.

— Давайте поговорим — сказал он, — мы ведь уже давно соседи. Вы мне приносите такое хорошее молоко, что я стал здоровым, и я считаю вас другом.

— Вы платите за молоко. Я приношу молоко и другим, — ответила Хуанита. Ее слова были куда резоннее того, что сказал Аллан. Он почувствовал, что попытка сближения сделана им неуклюже.

— Вы не хотите со мной поговорить, рассказать мне о себе?

— Я не знаю, о чем рассказывать вам, — пожалала она плечами. — Ничего интересного у меня нет. Все считают меня за глупую. Я и в школе была только четыре года. Не люблю учиться. А вы . . . — она не кончила фразы.

— Хотя я и учился дольше вас, но многие тоже думают, что я глупый. Учиться не всегда помогает. — Аллан улыбнулся, а Хуанита подозрительно посмотрела на него, точно хотела узнать, смеется он над ней или говорит правду.

— Почему вы сюда приехали? — спросила она.

— Потому что я был болен, и доктор велел мне жить в горах, где сухой воздух, и пить козье молоко. Теперь я поздоровел и живу здесь потому, что мне здесь нравится. Но нельзя быть всегда одному, иногда хочется поговорить. Вот мне и захотелось поговорить с вами, узнать о вашей жизни и вообще о жизни здесь, о людях, раз я остаюсь в этом месте. — Аллан пристально посмотрел на Хуаниту. — У вас есть семья?

— Нет, только отец. Мать умерла, когда я родилась. — Помолчав, она спросила: — Зачем так случается, что мать умирает, когда рождаются дети? Детям лучше живется с матерью. А у меня только отец. — Она снова умолкла.

— Отец хорош с вами? — спросил Аллан.

— Да, если не пьян. Пьяный он грубит. Но, конечно, я не очень хорошая дочь. Не такая, как у других. Это все говорят, и я сама знаю.

— Вы не любите своего дома?

— Любить в нем нечего. Дом плохой. Отец работает целый день. Я не умею сделать дом лучше и люблю уходить из него, но как ни плох, он все-таки свой, и если уйду надолго, тянет вернуться к отцу . . . родное любишь не знаю за что, просто потому что любит. Этого не скажешь словами . . . — она наморщила брови и опять пожалала плечами. — Видите, я не умею разговаривать, я почти всегда одна, а что думаю — это не слова. Ну, да это вам совсем неинтересно. Мужчины не говорят о таких вещах. А то, о чем они говорят, мне ни к чему.

— Это — чудно! — засмеялся Аллан.

— Что чудно?

— То, что вам ни к чему то, о чем говорят мужчины. Мне тоже ни к чему оно!

— Как так? — спросила Хуанита озадаченно и подозрительно.

— Это — длинная история, и рассказать ее ясно я тоже не умею. Но скажите, что, вы думаете, интересует мужчин?

— Война, — коротко и ясно ответила Хуанита. — А война для меня всё равно что не была. Она была так далеко, что я ее не почувствовала. Да и почти не знала. Парни отсюда были взяты на службу и вернулись такими же как были, только что в форме и нахальнее. А вы были на войне? В бою? — спросила она.

— Да, был. Но говорить об этом не хочу, — ответил Аллан, глядя в землю. «Как хорошо, думал он, что Хуаниту война не коснулась, и что она не хочет говорить о ней». Девушки в Нью-Йорке говорили о войне так много, хотя, в сущности, знали о ней так же мало, как Хуанита. За черной круглой головкой он видел светло-зеленое небо, ясное, тихое, как озеро. Не было нужды беречь правду.

Когда они вернулись к дому Аллана, уже смеркалось. Желтое платье Хуаниты стало белым. Они остановились у персикового дерева, и Аллан сорвал два спелых бархатистых, прохладных плода. Они их съели, пальцы стали липкими от сладкого сока. Прощаясь, Аллану хотелось коснуться Хуаниты, но он не сделал этого, потому что пальцы липли. Только сказал ей:

— Давайте пойдём опять прогулять завтра!

— Когда? Рано утром, до жары? — спросила она в ответ.

— Отлично, утром так утром. Придете вы сюда, или хотите встретиться у камня? — спросил Аллан.

— Лучше у камня. Я буду там в восемь часов. Прощайте! — Хуанита отошла на несколько шагов и вдруг вернулась. — А может быть лучше не приходить? Я говорю глупости и вы будете смеяться надо мной?

— Лучше прийти. Я никогда не буду смеяться над вами. Мне хорошо с вами. Если вы сейчас же не обещаете, что придёте завтра, я не дам вам уйти домой. — Аллан взял ее руку крепко в свою, ожидая ответа, и отпустил только после того, как она кивнула утвердительно, улыбаясь. Липкие от персикового сока пальцы с трудом оторвались от ее таких же липких пальцев.

Аллан сам удивлялся, чем Хуанита привлекала его, но сколько ни удивлялся, влечение было. Случилось, что целую неделю она не приходила. Молоко приносил отец. Аллан не спросил у него, почему, не зная, как с ним заговорить. Он ждал молча. Но когда Хуанита вернулась, он был так рад ей, что перестал удивляться своему влечению к ней, оно стало казаться совершенно естественным.

\*

После горячего лета настала горячая осень. В земле не осталось ни капли влаги. Плоды, спея, впитали все, что могли. Люди обливались потом, собирая их, а солнце высушивало и фрукты и пот на смуглых спинах. Почва, отдав все соки урожаю, обратилась в твердую коричневою пустыню — постель, с которой вставало и куда ложилось знойное солнце. Не было ни дождей, ни туманов, ни росы. Виноград висел под огненными листьями. Ничто так не утоляло жажды, как его лиловый сок... Отец Хуаниты делал вино. Вся деревушка делала ви-

но. Хмельной запах стоял в воздухе. В промадных деревянных чанах терпкая гуща раздавленных ягод лениво поднималась и бродила.

Миссис Валтон была яркой трезвенницей, и ей было неприятно, что капитан Сандерс купил бочку вина. Но больше чем вино, беспокоила ее Хуанита. Эта полудикая девчонка была постоянно с ним. Что за фантазия водиться с ней! Миссис Валтон не была старой девой и знала, что мужчины . . . — мужчины. Она не осудила бы капитана Сандерса, съезди он иной раз в Санта Фэ покутить и встряхнуться. Это было бы в порядке вещей и законов природы и для здоровья полезно. Достаточно он натерпелся на фронте и теперь, слава Богу, оправился. Но зачем нужно путаться с мексиканкой? Она ему не пара, ну, а он — не святой, девка молодая и по глупости может «попасться». Что тогда делать?! Ничего не могла миссис Валтон придумать, как оградить обоих. Могла только молчать. Но покой был потерян. Подозрения и тревога бродили в ней.

### 3. Доля любви

До вчерашнего вечера Хуанита была только около Аллана; вчера она стала частью его действительности. Не спрашивая, не отвечая, не обещая, он обнял ее, и она прильнула к нему . . . На рассвете, дойдя до избы ее отца, они остановились прощаясь. В предразсветной мгле, вплотную друг к другу, они выглядели как одно целое: ее плечо — ступень к его плечу. Они ни слова не произнесли, разойдясь. Хуанита пошла по сырой траве к двери, Аллан по пыльной дороге домой. Уже светало. Над горами сверкали зарницы. Аллан лег и заснул. Без Хуаниты он мог только спать; его жизнь была с ней . . . На столе лежало письмо от матери, в нем говорилось, что его ожидает «сюрприз».

На утро пришла телеграмма: «Приезжаем Санта Фэ 10.15 утра четверг. Бетти». Остановить было поздно, а допустить — ужасно. Аллан ходил взад и вперед по комнате. Лицо его осунулось. Прошлое встало у порога, ломаясь в настоящее. Ему хотелось сказать судьбе, что он заплатил хорошую цену ей, и что счета с прошлым кончены, что он по праву больного покинул Нью-Йорк и по праву человека искал и нашел другую жизнь . . . Бетти была только частью прошлого. Он целовал ее, вернувшись с фронта, не любя, просто потому, что они целовались еще в школе, потому что пили вино, потому что юноши целуют девушек. И хотя обычно юноши женятся на тех, кого целовали, болезнь освобождала его от дальнейшего. В его случае можно было целовать и уехать туда, куда велел доктор . . . Аллан почувствовал, что он всё еще болен. Выйдя в кухню, вернулся с бутылкой вина. Борьба с судьбой вызвала жажду. В вине пришла решимость.

Со вчерашней ночи он познал закон более сильный, чем правила общества, к которому он принадлежал там, по которым жила и Бетти, и ее мать, и его мать. Его новый закон стал живой силой. И хотя всякий мог сесть в поезд в Нью-Йорке, пересечь в Чикаго и завтра сойти с поезда в Санта Фэ, но не вторгнуться в его жизнь. Он будет на вокзале в 10.15 утра, но свою судьбу он отстоит.

Аллан решил ничего не говорить Хуаните. Зачем ей знать то, к чему она не была причастна, всю эту накипь псевдожизни. Он только

сказал миссис Валтон, что уезжает по неожиданному делу и она может отдохнуть два дня.

Ровно в десять Аллан был в Санта Фэ; проглотив чашку кофе на вокзале, вышел на платформу, когда уже приближался поезд. Вагоны ползли мимо, замедляя ход. В окнах стояли люди с чемоданами. Аллан искал глазами элегантную шляпу и хорошенькое лицо... Вот! Элегантная шляпа, а лицо... человеческое. Он перевел глаза на чемодан, на чужую даму, которая говорила с Бетти; но Бетти уже заметила его. На лице ее были две улыбки: одна — для чужой дамы, а вторая — для него. И вторая была — новая, такая, какую он не видел раньше. Губы Бетти были ярко напомажены, а улыбка — талая, мягкая. На лице — усталость; верно, от дороги... Взяв ее руку, он и сам улыбнулся мягко в ответ; решимость оттолкнуть ее таяла.

Зато мать не изменилась: тот же классический нос между толстыми щеками, налитой двойной подбородок, уходящий в кружевной воротник, короткое дыхание и полнейшее самодовольство.

— Алл, да вас узнать нельзя! Прямо индеец! — воскликнула она.

— Хорошо так загореть. Ты прекрасно выглядишь, — сказала Бетти радостно. — Посмотри на мои руки рядом с твоими. Какие-то хилые, безжизненные!

— Здесь солнце другое и жизнь другая, — ответил Аллан.

— Вот мы и приехали погреться на вашем солнце — вмешалась мать, — узнать секрет простой жизни, которая делает чудеса.

Аллан насторожился: «не думает ли она, что может войти в мой мир?» Он опять был готов защищать его. Но увидя, как Бетти раздраженно взглянула на мать, почувствовал, что трудно ему будет сказать ей всё, что сказать должен: не сегодня, так завтра. Лучше завтра. Ведь было ясно, что сегодня он не может не пригласить их провести ночь в его «убежище».

Час спустя они ехали по той же каменистой дороге, по которой он прибыл рано утром.

— Алл, да это же рай! — воскликнула Бетти, когда автомобиль завернул к его дому.

После осмотра дома и сада, стали распаковывать привезенную провизию. Аллан затопил плиту, Бетти надела передник миссис Валтон. Он был ей очень велик, и она выглядела в нем смешной и еще более хрупкой. Ее видимо забавляла игра в здешнюю хозяйку. Аллану было ужасно наблюдать за этим, зная наперед развязку этой забавы. Бетти нарвала цветов, накрыла стол. Они ели... Бетти улыбалась, любя, Аллан передавал тарелки, страдая, а миссис Уинслоу говорила, не умолкая. После обеда она сказала:

— Вижу, что вам хочется бросить меня и отправиться на прогулку в эти сказочные горы. Я же посижу на террасе и полюбуюсь. Обожаю природу. Что за краски!

Миссис Уинслоу была подвержена художественным впечатлениям на полный желудок.

— Ну, сиди, но не предавайся излишнему романтизму, а то вдруг

перед тобой предстанет рыцарь с красной розой и умчит тебя на коне. — Бетти поцеловала мать.

— Allons donc!\*) — обратилась она к Аллану. — Как твой французский в этой дичи? Забыл?

— Почти.

Миссис Уинслоу поглядела им вслед и грузно опустилась в плетеное кресло. Ей было о чем подумать. Аллан произвел на нее странное впечатление. Он держал себя вовсе не как жених, к которому приехала невеста после долгой разлуки. «И что за фантазия возникла у Бетти вдруг сорваться и помчаться сюда, без всякого побуждения со стороны Аллана! Бетти, такая гордая, такая очаровательная? Зачем? . . .»

Некоторое время они говорили о пустяках, потом оба умолкли.

— Бетти, мне надо сказать тебе важное, — начал Аллан.

— И мне тоже надо сказать тебе очень важное.

— Может быть, лучше если ты услышишь прежде мое, потому что все, все у меня изменилось за это время.

— И у меня тоже все изменилось, — как эхо повторила Бетти.

Аллан знал, что Хуанита могла появиться в любой момент. Надо было говорить скорее.

— Бетти, я не могу жениться на тебе. Ты гораздо привлекательнее, ты милее мне чем раньше, но я . . .

— Я не приехала женить тебя на себе, Алл. Не думай так обо мне. Ведь я же сказала, что изменилась . . . Я совсем иная.

Глаза у Бетти были теперь не голубые, а почти черные, и рот дрожал. Аллан смотрел на нее и видел, что он сделал. Она стояла лицом к солнцу, и ее веки опустились. Она долго стояла молча, потом сделала шаг к нему и, подняв на него темные расширенные глаза, сказала голосом почти резким, почти отчаянным:

— Я не хочу выходить замуж . . . Я хочу любить, сама любить больше, чем быть любимой. Я не спрашиваю тебя ни о чем . . . Если я «мила» тебе, возьми то, что во мне «мило» тебе. Оно — твое. Я люблю тебя. — Ее веки упали. Она стояла молча. Аллан тоже молчал.

— Если ты ничего не хочешь от меня, ну что ж! Тогда ничего не надо . . . — Это она сказала совсем тихо, невнятно, не поднимая глаз. А когда подняла их, они были опять голубые. Бетти попробовала улыбнуться, но не смогла. Солнце светило ярко и жгло ее белокурые волосы. Какая чужая была она этому знойному солнцу. Бетти не выглядела больше напряженной. Ее движения стали шаткими. Она отдала все, с чем пришла, отдала напрасно . . . расплескала на этих чужих скалах.

— Сядем на минутку, — попросила она и села на землю. Аллан послушно опустился рядом, готовый, после того как ранил ее, сделать все, что бы она ни сказала. Ему хотелось, чтобы она поняла, что он тоже страдал. Но что это изменило бы? Бетти знала одно: она ему не нужна. Остальное значило очень мало. Ее спина устало осутилась, глаза поблекли.

\*) Итак, пойдём! (франц.)



— Бетти! — сказал Аллан нежно.

Она взволнованно взглянула на него. В глазах вспыхнули и страх, и надежда, они опять потемнели. Может быть, она ждала, что он все-таки скажет: — «Бетти, я люблю тебя». И это не было бы ложью. Но Аллан не мог сказать этого. Не потому, что он не любил, но потому, что люди не разрешают любви проявляться во всех ее возможностях. Человек не смел любить так, как чувствовал, он обязан был любить так, как любили другие, как велели любить «мудрые» законы бытия. А ведь если бы Бетти могла знать, как он чувствовал, она не была бы так несчастна. Но она слышала лишь его молчание, жестокое молчание. Она сидела тихо, тихо...

«Откуда возьмет она силы вернуться к матери? В Санта Фе? В Нью-Йорк? — думал Аллан. — Что будет с этой любовью, которую она привезла и разбила здесь?..»

Две слезы упали на сухую пыльную землю. Эта земля не видала дождя с мая. Еще две. Бетти сделала примаасу:

— У-ф-ф! Как жжет! — Она прижала пальцами веки. — Сантименты с крашенными ресницами не уживаются... — она попробовала засмеяться. Но смех не был похож на смех.

«Бедная Бетти, как ужасно должно быть тебе!» — думал словами Аллан.

— Зачем ты красишь ресницы? — сказал он вслух. — Ты стала такой красивой, что никаких прикрас тебе не нужно. — Ему хотелось сказать ей приятное, утешающее боль.

— Так ли уж красива, если... — Бетти не кончила. Только острожно вытерла глаза и встала. Аллан тоже встал и обнял ее, взял из ее рук батистовый платочек и любовно вытер ее длинные ресницы. Поцеловать ее было «нельзя», но вытереть слезы закон не запрещал. Две другие набежали, и он был рад, что можно вытереть и их. Бетти не считала, сколько уронила слез, но каждую Аллан ласково вытер. Не пропустил ни одной. Краска больше не жгла, она давно была смыта. Горе осталось, но стало чуточку легче.

\*

Миссис Уинслоу встретила их на террасе.

— Нагулялись? Алл, без вас сюда приходила какая-то мексиканка, спрашивала где вы? Смешная такая, вдруг спросила меня, зачем я здесь? Я сказала, что я ваша гостья, а то боялась, она примет меня за воровку. Вы знаете, кто это?

Как только миссис Уинслоу заговорила про Хуаниту, все другое потеряло значение. Он должен был взяться рукой за перила террасы, чтобы не убежать за ней... «А эта дуреха спрашивает, знаю ли я кто эта девушка? Моя жизнь!» хотелось закричать ему. Вместо этого он засмеялся и не мог остановиться. Боже мой, как он смеялся! Ну, не комедия ли? Спросить его, знает ли он, кто эта девушка! А она его жизнь. Только всего — жизнь!

— Алл, в чем дело? Я не понимаю, что здесь смешного? — спросила миссис Уинслоу.

Аллан знал, что ведет себя как сумасшедший. Но это происходило

потому, что весь мир был таков. Вдруг он очнулся и взглянул на Бетти. Ведь он совсем забыл про нее: он увидел, что она всё поняла и тоже судорожно держалась за перила.

\*

Вечером Аллан шагал по железнодорожной платформе возле медленно катящегося вагона, который увозил миссис Уинслоу и Бетти обратно в Нью-Йорк. Сперва поезд полз еле-еле, потом скорей и скорее. Аллан стал отставать. Бетти высунулась из окна, и Аллан побежал за ним. Она махала рукой, но все отдалялась и отдалялась. Он знал, что больше никогда не увидит ее. «Бетти-Бетти-Бетти», постукивало больно ее имя, точно рассыпались бусы с оборванной нити, как ее вчерашние слезы с прустных длинных ресниц... От поезда остался только черный квадратик вдали и маленький красный огонек.

\*

Аллан вернулся через сутки. Желтая луна повисла над горами. Она глядела на террасу, где стояло пустое плетеное кресло, в котором недавно сидела миссис Уинслоу, на белые перила, за которые схватилась Бетти, когда все поняла. Теперь Бетти была далеко... Он видел ее тонкое личико, ярко накрашенные, горько сомкнутые губы. Когда луна поднялась высоко и из желтой превратилась в белую, тонкая колонна террасы, освещенная ею, показалась Аллану печальным покинутым Пьеро.

Хуанита не могла понять, кто были эти женщины, которых Аллан привез к себе в дом и почему он не сказал ничего ей о их приезде? Она сперва увидела только миссис Уинслоу. Хуаните она не понравилась, и ей захотелось поскорее найти Аллана и узнать от него, что всё это значит. Она побежала в ущелье, к камню, на котором они обычно отдыхали, но Аллан и Бетти в это время уже свернули на тропинку, возвращаясь домой. Она осталась ждать на камне. Но ждать, мучительно тревожась. От быстрой ходьбы в гору Хуанита чувствовала резкую боль в левом боку. Она должна была лечь на землю. Вечер уже тускнел. Дома ее ждал отец и сердился, что ужин не готов.

«Пусть сердится!» сказала она громко. Отец уже не значил для нее того, что раньше. Не дождавшись пока боль затихнет, Хуанита вскочила и побежала к дому Аллана, не задумываясь над тем, что она скажет, когда увидит его с чужими людьми. Обычно очень застенчивая, сейчас она ни перед чем не останавливалась: только бы найти Аллана!

Хуанита приближалась уже к его калитке, когда блеснули автомобильные фары. Толстая дама, которую она уже видела, и стройная молодая девушка садились в машину. Она пустилась бежать к ним, но ноги немели, а боль резала так, что влажный лоб похолодел. Хуанита закричала, закричала громко: «Аллан!», но в это время заработал мотор, и он не услышал ее крика. До нее же донесся скрежет переводчи-

мой скорости. Слабый свет сменился ярким, слепящим, и автомобиль быстро выкатился на большую дорогу . . .

Аллан уехал с двумя чужими женщинами. Остался темный дом и лочерневшие кусты в спустившейся ночи . . . Ни одной слезы не было в ее глазах. Она горела желанием что-то делать, бежать, но лишь стояла неподвижно в этой муке.

Когда Хуанита была ребенком, она почти всегда бывала одна. Матери у нее не было, она не могла, как другие дети, побежать со своим горем и уткнуться в теплые родные колени. Ее никто не утешал, не целовал и не наказывал. Она редко плакала от обид или ушибов; чаще стояла одна, молча, как сейчас, и терпела, зная, что ничем себе нельзя помочь. Ей вспомнились монахини, в черных развевающихся на ходу одеждах и белых крахмальных покрывалах, точно приклеенных вокруг лица. Они пришли однажды к ней в избу и сказали ей, что она должна молиться, говорили тихо, вкрадчиво, что Бог любит сирот и хранит их. Она слушала, не смея не верить им, пока они были около нее. Она боялась их, боялась, что вдруг они отхлещут ее крепкими четками, намоченными на руку, если узнают, что она не молится. Но когда они ушли, она, стоя на пороге, подняла глаза к бесцветному, знойному небу, чтобы узнать, есть ли там Бог, добрый, любящий сирот. Но небо было горячее, как пустыня, пустое, равнодушное и более чужое, чем виноградник, горы, двор. Нет, там не было Бога, а здесь не было матери . . . Теперь она стояла перед темным пустым домом Аллана, перед черными цветами и ночью. Аллан уехал с другими, чужими женщинами. Кривокожая желтая луна прищурясь смотрела на дорогу. Где же был Бог, к которому могли бы идти скорбящие, где? . . . У Хуаниты не осталось сил. Дорога домой была крутая. Дома, она знала, обозленный отец . . . но она пошла домой, все равно. Раз не было Бога, к которому можно было бы прийти в горе, лучше вернуться к отцу. Он будет бранить, может быть, побьет даже, но это лучше, чем стоять одной в пустой черной ночи.

На другое утро она принялась за чистку дома, чтобы не соблазниться желанием пойти искать и ждать Аллана. Но пока она мыла полы, стирала и чистила, ей пришло в голову, что он мог вернуться, а женщины — уехать. Может быть, они вовсе не дурные и никакого зла ей не сделали . . . В полдень у нее был готов вкусный обед, и они с отцом хорошо поели. Хуанита напевала, перемывая посуду, а когда отец ушел на работу, она надела чистое платье, аккуратно причесала волосы и побежала к дому Аллана. Дом был пуст, как вчера, только ночь сменилась днем, и под палящим солнцем цветы стояли яркие. Железная калитка так накалилась, что Хуанита обожгла руку, взявшись за нее . . . Значит женщины принесли ей беду, значит они были злые. Как могла она думать иначе?! Алл не вернулся. Миссис Валтон тоже не было. Ее вероятно рассчитали . . . Дом останется пустым, цветы засохнут, их никто не будет поливать . . . А что же будет с ней? Умрет ли она, как цветы? Нет. Да и цветы не умрут. Это были жаркие, поздние цветы, привыкшие к засухе. Их листья не были сочными, а краски были огненные, корни глубокие . . . Хуанита росла одиноко в избе, в горах; сидела в темных углах со своими детскими горестями, сама смывала кровь и грязь с царапин и ушибов у колодца, после отчаянных драк с

соседними детьми, которые часто ее дразнили. Разъяренная, она каталась с ними в пыли, кусая и отбиваясь, как собака. И тогда, весной, когда она убежала от Аллана, испуганная его первой лаской, она лежала одна на камне долго-долго, трепетная, в блузке мокрой от слез, лежала, пока не стемнело и камень не стал холодным. Тогда она встала и в темноте поплелась домой, прижимая к бьющемуся сердцу сырую от слез ткань. Отец был дома, пьяный, проигравший в покер весь свой недельный заработок. Она не умерла, хотя никто ей не помог. А три дня тому назад, когда Алл губами раскрыл ее губы, и она почувствовала обнаженное прикосновение любви, страха и сладости, она не умерла от их силы. Почему бы она умерла теперь? Цветы в пустыне цветут без воды, как бы ни томила их жажда. Хуанита осталась в саду, одна, молча, вращая в свое отчаяние... Два ярких глаза блеснули за углом, автомобиль круто завернул в аллею и подкатил к дому. Хуанита притаилась за кустом. Хотелось от волнения закрыть глаза, но они не закрывались. Аллан вышел из автомобиля один. Она видела его темную фигуру на фоне ярко освещенной фарами белой двери гаража, видела как он откатил эту дверь и ввел машину внутрь. Потом он вошел в дом, зажег свет. Его тень двигалась в окнах.

Он вернулся! Он будет жить здесь опять. Она могла войти в дом в любой момент. Нет, она не могла. Она была счастлива здесь, стоя за кустом. Отсюда ей виднее свое счастье, чем если бы она была там, с ним. Она дождалась, пока он потушил свет. Тогда вышла из-за куста и пошла домой. Калитка, о которую она обожглась днем, стала уже холодной. Хуанита шла осторожно, боясь расплескать сердце, переполненное счастьем, которое она бережно несла.

#### 4. Нарушенный устав

Аллану не спалось. Он сел в постели, потому что лежать нельзя думать четко, а ему нужно было обдумать всё и понять самого себя: упрекал ли он себя за страданье Бетти? Но разве только Бетти страдала? Разве он виноват, что нашел радость и силы жить? И разве эта радость не кровоточила сейчас? Он почувствовал спазму в горле, рыданье... не свое. Это рыдала Бетти. И он увидел ее нервное, тонкое личико в слезах, прильнувшим к его груди. Она рыдала по его вине. Но ведь он поступил так, как обязан был поступить каждый мужчина, живущий по всеми признанным законам, когда молчал в ответ на Беттины слезы. Он знал, что молчать — жестоко. Но обмануть Хуаниту, разве не было жестокостью? Часы на комодке остановились (он не завел их, уезжая), и ночь стала немой.

Прохлада пахла тмином. И в этой полной тишине, один на один с совестью, он понял, что человек только отчасти — человек, и его человечность только отчасти человечесна. Всплыло то, о чем он решил молчать и пытался забыть, то, за что давали кресты и ленточки на грудь: за «не щадить». Он не хотел крестов и ленточек и отрезал от той жизни, где это неизбежно; он думал, что нашел новую, но и в новой был тот же устав. За головку Хуаниты на груди — плата была «не щадить» Бетти... Аллан вскочил с постели, щелкнул выключатель и, стоя в

ярком свете, сказал своему отражению в зеркале: — «Человеку не дано падать, но дано со-страдать. Это его удел». Он потушил свет и оцупью лег в темную постель. Спал тяжело и долго. А когда проснулся, у калитки стояла Хуанита, в белом платье. На ее лице не было ни тревоги, ни волнения, ни улыбки. Она просто пришла, точно прийти к нему было самым естественным для нее. Увидеть ее опять в своем саду, простой и спокойной, после мучительных этих дней, было благодатью. Он вышел к ней и сказал:

— Эти дни были очень тягостными. Больше я никогда не уеду от тебя. Я не хочу быть с другими людьми. Мы всегда будем вместе, мы иначе не можем. — Хуанита молча кивнула в согласие. — Пойдем! — Аллан взял ее обе руки, и оттого что взял их, острее почувствовал близость. — Выпьем кофе, а потом — в горы.

Когда они шли по твердой тропинке к сиреневым горам, он знал, что Хуанита — его, и он желал ее, как веками мужчины желали женщин в этих самых сиреневых горах, еще в пещерах. Но это не было «вполне» счастьем; «вполне» у человека ничего не бывает, с тех пор, как он добровольно покинул рай.

\*

Хуанита продолжала приносить козье молоко. Аллан платил за него, и она отдавала деньги отцу. С отцом, в избе, все было житейским у Хуаниты, но вне этого, все было совсем иным. Никакой связи между житейскими делами и близостью с Алланом для нее не существовало. А, между тем, Аллан знал, что их связь должна быть узаконена по-житейски, но не мог решиться и не знал, как сказать Хуаните об этом. Когда дни стали укорачиваться и похолодели, завывли ветры в ущельях, «дом» для них стал необходим. Аллан настоял на том, чтобы миссис Валтон приезжала позже и уезжала раньше в зимние месяцы, давая этим возможность Хуаните быть у него. И все-таки, это не было разрешением задачи. Но как объяснить Хуаните суть необходимого, он не знал. Откуда взять доводы за то, против чего он сам восстал? Как лишиться в Хуаните того, что составляло в ней для него живую ценность? Ведь обмен этой ценности на житейский устав, в котором оба не чувствовали потребности, могло только обесцветить их отношения, унести их свежесть... Перед ним опять вставал долг, жестокость которого он только что испытал. И долг заставил его, наконец, сказать:

— Хуанита, я должен поговорить с твоим отцом. Хватит нам обманывать его. Ты должна стать моей женой.

— Алл, ты с ума сошел! Ты не знаешь моего отца, ты не знаешь ничего о том, как люди здесь живут. Ты — чужой им. Я-то знаю, я здешняя. Но я выросла одна, без их призора, как умела и как хотела. Потому все здесь и думают, что я «не в себе», а я именно «в себе», но не «по-ихнему». Снаружи я — «ихняя», и с ними я — «по-ихнему». Но одна и с тобой, я — другая. Как и почему нам с тобой чудно вместе, я не знаю и сама не понимаю. А ты вдруг хочешь, чтобы отец понял! Надо тогда и чтобы миссис Валтон поняла. Но она, хотя и городская, и школу кончила, и много чего знает, правил разных... Только я думаю, что правила здесь ей не помогут. Не все правила — правильные. Вот в

церкви учат, что любить, как мы с тобой любим, — грех. А это не может быть грехом. Все равно что сказать: грех, что солнце встает и садится... Чувствуй и ты со мной, а не с ними.

Брови Хуаниты были как два расправленных крыла, и потемневшие глаза настаивали, чтобы он понял и чувствовал вместе с ней. А он знал, что должен настаивать на своем, хотя оно вовсе не было своим. Оба долго молчали.

— Мне пора идти. — Хуанита не обняла его, пошла к двери. Аллан вышел вместе с ней на двор. Холодный злой ветер дул из горного ущелья, и небо набухло беспорядочными тучами. В черных волосах Хуаниты и в ее взгляде была тоже грозная темнота. Она молча стояла перед Алланом, но ему передалось ее напряжение. Чувствовал он и то, что в любой момент она могла повернуть в свистящее холодное ущелье и унести туда свою любовь. Это было похоже на кошмар: чувствовать, что она может уйти и не знать, как удержать ее. Теплые, любовные слова, что они находили столько раз друг для друга, нельзя было выговорить после глупых лицемерных уговоров. А просто сдаться счастью, которого хотел он так же, как она, казалось нечестным. Мужская гордость и долг запрещали. Аллан стоял, костенея от холода и страха, что его счастье уйдет на глазах.

— Я лучше пойду, — сказала Хуанита. — Скоро стемнеет. — Но сказав, она еще постояла.

Аллан хотел выдержать характер, даже если бы это означало ее уход.

Хуанита молча повернулась и пошла.

— Хуанита! — крикнул Аллан. Она обернулась и взглянула на него. В ее глазах была любовь, много любви. Но поверх любви, над глазами, два черных крыла широко расчеркнутых бровей, а зади нее темный провал, вдоль которого летел, свистя, ветер и облака. Она уходила, чувствуя, что он дал ей уйти... Какое безумие! Она была уже за его оградой, уже поднималась по крутой тропинке к избе, где ее ждал отец. Это небо в тучах! Они свисали низко, волочились по горам. И туда ушла Хуанита холодным вечером, одна... Аллан стоял у ворот, под стражей тех законов, в которые он не верил. Ему казалось, что он ряженый, что он идиот.

Когда Хуанита почти скрылась из виду, Аллан хлопнул калиткой и зашагал навстречу холодному ветру, и ветер рвал с него изжитые, обманувшие, но все еще цепкие понятия. Когда он достиг избы, Хуанита уже была внутри. Он видел ее сквозь рваный дешевый тюль занавески. Отец ее во фланелевой клетчатой рубашке сидел босой у стола. У него был низкий лоб и такие же широко расставленные брови, только гуще, жестче. Они говорили на непонятном для Аллана языке. Как странно было слышать, что Хуанита говорит с кем-то другим, а он не может понять. Ему делалось все холоднее, но радостнее. Одну секунду он был готов войти и сказать отцу, что он хочет жениться на Хуаните. Но тут же отказался от этой мысли. Это было бы все той же старой комедией «благородного барина в жизни бедняка». Нет, он больше не хотел этой ерунды в своей жизни. Застывший от холода, но счастливый, он следил, как бродяга, из темноты за жизнью в освещенном окне. Видел, как Хуанита двигалась, жестикулировала, говорила с отцом.

Видел, как она поставила миску с супом на стол. Следил за тем, как она ела, точно это было чудом. Они ели много хлеба с супом, а потом вареное мясо из него, с густым красным соусом, и пили вино. Аллан с нежностью смотрел на кривые вилки и крошки хлеба на клеенке стола. Он был голоден, ему хотелось их мяса, хлеба и вина. Было приятно желать того, что было у Хуаниты, быть голодным, а не сытым баринном, влюбленным в дикарку. Вымыв посуду и обтерев тряпкой стол, Хуанита вышла из задней двери на двор выплеснуть грязную воду на холодную землю.

— Кто там? — услышал Аллан ее голос. Таз выпал из ее рук. Аллан схватил эти руки. Свет из окна падал на ее лицо. Он смотрел в это лицо, утоляя и голод, и жажду часов, что протекли, когда шел сюда и стоял под окном. Он дал ей увидеть и свое лицо, чтобы, без слов, она узнала, как он любил... Их лица и руки были ледяными на ветру. Высоко в горах шел снег из темных лиловых туч.

Когда отец, не понимая, куда пропала Хуанита, вышел во двор, на земле одиноко лежал лишь таз.

### 5. Она пошла к отцу

В апреле Хуанита уже не была стройной и не убегала впереди Аллана по крутой тропке в гору, как в тот первый апрель, когда он узнал ее. Тогда ее песни доносились издали, как пастуший рожок, а если он заговаривал с ней, она отвечала недоверчиво и торопилась уйти, и он смотрел ей вслед, ее белое платье казалось ему уплывающим в море корабликом в голубой сумеречной кисее надвигающейся ночи.

Теперь она никуда не рвалась. Она была здесь, с ним, и дом стал их домом. В этом году весна была поздняя. Утрами всё еще белел иней. Едва пробившиеся росточки в саду не поднимались, а прижимались к земле. И Хуанита не спешила утром выбираться из теплой постели. Она и раньше не была болтлива, точно не зная, что и как сказать, но теперь она стала молчаливой, озабоченная новой жизнью, которая не только окружила ее, но и набухала в ней.

Совершенно неожиданно для Аллана Хуанита однажды сказала ему: — Сегодня я хочу пойти к отцу.

— Пойдем вместе, — это было всё, что Аллан нашелся сказать в ответ.

— Нет, я хочу одна. Пойти вместе было бы не то... — Она помолчала и добавила: — Я могу только одна и я хочу сегодня.

— Хуанита, я боюсь, свиданье и разговоры с отцом взволнуют тебя. Тебе нельзя волноваться в твоём положении.

— Я знаю и не буду волноваться. Не беспокойся. Он будет мне рад, я знаю, что надо сказать. И сказать это я должна ему без тебя.

Аллану было очень беспокойно, но он чувствовал, что удерживать ее было бы насильем, и оно могло взволновать ее хуже, чем свиданье с отцом. Возможно, что она знала, как восстановить порванную связь и хотела этого. Аллан часто вспоминал тот день, когда отец пришел и велел Хуаните вернуться домой; но она отказалась. Как прозил он ей

по-испански! Как вздрогнула она, но твердо ответила, что останется здесь. В глазах ее был тот же гневный блеск, что в глазах отца. Они поразительно были похожи друг на друга в эту минуту, тот же профиль, те же жесткие прямые волосы и даже слова, что они поворили друг другу, непонятные Аллану, звучали похоже. Только лицо отца было в бороздах, и не хватало переднего зуба. Его клетчатая рубашка была разорвана на плече, а босые ноги, цвета глины, казались несоразмерно большими с его ростом. Он пришел этими ногами из своей темной, высоко на гору взобравшейся избы к дочери и, попусту растратив свой гнев, ушел обратно один, не уговорив, не запугав. Его большие глиняно-коричневые ноги, верно, устали, идя в гору обратно... Когда отец скрылся, ни Хуанита, ни Аллан не сказали друг другу ни слова. Аллан чувствовал себя игроком, выигравшим много денег и оставившим партнера без гроша. Ему было стыдно подойти к Хуаните. Он ушел в сад и долго смотрел на потемневшие горы, на вьющуюся крутую тропинку, по которой ушел отец на больших, усталых босых ногах. Ему казалось, он видел старика, стоящим на склоне, проклинаящим в темноте, с простертыми руками. Но это было всего лишь засохшее дерево...

Ни Хуанита, ни Аллан не видели его с тех пор. Они были счастливы, хотя знали, что отец несчастлив и одинок... Теперь Хуанита захотела пойти к нему и пошла. Аллан не спросил, когда она вернется. Он простился с ней у калитки и остался стоять, следя за ней. Ждал, что она обернется, заворачивая за угол, но она не обернулась. Тогда он вспомнил, что забыл спросить, когда ее ждать обратно, но было уже поздно. Хуанита ни разу не уходила от него за все эти месяцы. Остаться без нее было непривычно. День стоял ясный; сиреневый куст украшал южную стену букетом душистых крестиков; но дом был беззвучным, не живым. Аллан пошел пройтись. Он убеждал себя, что каждому мужчине необходимо время от времени оставаться наедине с самим собой. Он зашагал по тропинке, но не в ту сторону, что Хуанита. Шел быстро. На вершине он отдохнет. «Хуанита, верно, уже дошла до дома отца», подумал он, садясь на камень. «Что она скажет ему? И что скажет отец?» Опять вспомнился ясно, ясно день, когда отец пришел за дочерью, а она отказалась вернуться. Тогда Аллан был около нее, а сейчас она была одна с ним: отец и дочь, в темной избе... похожие друг на друга... та же кровь... Любовь, страсти, дружба проходят, изнашиваются, а черты лица, кровь в жилах остаются те же... Отец и дочь говорят сейчас на одном, родном языке, которого Аллан не знает. Между ними есть связь, которая для него закрыта. Хуанита ведь не захотела, чтобы он пошел с ней...

«Сколько времени она там пробудет? Может быть, отец прикажет ей остаться с ним? Может быть, попросит? Нет. Он не будет настаивать на этом теперь, узнав, что она готовится стать матерью». Тут Аллан ощутил близость и теплоту Хуаниты, увидел круглую черную головку в выемке белой подушки... Он встал с камня и пошел домой. «Вдруг она уже вернулась?» Он ускорила шаги. Но, приближаясь к дому, стал идти медленнее, теряя уверенность, что она уже там. «Нет, она не могла вернуться так скоро, ведь одной ходьбы туда почти час».



Но за этой мыслью притаилась другая: «Чем меньше надеяться, тем скорее сбудется желанье. Не надо надеяться вовсе... я не надеюсь. Я знаю, что ее дома нет и не может быть». Он взялся за ручку двери. Странное ощущение — точно холодная дверная ручка была и в его левом боку.

— Я знаю, дом пустой, — сказал он вслух. Дом был пуст. «Как тихо... Что же удивительного! Конечно, тихо, раз никого нет. Хорошо вернуться первому. В доме холодно. Надо затопить камин».

Аллан вышел в тихую пустую кухню за лучинками, потом принес несколько поленьев из сени и стал растапливать. На каминных часах было без двадцати минут четыре. «В четыре часа — самое раннее, что она может вернуться. Вероятно она и придет часа в четыре, с расчетом, чтобы успеть приготовить обед», пришло в голову. Огонь в камине потрескивал и нагревал комнату. Дом выглядел уютнее. Аллан искал, что бы еще сделать. Пошел в спальню, вспомнив, что надо было поправить штору, которая плохо поднималась. Мельком взглянул на часы. Было без семи минут четыре. Когда он вернулся к камину, до четырех оставалось только две минуты. В две минуты можно лишь досчитать до 120, если считать медленно. Тут Аллан засмеялся над своей собственной глупостью: «Кто сказал, что Хуанита придет в четыре?! У нее даже нет часов». Но он все-таки взглянул на дорогу, когда пробило четыре. Никого не было видно. Аллан вышел и дошел до калитки, — отсюда видна была дорога до поворота. Никого. Решил постоять — подышать свежим воздухом. И стоял до тех пор, пока не озяб. Тогда вернулся к камину. Он думал, глядя в огонь, где, казалось, вспыхивали и потрескивали его мысли: «А что если совсем не вернется? — Если отец убедил ее остаться с ним?» Но ему вспомнилось, как решительно она ответила отказом на его угрозы. «Но как похожа она была на отца. Она — его ребенок... его одного. Мать умерла при родах. Хуанита выросла на руках отца. Он завертывал ее в тряпки чужими закорючлыми руками, потом стирал эти тряпки, вешал на веревку сушиться на пустынном ветру; грел для нее молоко и беспокоился, хватит ли денег заплатить за него завтра. Он был очень беден тогда. Это было до того, как он получил большой виноградник от старшего брата»...

Аллан хотел бы не думать об этом сейчас, но картины проходили в его сознании. Он видел отца, уставшего после рабочего дня, бутылку кислого вина на столе, тамалес, а то лишь черствый хлеб. В корзинке, у печки, тучок из лоскутного одеяла со смешным круглым лицом, иногда спящим, а то наморщенным, с орущим беззубым ртом, полиловевшим от напряжения. Аллан видел, как отец брал на руки плачущего ребенка, татушкал его на пярзных заплатанных коленях, целуя нежное призматическое личико, с носиком величиною в пуговицу. Ребенок затихал. Улыбался мокрыми розовыми деснами... Хуанита была теперь там, сидела за тем же столом. Отец смотрел на нее, может быть, сердито, а, может быть, любовно, смотрел отечески на единственную дочь, которая ушла от него, а теперь пришла обратно. Отец был ей дорог, иначе не могло быть. Босые, большие ступни и рот, в котором не хватало переднего зуба, темная изба, кислое вино, чеснок, все это для

нее было — свое, родное... Как ни сильна была ее новая любовь, тяга кровных чувств могла оттеснить ее»...

Пробило половина шестого. Аллан смотрел в огонь. Красные и желтые фляжки его метались по бархатной закоптелой задней стенке камина. За его спиной была безмолвная комната, налево — пустая кухня, с холодной плитой, направо — пустая спальня. Воображение погасло, картины кончились. Он видел только циферблат, покорно слушая сухое, ровное тиканье. Часы бежали мерно вперед, вперед... Аллан знал, что они не остановятся из жалости. Жалости часы не знают... День кончился, настал вечер. Аллан пробовал считать бесконечное тиканье, но бросил. Считать стало незачем. Он продолжал смотреть на циферблат, уже не замечая движенья стрелок. Семь или восемь, не все ли равно?..

«Но раз я перестал надеяться, тут-то она и может прийти!» — вдруг встрепнулся он, и от своей догадки захохотал, такое он почувствовал счастье. В руках, в ногах, по спине побежало мурашками тепло, и комната проснулась... Она придет, может быть, она за углом. Он бросился к двери, распахнул ее. На дворе было холодно, темно, пусто... «Дурак! да ведь я же именно не перестал надеяться, потому-то ее и нет». Он услышал стон и понял, что это был его стон.

— Боже мой, мне и в голову не пришло, что так поздно! — сказала Хуанита, положив холодные руки на его плечи. — Бедняга, ведь ты же голодный. Прости, пожалуйста!

Аллан взял ее холодные дорогие руки в свои и, крепко держа их, ответил:

— Пустяки!..

## ЭПИЗОД

### РАССКАЗ

— Вы слышали? Застрелился!.. Юноша, русский юноша, говорят, красивый. Единственный сын...

Блондинка с локончиками и пунцовыми губками захлебывалась.

— Да почему же? Верно какая-нибудь романтическая история, теперь молодежь искушенная, я хорошо это знаю, — сказала другая, толстая и молодящаяся дама, как-то совсем некстати мечтательно улыбнувшись.

— Ну что ж что застрелился! — загудело низкое контральто. — О чем так волноваться, вы верно очень боитесь смерти, милая моя? И почему вы все такие несовременные? Почитайте газеты: каждый день люди вешаются, стреляются, убивают, теперь на это мало кто обращает внимание — привыкли и правильно. Так и надо. Прогресс. Ах, уж эта наша русская сентиментальность!

Все замолчали.

За чайным столом гости допивали чай. Хозяйка дома — именинница, в черном платье, с гладко причесанными черными волосами, сидела неподвижно, опустив голову и походила на статую.

— А все-таки скажите вы мне, — опять заговорила блондинка, обращаясь к имениннице, — что вы думаете, Вера Сергеевна, как понять такой поступок? Ведь это случилось этой ночью, ведь это событие, сенсация, все говорят об этом, и юноша — русский! Знаете ли вы эту семью?

— Да, — ответила она, — я была близка с его покойной матерью. Дамы ахнули и придвинулись к ней.

— Ну, рассказывайте!.. — произнесли они в один голос. Но Вера Сергеевна молчала.

— Что думаете вы?

— Я думаю, что это очень грустно и страшно, — сказала она.

В этот самый момент дверь распахнулась и в комнату ворвался человек с безумными глазами и трясущейся челюстью. Быстрым движением выхватив из кармана какой-то предмет, он нацелился:

— Всех убью, сволочи!

Раздалось два выстрела. Это произошло молниеносно. Одна пуля врезалась в стену, другая чуть задела плечо дамы с контральто, — она

вскрикнула, все кинулись к ней на помощь, а человек, уронив пистолет, бросился бежать.

— Кто это? Боже! Зовите полицию, скорей, скорее полицию! Надо поймать, посадить! Вера Сергеевна, что же вы молчите? Звоните же!

— Успокойтесь, ради Бога успокойтесь! — сказала не менее взволнованная хозяйка. — Поймать мы его все равно не успеем, а звонить в полицию я не буду, потому что это отец покончившего с собой молодого человека.

*12 февраля 1957 года*

«Милая Маша, после вчерашнего происшествия я совсем заболела, даже слегла в постель. Ты одна сможешь понять меня и то, что я переживаю. Приходи ко мне. Я не в силах справиться с наплывом своих мыслей и чувств и с той страшной тоской и тревогой, которые овладели мной. Мне больно, что чувство жалости не может восторжествовать над всем. Какой-то мрак, страх одиночества охватывают меня все больше и больше. Не есть ли это ощущение смерти? Молиться даже не могу, способна только повторять: «Спаси, Господи, дай сил». Знаешь, этот ужасный, трагический случай вскрыл назревший во мне нарыв, поставил точку над тем, что давно и незаметно менялось во мне, в моем отношении к окружающей жизни, быть может, даже к людям. Прежде, помнись мне, чуть ли не с детства, было у меня какое-то ощущение, чувство защищенности перед жизнью и людьми, мне казалось, что большое несчастье, отчаянье и были, как это ни странно покажется, той защищенностью, о которой я говорю, против нашей жизни и человека — стоит только их показать, предать их гласности — и все тотчас придут навстречу, прибегут спасать и спасут. Теперь я поняла, что это не так, что люди спокойно, с полным хладнокровием способны переступить через труп, и это отчаянье души, о котором я говорю, в нашей современности является лишь предметом развлечения, темой для разговоров, чуть ли не забавой, и что многие на такое отношение имеют право, да, имеют право, те многие, которые сами способны шутить со смертью.

Хорошо ли никогда ни перед чем не иметь страха?

Как ты думаешь?

Я тебя жду, целую.

Вера.»

«Приходила Маша, милая, добрая, и немного успокоила меня одним своим присутствием.

Я была в доме Петровых, говорила с консьержкой, она мне сообщила, что обезумевшего Алексея Алексеевича поймали на улице и свезли в психиатрическую лечебницу.

Глупый, плустрый мальчик! Как ты мог это сделать! Кто обидел тебя? Все проходит, и ты бы успокоился. Неужели ты не знал, что все проходит!.. Ты еще любил леденцы — и застрелился. — «Мама, — спрашивал ты ребенком, — почему люди умирают и как это бывает?» — и мама тебе рассказывала, что люди живут вечно, что жизнь

вечная у Бога, в раю. — «Я буду с тобой в раю, мама, и мы никогда не умрем».

«В палате для буйных, в смирительной рубашке, со связанными руками, на спине лежал Алексей Алексеевич. Он меня сразу узнал. Признаки безумия окончательно покинули его. Лицо было мокрое от слез. Слезы еще больше потекли при виде меня, и он не мог их вытереть платком; беспомощно всхлипывая и глотая их, он растерянно смотрел на меня. Я вынула из сумки свой платок и стала вытирать слезы, казалось, им не будет конца. Я стояла и молча вытирала дрожащее и неожиданно ставшее совсем маленьким и сморщенным лицо. Не обменявшись с ним ни одним словом, я ушла. Что можно было сказать ему в утешение? Я поняла, что мальчику было легче умереть, чем его отцу продолжать жить, что для Алексея Алексеевича жизнь была во сто крат мучительнее смерти, что ему можно было пожелать только смерти. Я вспомнила юное детское представление защиты против мира. Лучше не думать, лучше не думать!

А какие страшные люди окружают его и как ему должно быть страшно, впрочем нет, это не так, для него все по-другому, все иначе, он, быть может, даже совсем не видит их. В коридоре я остановила дежурную сестру и спросила, зачем больному связали руки, когда он совсем успокоился и никаких признаков буйства не проявляет:

— Так спокойнее, — отвечала она.

— Но ведь ему больно, он страдает, вы ведь наверно знаете вследствие какого страшного потрясения случился припадок?

— Это ничего не меняет. Вы ему родственница? — спросила она.

— Нет.

Удовлетворенная ответом, она, повернувшись ко мне спиной, стала разговаривать с другой посетительницей. По какой-то нелепой ассоциации мне вспомнилось: — «Всех убью, сволочи! . . .» и стало жутко. Я поторопилась домой.

Еще светло, четыре часа дня, воробьи щебечут за окном, оно открыто. Надо написать письмо, отправить посылку сестре в провинцию. В письменном ящике коробочка с фотографиями — я стала пересматривать их. Много хороших воспоминаний. Среди них снимок с семьи Петровых: вот сидит мальчик на коленях у матери, но уже большой, с милым и прустным лицом; отец глядит на него, чуть над ним наклонившись — и в этой позе мне показалось столько любви и нежности, что хотелось заплакать. Воробей чирикнул на окне. Кушать просит. Я встала, набросала крошки хлеба на подоконник и снова взяла в руки фотографию. За окном порхание крылышек и чириканье становились все громче и веселее».

«Получила извещение о смерти бедного Алексея Алексеевича. Он отказался от пищи и умер от голода — так мне сообщили. До последнего вздоха рук ему не развязали, я это узнала потом, но подробности о его кончине так и остались неизвестны. Страдал ли он перед смертью? Что говорил и говорил ли? Быть может, физическое страдание было для него наименьшим испытанием. Быть может, даже было утешением? — Царство ему небесное!»

«Сегодня мне приснился сон. Ко мне пришла покойница Надя: — «Где мой мальчик? — спросила она. — Я нигде не могу найти его. Вера, почему ты молчишь, ответь мне! Ты должна знать . . .» — Я сказала: — Он ушел к тебе, за тобой. — «Неправда, его здесь нет и нигде найти его я не могу. Какая мука, какая мука! Мой мальчик, мой любимый мальчик!» Я так и не сказала ей, что он застрелился, что-то мешало мне об этом говорить. И вдруг передо мной предстал весь ужас самоубийства и так ясно, как наяву не бывает. У самого моего лица, близко-близко блеснул револьвер черным лаком, у меня замерло сердце. Черный револьвер стал надо мной черным небом. Ползет на меня мрак, проникает в меня, сквозь глаза, уши, нос — я впитываю его, задыхаюсь, мрак вокруг, снаружи и внутри, только сердце мое мучительно бьется. Мрак и я, я и мрак. Больше ничего нет.

Человек погибает. Гибнет мир. Человек откололся от Бога, — а сил у него нет. Откуда их взять?

Завтра похороны».

# Из украинской современной поэзии

Игорь Качуровский

## Вместо предисловия

*Игорь Васильевич Качуровский — составитель и переводчик печатающихся ниже образцов современной украинской поэзии — известный украинский поэт и прозаик поколения Второй мировой войны. Его перу принадлежат следующие книги: «Над світлим джерелом» (поэзия), «В далекій гавані» (поэзия), «Шлях невідомого» (повесть), «Залізний куркуль» (повесть), «Новела як жанр» (литературоведческая работа) и другие.*

Ред.

Если сложить вместе русскую литературу зарубежья и советской России, а потом сопоставить с русской же дореволюционной литературой, то сравнение будет не в пользу современных литератур.

Более всего виновен в этом режим, с его террором и порабощением творчества: одни писатели погибли, другие скованы бетонными берегами соцреализма, третьи вообще не могут печататься и остаются в неизвестности.

Отчасти, хотя и не в такой мере, виновны и условия жизни в эмиграции. Но есть и еще третья причина.

До революции в русскую литературу вливалось творчество талантливейших представителей народов России, в то время, как в национальных литературах оставались, за редкими исключениями, писатели провинциальные, второсортные. Ведь если исключить из русской литературы прошлого и начала нашего столетия только тех, кто был украинцем по происхождению, т. е. Гоголя, А. К. Толстого, Д. Мережковского, Короленко, Волощина, Анну Ахматову — в ней окажется заметный пробел.

После революции новые поэты, писатели и публицисты не ушли в русскую литературу, а остались в своих, национальных.

Особенно резкая перемена произошла в литературе украинской.

Между тем, у русского читателя, особенно в эмиграции, сохранился тот взгляд на украинскую литературу, который возник во второй половине прошлого столетия: «— Ну, есть у вас Шевченко, а еще кто?»

\*

Революция на Украине была не только социальной, но, прежде всего, национальной. И она была проиграна.

Леся Украинка, Иван Франко, Коцюбинский — настоящие писатели конца

XIX начала XX века — умерли. В. Винниченко и поэт О. Олесь очутились в эмиграции.

Но именно к этому времени относится небывалая вспышка украинской культуры — вспышка, которая при иных условиях могла бы создать нечто вроде литературы елизаветинской эпохи в Англии.

В культурном процессе принимают участие представители всех классов и идеологий: явно враждебные существующему строю эстеты, уходящие в мир Навсикай от страшной действительности, попутчики, крестьянские писатели (группа «Плут»), рабочие, национал-коммунисты и ортодоксальные коммунисты. Как при запоздалой весне черемуха и сирень цветут одновременно, так в эти годы одновременно возникают всевозможные литературные школы и направления, приходящие в других странах друг другу на смену в определенной последовательности: романтики и реалисты, символисты и импрессионисты, неоклассики и футуристы.

Если раньше Потапенко или Владимир Нарбут уходили в русскую литературу, и это было нормальным, то теперь происходит обратное явление: в украинскую литературу включаются немцы, евреи, русские. Зинаида Тулуб и Павло Филипович возвращаются из русской литературы в украинскую.

Развиваются всевозможные жанры:

роман — Валерьян Пидмогильный, Юрий Яновский, Зинаида Тулуб;

драма — Микола Кулиш, Иван Кочерга;

рассказ и другие короткие прозаические жанры — В. Пидмогильный, Ю. Яновский, Гр. Косынка, Слисаренко, М. Хвильевый (интересный, главным образом, как литературная личность);

художественные очерки — Антоненко-Давидович;

юмористика — Остап Вышня;

пародия — Эдвард Стриха.

Но выше, сильнее и ярче всех остальных был взлет лирической поэзии. Украинская поэзия, не творчеством отдельных писателей, а сплошным потоком поднялась к уровню современной русской и западноевропейской.

Здесь, прежде всего, следует назвать киевскую группу неоклассиков («Пятірне проно»), куда входили Микола Зеров (теоретик неоклассицизма), Максим Рыльский, Павло Филипович, Мих. Драй-Хмара и Освальд Бурхардт — впоследствии Юрий Клен. Все это были люди высшей культуры (четверо — университетские профессора), владеющие многими языками.

Хотя украинский неоклассицизм является продолжением традиций французского парнассизма Хосе-Марии Эредиа и Шарля Лекоит де-Лилля, но он впитал в себя также многие элементы и русской поэзии.

Одновременно с неоклассиками большого поэтического мастерства достигли представители других литературных школ и направлений: Евгений Плужник, Павло Тычина, Микола Бажан, Володимир Свидзинский, Дм. Фалькиевский... Среди них — Бажан единственный, у которого даже в ранних стихотворениях отсутствует любовь к Родине и человеку.

Расцвет продолжался недолго...

Если в РСФСР генеральное наступление партии на искусство началось только во времена ежовщины, а до этого «теснимый и гонимый» писатель мог уйти в молчание или стать переводчиком, то в УССР это наступление проводилось шесть-семью годами раньше и было тотальным.

Из 400 (берем круглую цифру) украинских писателей к началу Второй миро-



вой войны осталось около 60. Остальные были расстреляны: Гр. Косынка, Дм. Фальквизский, Едвард Стриха, глухонемой поэт О. Вльзько; токончили с собой: Хвильевый и др.; сосланы: М. Кулиш, В. Пидмогильный, З. Тулуб, Антоненко-Давидович, Вещня, Слизсаренко, Плужник, Зеров, Филипович, Драй-Хмара и многие другие. Юрий Клен уехал в Германию. Кое-кому удалось выехать за пределы СССР и «переквалифицироваться в управдомы». Поэт Свидзинский, филолог Агатагел Крымский погибли позже, во время войны. Многие произведения уцелевших были изъяты, а сами они периодически подвергались идеологической травле.

\*

Украинская литературная жизнь продолжалась на Западе.

Вольнь, которая дала украинской литературе крупного прозаика Самчука, поэта О. Стефановича и других, испытывала двойной, религиозный и национальный, гнет. И на Вольни нет больших городов, вне которых не может развиваться современная урбанистическая культура.

В Галиции слишком силен был дух средневекового клерикализма, и гения, если бы он появился, ожидала судьба Ивана Франко: он был бы заправлен своими. Все же Галиция между двумя войнами дала Туранского («Поэма межками болю»), критика-эсета М. Рудницкого (остался у большевиков) и нескольких поэтов: Кравцева, Гордынского и др.

Центром украинской культурной жизни стала Прага. Сюда переехал Освальд Бургхардт (Юрий Клен). К пражской школе поэтов принято причислять О. Телигу, Е. Маланюка и О. Ольжича. Сюда же нужно отнести Олексу Стефановича и ряд других, которых не перечисляем, чтобы не переутомлять читателя.

Большинство этих поэтов стояло на позиции крайнего национализма, основой их идеологии была ненависть к России и ко всему русокому, что не мешало им, однако, продолжать традиции русского символизма и акмеизма. Именно здесь героическая муза Гумилева нашла своих прямых наследников.

Во время войны большевики вывезли на Урал «золотой фонд» Украины: остатки ее писателей, ученых, деятелей искусства. Тех, кого не успели вывезти, ликвидировали. Так погибли В. Свидзинский и престарелый А. Крымский. Уцелели недавно вышедшие на волю М. Орест (о нем не знали, что он — поэт) и Иван Ватряный, Доктя Гуменна, оставившая задолго перед тем литературу для научной деятельности, и Аркадий Любченко (умер в 1944 г.), В. Петров и др. Вместе с ними уцелело и потом вырвалось на Запад несколько молодых, начавших писать до войны или во время нее.

На Запад ушли также украинские писатели Галиции и Чехословакии. Среди последних недоставало безвременно погибших Ольжича и Телиги.

\*

Годы лагерной жизни были второй, к сожалению, еще более кратковременной вспышкой украинской литературы.

Появляется масса газет и журналов. Основываются литературные организации: «МУР» в Германии, «Спілка УНЛМ» в Австрии. Устраиваются литературные вечера и диспуты. Спорят между собою литературные критики, эссеисты, теоретики литературы. Идет ожесточенная борьба между сторонниками неоклассицизма, во главе которых стоит проф. В. Державин, и его противниками.

Выходят книги уцелевших: стихи М. Ореста, «Доктор Серафимус» Виктора Петрова-Домонтовича, «Лидпролови» Ив. Багряного, «Діти чумацького шляху» Д. Гуменной. А также толстые романы У. Самчука и книги многих других авторов.

Издаются книги погибших: М. Зерова, Е. Плужника, О. Телиги, О. Ольжича. Выступает на арену поколение Второй мировой войны: О. Веретенченко, Леонид Лиман, Леонид Полтава, Яр. Славутич, В. Олександрив, Ганна Черинь, О. Смотрич и др.

И надо всеми подымается фигура самого большого поэта — Юрия Клена.

Но и эта вспышка была кратковременной: Клен умер (якобы от воспаления легких), Петрова-Домонтовича задушили наемные убийцы. Большинство писателей разъехались по разным странам. Разъехались и их читатели.

Но писатели продолжают писать. Время от времени появляются замечательные произведения: новые стихи М. Ореста, «Сад Гетсиманський» и «Буйний вітер» Ив. Багряного, сборники стихов Веретенченко, «Далекий світ» писательницы старшего поколения Галины Журбы, «Мана» и «Хрещатий Яр» Докки Гуменной, новые книги стихов Маланюка, проза Л. Лимана, «Легіт і бризи» — сборник стихов Л. Далекой...

На 200 душ пишущих в украинской эмиграции насчитывается сегодня около 40—50 настоящих писателей. Цифра эта внушительная...

Но русский читатель, владеющий украинским языком и желающий лично познакомиться с украинской литературой, попадет в такие дебри, из которых никогда не выберется: графоманы, плагиаторы, литературные хулиганы, околотитературные проходимцы и люди со специальными заданиями ему «тьмою путь заступаше».

Чтобы пробраться сквозь эти дебри, нужен гид. Пусть таким гидом будут мои переводы. Пусть помогут они русскому читателю, через «дичь и топь и глушь», выйти на поляну светлого солнечного искусства, где, в дворце, крытом лебедиными перьями, ждут его прекрасные царевны. Не одна, а несколько...

Микола Зеров

### ЧИСТЫЙ ЧЕТВЕРГ

*«И абие петел возгласи...»*

Тепло и чад свечей. С высоких хор  
В тоске и скорби льется песнопенье.  
Здесь — палачей и сторожей скопление,  
Сиядрион, и кесарь, и претор.

Здесь — нашей доли роковой узор.  
Для нас петух пропел предупреждение,  
Для нас и слуг архиерейских бденье  
И у ограды тлеющий костер.

И мгlistый ряд евангельских историй  
Струится цепью тонких аллегорий  
О подлости и грязи наших дней.

А за дверьми, на паперти, в притворе,  
Колокола и голоса детей  
И звезды ясные в ночном просторе.

### САЛОМЕЯ

Там левантйской ночи злые чары,  
Согрета кровь колдующей луной,  
И дикий цвет любви, и темный зной,  
И всё в крови: и шлемы, и тиары.

А из темницы, как предвестье кары,  
Струится речь премучею волной:  
«Йоканаан!» — Не тихий шум лесной —  
В его словах пустыня и пожары.

И Саломэ, ребенок по летам,  
Напиток страшный поднесла к устам,  
К мечам и мести жадно призывая.

Душа моя! Беги! На корабле  
Пльви туда, где встанет на скале  
Стройна, как луч, царевна Навсикая.

Максим Рыльский

### КРАСНОЕ ВИНО

Шатер дубов прозрачно-желтый  
В сияньи ясно-золотом.  
Пусть счастье, друг мой, не нашел ты,  
Но для чего тужить о нем?

Смотри: кипит в хрустальной чаше  
Хмельное красное вино.  
Пройдет и будущее наше,  
Как всё, что мишло давно.

И то, что явью нам казалось —  
Ничтожный сон, напращный дым,  
И то, что снилось и мечталось,  
Явилось буднично-простым.

Пльви на озеро покоя,  
 Не вспоминая о былом.  
 Всё пережитое тобою —  
 Лишь след, оставленный веслом.

Уходит лето. Меркнут дали.  
 Но не печалься: всё равно  
 Кипит и пенится в бокале  
 Хмельное красное вино.

\* \* \*

\*

Взметнулась занавеска на окне,  
 Румянцем ярким вспыхнув на мгновенье,  
 И ветерок в вечерней тишине  
 Далеко побежал за синей тенью.

Там, за окном, склонился над столом  
 Девичий, тихий и лучистый, профиль.  
 А среди площади глядят на дом  
 Знакомцы наши: Фауст и Мефистофель.

Собор простлался тенью по земле,  
 Снуют коты виденьями ночными,  
 И круглоглазый филин на шпиле  
 Колдует мрачно в высоте над ними.

Плащи в пыли, клинки старинных шпал  
 Затуплены; растеряны желанья . . .  
 Но всё ж глядят с надеждою в очах  
 На занавески юное сиянье.

\* \* \*

\*

Плещут у влажного берега чистые, ясные воды,  
 Словно пурпурного моря Гомером воспетое лоно.  
 Наш Одиссей повествует, дивные вспоминая походы,  
 О неподвижных полярных снегах и дубравах Цейлона.

Чудится знойной и пьяной тропической ночи дыханье,  
 Голос горячих зверей и цветы на тропинках звериных.  
 Дальнего шум океана слышится в тихом журчаньи  
 Речки, разлившейся мирно в зеленых, веселых долинах.

Может, живут и теперь лотофали семьею счастливой?  
 Страшные где-то, быть может, еще существуют циклопы?  
 Может быть, звезды, во тьме отраженные гладью залива —  
 Зевсовы очи, глядящие в очи Европы?

Павло Филипович

Усталый день склонился и притих.  
Из глубины лазурного покоя  
Выходит солнце, тихое такое,  
На раздорожье вечеров глухих.

Оно немного отдохнет у них —  
И, пламенея поздней красотой,  
На горизонт уводит за собою  
Причуды грёз кроваво-золотых.

И дня уж нет. Но лучезарно-нежный  
На небеса и на простор надснежный  
Свет пролился и не пускает тьмы.

И только месяц с тихой печалью  
Узоры пишет синею эмалью  
На белых ризах царственной зимы.

\* \*  
\*

Как серый день, умрут желанья. Силы  
Не станут больше. Я шепну «прости».  
А ты ступай в поля и быстрокрылой  
Над колосками ласточкой лети.

Овраг минуя, озеро заметишь,  
Прозрачной влаги зачерпни крылом.  
Не жди, не плачь — меня уже не встретишь,  
Но в снах и в солнце — память о былом.

Земля ковром раскрылась под тобою,  
Моею песней родники звенят.  
Дорогою проспался голубою  
Обильных дней необозримый ряд.

Лети ж, лети! На солнце золотятся  
Воскресшие виденья прежних лет.  
И лишь домой не надо возвращаться:  
Теперь я всюду, где любовь и свет.

Михайло Драй-Хмара

Я отмечаю обгорелой спичкой  
День изо дня — на стенах — жизнь мою,  
Топчу тюремный камень по привычке  
И горькую печаль без меры пью.

И, опьянев, коней впрягаю в шоры  
И мчусь — догнать прошедшие года.  
Лечу в родные синие просторы,  
Где я покинул юность навсегда.

— Вернитесь! Хотя бы в гости снова!  
— Не возвратимся! Нет пути назад!  
Я на мосту заплакал на кленовом  
И вновь увидел хмурый каземат,

Клочок небес, распятый на решетке,  
И глаз недремлющий в дверном волчке.  
Нет вороных, и мысли снова четки:  
Я в каменном, я в каменном мешке.

*Перевели: Леонид Полтава,  
Игорь Качуровский*

Павло Тычина

## СКОРБНАЯ МАТЬ

## 1

По полю проходила  
Тропинками, межами.  
Боль сердце озарила  
Блеснувшими ножами.  
Взглянула — тихо всюду,  
На ниве трупы чьи-то.  
— Ой, радуйся, Мария! —  
Зашелестело жито.  
Спросонку колосочки:  
— Побудь, побудь меж нами!  
Склонилась Богоматерь,  
Заплакала слезами.  
Не месяц и не звезды,  
И утро не алело.  
И сердце человека  
Так страшно обеднело.

## 2

По полю проходила —  
 Простлалось, зеленя.  
 Апостолы навстречу,  
 Стопились перед нею:  
 — Возрадуйся, Мария,  
 Мы ищем Иисуса.  
 Скажи, как нам скорее  
 Дослужнуть Эммауса?  
 Горе воздела руки —  
 Бескровные лилей:  
 — Не в Иудею путь вам,  
 Не в землю Галилеи.  
 Пройдите по Украине,  
 По каждому селенью,  
 Там встретитесь, быть может,  
 С Его распятой тенью.

## 3

По полю проходила —  
 Курганы вековые . . .  
 Навстречу вее ветер:  
 — Христос воскрес, Мария!  
 — Христос воскрес? Не верю,  
 Не слышала, не знаю.  
 Вовек не будет рая  
 В кровавом этом крае.  
 — Христос воскрес, Мария!  
 Цветы мы зверобоя,  
 Здесь, на крови, гурьбою  
 Растем на поле боя.  
 Вдали безмолвны села,  
 Курганы вековые.  
 Лишь лепестки лепечут:  
 — О, сжался же, Мария!

## 4

По полю проходила —  
 Стране ли этой сплнуть?  
 Ведь Он ее до смерти  
 Не захотел покинуть.  
 Взглянула — тихо всюду,  
 Ковыльник на могиле.  
 — За что Тебя распяли?

За что Тебя убили?  
Не выдержала скорби,  
Не выдержала муки,  
Упала на тропинку,  
Крестом раскинув руки.  
Над нею колосочки  
— «Ой, радуйся . . .» — шептали,  
А в небе херувимы  
Не ведали, не знали . . .

### Володимир Свидзинский

*(Из книги «Медосбор»)*

Мирно шумят айланты,  
Блещет листва на маслине.  
На челнок, о мона Фиора,  
Мы счастливы будем ныне!

Вы опустите в море руку,  
И будет вода под нами  
Сквозь тонкие ваши пальцы  
Плескаться тремя ручейками.

Ни волны, ни ветра на море.  
Только вьется светлою змейкой,  
Развевается лента от шляпки  
Над вашим ушком и шейкой.

Мы будем петь, мона Фиора,  
Вы — о стране родимой,  
О Деве Марии, о далях синих  
И о радости быть любимой.

А я — о венке павлиньем,  
Что дали мне юные годы,  
А его сорвал с меня ветер  
И умчал в бездонные воды.

А когда б налетела буря,  
Не страшна она мне Фиоре:  
Мнимые вещи в воде не тонут,  
И поглотить вас не может море.



Вы ничем не рискуете, милая мона,  
А если боитесь риска,  
То оставайтесь. Со мной поедет  
Мадонна Аморофиска.

Ах, нет же, я не изменник!  
Неправда в вашем укорё.  
Но только грустно быть одиноким,  
Когда так сверкает море.

Вы не знаете, милая мона,  
Как мне пусто в дому нелюдимом.  
Венок мой в море, в воде глубокой  
Мелькает сизым дымом.

Вы не знаете, что мое сердце  
Зарастает жестким бурьяном.  
Венок мой в море, в воде глубокой  
Лежит осенним туманом.

## Евген Плужник

*(Из ранних стихотворений)*

Ни словечка ему не сказал отец,  
Молча вывел коня за ворота.  
Опускалась в тиши, как осенний венец,  
На поля позолота.

А когда в октябре заметал бурян  
Пожелтевшие листья и травы,  
За грядущее  
спать — головою в бурьян —  
Лег у сточной канавы.

К лошадям... По хозяйству... А день за днем...  
Снова дворик порос травой.  
Сердце, сердце! С твоим огнем —  
И в бурьян головою!

\* \*  
\*

Она спустилась к морю. Кто она —  
Ей и самой отныне безразлично...  
... Ведь в нас во всех — мелодия одна,  
В извечной смене, праздной и обычной.

Ленивый взмах — и ей под ноги лег  
 Прозрачным венчиком халатик яркий,  
 И на стебле высоком стройных ног  
 Цветет цветок — тяжелый, полный, жаркий —  
 Спокойный торс, непронута-нагой!

Спадает вал . . . Но вот спешит другой . . .  
 И снова всплеск . . . И затихает снова:  
 Она, чуть тронув розовой ногой,  
 Смиряет кипень бездны бирюзовой.

Ее зовет в объятья глубина,  
 Морская ширь, что всем ветрам открыта . . .  
 И кажется — уходит Афродита  
 В тот белый шум, которым рождена!

Олег Ольжич

ГАЛЬКА

Где путь желтеет между стен крутых,  
 Прорезан под отвесною скалою, —  
 Ты взгляд свой невнимательный на мит  
 Остановил на гальки жестком слое.

Она сухая, серая. Но вот  
 Сомкнешь глаза пред горами немymi  
 И чувствуешь порыв весенних вод  
 И резкость ветров, веявших над ними.

ЗМИЙ

Не к добру всю ночь мне снилось зарево  
 И родимый замок — весь в огне.  
 И блуждал над пущами, как марево,  
 Страшный месяц в темной вышине.

Плачет ветер чайкой. Речка пенится.  
 Гордый камень стонет, как струна,  
 И, голубкой розовою, пленница —  
 Королева смотрит из окна.

Но не сдамся. Кинусь в бой отчаянный,  
 Чтоб упасть безглавым под коня.  
 Семь голов имею, нецарякающий,  
 Но одно лишь сердце у меня.

## МУКИ СВЯТОЙ КАТЕРИНЫ

Как связали в храме негодяи  
Катерину-Деву на стене.  
Рвали тело белое, терзая,  
Прижигали раны на одне.

Голубые страждущие очи  
У нее полны горячих слез:  
Если так Господь Небесный хочет —  
Не боюсь ни дыбы, ни колес.

У столпа, что в сумрачном притворе,  
В одинокой кельи своей  
Я, сгорая в безысходном горе,  
Облегчить хочу страданья ей.

Ты, который любишь боль и раны,  
Сеешь меж людьми и зло, и тьму, —  
Шли свои соблазны и обманы  
Темной ночью к ложу моему.

Пусть кривляки, по углам шныряя,  
Пот и кровь приходят пить ко мне —  
Только б отпустили негодяи  
Катерину-Деву на стене.

Олена Телига

## БЕЗ НАЗВАНИЯ

Не любовь, не прихоть и не случай —  
Имя не всему еще дано.  
Не всегда лелко в воде кипучей  
Отыскать незыблемое дно.

И когда душою пробужденной  
Ты умчишься в осиянный путь,  
Как узнать, чьи весла берег сонный,  
Темный берег смели оттолкнуть?

Не любовь, не страсть, не увлечение.  
Только сердце — выше облаков!  
Пей же брызги светлого теченья,  
Радость безымянных родников!

\* \* \*

\*

Махнуть рукою! Расплескать вино!  
 Морозных вихрей! Криков иступленных!  
 О, как хочу я отыскать окно  
 В стене движений серо-однотонных.

Пусть в том окне мелькнет сиянье глаз  
 И чей-то образ смело-горделивый.  
 Чтоб снова жизнь — надолго иль на час —  
 Расколыхалась всплесками прилива.

Пускай сверкнет, как светлое вино,  
 Напитком драгоценным ясность взгляда.  
 И чтоб к нему никто, никто иной  
 Не примешал ни горечи, ни яда.

И в душевной зале будет вновь расти  
 Мечта шальная — и надежда с нею,  
 Что для меня сумеет он пройти  
 Сквозь все обиды — так, как я умею!

### Олекса Стефанович

На ней хлебá и хлебá,  
 Над нею — проклятие в хлебе,  
 И Судного Дня судьба  
 И Апокалипсиса жребий.

Раскрытие книг свершено:  
 Распахнута книга жита  
 И Книга Жизни черно,  
 Кроваво, жутко раскрыта.

А вихри мегут без конца,  
 Один чернее другого ...  
 ... Горе имеем сердца! —  
 Во имя Борьбы — и Отца,  
 И Сына, и Духа Святого!

Юрий Клен

## СКОВОРОДА

Идти, идти, без цели и меты.  
Вбирать в себя и ветер и просторы,  
Необозримость неба, лес и горы,  
Чтобы в душе раскрылись цветы,

И чтобы в ней возник, светлей мечты,  
Особый мир, где звездные узоры,  
И солнце, и прозрачные озера. —  
Путь одиноких, как прекрасен ты!

Идти сквозь ветер, снег, в дожде и зное,  
И скорбь разбавить мудростью хмельною —  
Ведь, может быть, у нас один завет:

Неутолимость дальнего скитанья.  
И, может быть, иной дороги нет —  
Из хаоса души воздвигнуть мирозданье.

## ВЕСНА

Лес, что ни год, меняет одеянье,  
И обновляет солнце прежний путь,  
Чтоб золотое разливать сиянье  
И в плес лазурный сердце окунуть.

И в сорок пятый раз воскреснут, знаю,  
И даль, и степь, и неба глубина.  
Но с каждым годом я весну встречаю,  
Как будто это первая весна.

Все жду, и верю, и надеюсь: может,  
Хоть в этот раз да сбудется оно,  
Что столько лет прельщает и тревожит  
И в снах моих играет, как вино.

И что когда, гремя трубою в сини,  
День необорный спустится с высот,  
И красоту, не бывшую доньше,  
Передо мною утро распахнет!

## ПЕПЕЛ ИМПЕРИЙ

(Фрагмент)

## Ч. 4

Еще душистый полдень над прудом  
Струился золотом медовым,  
А я над недописанным трудом  
Склонялся Архимедом новым.

Кому отдам узоры этих строк,  
Кому мой стих последний вверю,  
Когда сквозь дым и пламя катастроф  
Грядущего увижу зверя?

И кто спасет сокровищницу, нам  
В наследство данную веками,  
Когда пойдут рабы по всем путям,  
Вперед гонимые бичами?

Кто устоит? Кому здесь по плечу  
Сразиться с силой одержимой,  
Когда я «Noli tangere!»\*) вскричу,  
Чтоб защитить мой труд любимый?

Когда зальет бурлящею волной  
Европы старой берег шаткий,  
То не сметет ли ураган шальной  
И летопись — в моей тетрадке?

О, вслушайся! Где пепел чуть шуршит,  
Где вихри кружатся, как змии —  
Фальцетом тонким плачет и звенит  
Высокий голос Ереми.

---

\*) Не тронь! (лат.)

Евген Маланюк

ВЕЧЕР

Вот вечер вновь. Опять смыкает веки  
Бессильный день. И я один опять.  
Так нужно нежности. Так хочется навеки  
Вечерним небесам с тобой мольбы верить.

Прозрачно-синие обрисовались тени,  
Сияет звездами ночная глубина.  
И знаю: где-то ты в таком, как я, томлены  
Вдыхаешь, и молчишь, и молишься одна.

И в одиночестве, я знаю, нашу нежность  
Не можем врозь снести ни я, ни ты.  
И не поглотит чувств вечерняя безбрежность,  
Когда утонет даль в объятьях высоты.

И знаю, в жизни ценны лишь мгновенья,  
Мгновенья вечности. И знаю: ты одна.  
И больше нет другой. — Раздумье, промедленье —  
И все исчезнет в тишине без дна.

ПОЛЕВОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

Всё казалось, что там, за селом,  
Под зеленым бугром, у креста,  
Когда ветер коснется крылом,  
Мы увидим Христа.

В теплый день одиноко мы шли  
В полевою зовущую даль.  
И таилась во вздохах земли  
Неземная печаль.

Как всегда, шелестящий простор  
Кольхался ковром золотым.  
Миновали мы крест и бугор  
И не встретились с Ним.

Только там, где над краем земли  
Прояснился на миг небосклон, —  
Просиял Его белый хитон  
И растаял вдали.

Михайло Орест

## НАДПИСЬ НА ВРАТАХ ГОРОДА

На камень мой взгляни: он почернел от лет,  
От их свирепости и громоносных бед.  
Шли сквозь меня в страну воители, тираны.  
Они несли ей смерть, насилие и раны.  
Я жду. Придет час — и вступит паладин  
Пресветлых дел добра, могучий Лозенгрин,  
Под мой дремотный свод. И довершится мера  
Скорбей. Я расцвету, раскроюсь розой серой,  
И в нитке слав его, блистающих как шит,  
Хоралом ангельским мой камень прозвучит.

## МИНИАТЮРЫ

*Любовь*

За осенью — зима. Повеет снеговой . . .  
И вновь придет весна. Но в памяти моей  
Ты та же, как всегда, как и была давно.  
Что нужно времени? Куда спешит оно?

*Жалоба девушки*

Мильоном проздей плещутся сирени,  
Весь в пламени каштан. Хвала весне!  
О сердце одинокое. В цветеньи  
Горишь и ты. Закрытое. Во мне.

*Летний вечер*

Час голубинный. Небо как стена  
Из мрамора лазурного. Над ней  
Прожилками, в янтарности огней, —  
Пылающие тучи. Тишина.

*Сумерки*

День долгий огошел без радости и славы.  
Темнеет. В городе уж отзвучало «ave».  
Я — дом, затихший дом. И лишь в окне одном  
Чуть тлеет отблеском пожар зари кровавой.



*В гостях*

Клумба и цветы. Мотылька полет.  
Тихо дальний гость сок душистый пьет.  
Так же, прилетев из страны иной,  
Люди, пьем и мы горький сок земной.

\* \*  
\*

В осенний день, обычай исполняя,  
Я обходил дубравы и поля.  
Погасла даль; задумчиво-немая  
Под хмурым небом презила земля,

Места чужие были предо мною.  
Меня манил округлый косогор.  
На нем стоял могучею стеною  
Повитый синью вековечный бор.

И набожно, в глубоком размышлении,  
Вступил я в чащи сумрачный предел.  
И вдруг мелькнуло что-то в отдалении,  
И дивный свет лучисто заблестел.

Укрыта сосен кровлею оплошною,  
В лесной глуши росла берез семья.  
Пылали ветви светлой желтизною —  
И радостным теплом проникся я.

Как будто бы сюда ушли от мира  
Жрецы добра — кто благость веры чтит —  
И для сокровищ мудрости и мира  
Нашли среди пущи неприступный скит.

И слышались торжественные хоры,  
Горели ризы золотом густым,  
И от камильниц синие узоры  
Струил смолистый ароматный дым.

Поля и лес он обнимал любовно,  
Он тихо плыл к просторам дальних вод  
И подымался медленно и ровно  
Под ласковый осенний небосвод.

Иван Багряный

## СОБАЧИЙ ПИР

## 1

Как с посвистом снаряд, в зените солнце рвется,  
Огнем кровавым обожжен гранит.

Между горячих плит

холодный пот дрожит

На вьрванном глазу у полководца.

— Вперед! Вперед! — казалось, невпопад  
Кричал беззвучно.

И кричал не всуе:

Там конь летал, как змий, без всадника, без сбруи,

Там конь

среди забытых баррикад.

— Вперед! — Вперед! Метался конь и ржал.

Со звонким эхом лязгали подковы.

Дома чужие хмурились, суровы,

И ужас в погребях дрожал.

Нигде ни пса. Всё стихло в ожиданьи,

Каков же будет, чорт возьми, финал.

И только конь, последний Буцефал,

Нет, новый Буцефал, —

премел с призывным ржаньем.

Но сломаны герои баррикад,

Кто защищал простреленное знамя,

Чей крик взвивался, как живое пламя:

— Не отступать!

Умрем на месте, брат!

И умерли.

Конец.

Затихла канонада.

Через небесный синий сад

Последний просвистал снаряд,

Последний взрыв —

и конь

упал на баррикаду.

## II

Казалась тишина удушливой и черной.  
 Одни ушли, чтоб отточить штыки,  
 Другие где-то строятся в полки  
 Перед вступлением в город непокорный.

На перекрестке — ни души, ни звука.  
 Там гордый конь среди остывших плит  
 Копытом черным небесам прозит,  
 Как будто сильную протягивая руку.

И вдруг — собачий вой.  
 Истошный, жуткий зов.  
 И вот, поджав хвосты, ползут на грязных лапах  
 Туда, где бой гремел, туда, где крови запах.  
 И собралось их — десятки, сотни псов.

На перекресток, как в свою отчизну,  
 Еще до темноты сошлись на дикий бал.  
 Герой их — модный породской шакал —  
 И с хохотом, и с визгом правит тризну.

Но вот и тьма сошла, а визг на сто рулад  
 Разносится по улицам соседним,  
 Растет над тем конем, над рыцарем последним  
 С разбитых баррикад.

Вгрызаются в живот, хрипят собачьи орды.  
 Как победители, что выиграли бой —  
 Орут собачий гимн.

И под несносный вой  
 Сияют окровавленные морды.

Визжит,  
 Растет,  
 Шумит собачий пир.  
 Напрасно хочет встать, не дать на поруганье  
 Коня погибшего, любимое создание,  
 Не дать,  
 не дать на этот подлый пир —  
 И встать не может мертвый  
 командир.

Богдан Кравцев

В лесных урочищах целебных трав немного,  
Идя в далекий край, собрал я на дорогу.  
И были, с песнями родимой стороны,  
В суму дорожную пучками сложены  
И рута, и шалфей — врачующие травы  
От наговоров, порч, и глаза, и отравы —  
А к ним я примешал полыни лист и цвет.  
Но стерлось все во прах среди дорог и лет.  
И горечь на сердце теперь, и вкус полыни.  
Отдельно лишь евшан сберег я на чужбине,  
Чтобы по запаху домой когда-нибудь  
Нашли мои сыны далекий, ясный путь.

Порфирий Горотак

## ТАИНСТВЕННАЯ МИЛЕДИ

Мы повстречались с нею возле моря.  
Блеск темных звезд в ее светился зоре,  
А груди надувались, как ветрила.  
Шумливая волна о берег била.  
И я спросил: — «Откуда вы, миледи?  
Быть может, это вы воспеты в Эдде?»  
И отвечала дева нежнотонно:  
— «Пришла от вольного я Авалтона,  
Из-за озер шотландских Оссиана!»  
И в поднятой вуальке тонкотканной  
Она спросила, томно сдвинув брови, —  
И музыка звучала в каждом слове:  
— «А где родились вы, достойный сэр?»  
И скорбно молвил я: — «В СССР!»

## VENIT MORS VELOCITER

Синим плесом проплывает  
   Ночь.  
 С плеч, как саван, тьма спадает  
   Прочь.  
 Зашуршал во мраке ночи  
   Лес.  
 На утесе пялит очи  
   Бес.  
 Погружает в ил болота  
   Пуп.  
 И съедают готтентоты  
   Труп.  
 Мчит в пространство Леонору  
   Чорт.  
 Дьявольских полны просторы  
   Морд.  
 Месяц в небе красит кровью  
   Свод.  
 В мертвый Стикс вступаю вновь я  
   Вброд.  
 Немец гаркнул из вагона  
   «Links!»  
 Лег в тени Тутанхамона  
   Сфинкс.  
 Налилась до края жутью  
   Твердь.  
 И бредет по первопутью  
   Смерть.  
 «— Горотак! Ты здесь?» — Взывает  
   Днесь.  
 Глухо эхо отвечает:  
   «— Здесь!»

## КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

*Микола Зеров* (1890— ?). Мэтр неоклассицизма. Поэт, переводчик и литературный критик. Арестован в 1935 году, до 1938 г. находился в Соловецком концлагере. Дальнейшая судьба неизвестна.

**Книги:** «Антологія Римської Поезії», «Нове укр. письменство», «Камена», «До джерел» и др. Посмертно изданы: «Sonnetarium», «Catalepton», «Corollarium» (в последнем — перевод «Бориса Годунова»).

*Максим Рыльский* (род. в 1895 г.). Один из крупнейших украинских поэтов. Подвергался гонениям и репрессиям. Был арестован. Позже — награжден орденом и стал членом партии.

Книги стихов: «На білих островах», «Під осінніми зор'ями», «На узліссі», «Синя датечинь», «Крізь бурю й сніг», «Тринадцята весна», «Де сходяться дороги», «Гомін і відгомін», «Знак терезів», «Київ», «Літо», «Україна», «Збір винограду», «Слово про рідну матір», «Велика година», «Неопалима кутина» и др. Переводы из Вольтера («Орлеанская Дева»), Мицкевича («Пан Тадеуш»), Пушкина («Евгений Онегин») и др.

*Павло Филипович* (1891— ?). Поэт и филолог. Первые стихи — на русском языке, под псевдонимом Павел Зорев. Арестован в 1935 году, приговорен к 10 годам заключения, до отбытия срока — еще раз к 10 годам. Дальнейшая судьба неизвестна.

Книги стихов: «Земля і вітер», «Простір». «Поезії» (посмертное издание).

*Михайло Драй-Хмара* (1889—1938?). Поэт и филолог. Несколько раз подвергался арестам. В 1935 году сослан в Кольымский концлагерь, где, очевидно, и погиб. Единственная книга стихов: «Проростень».

*Павло Тычина* (род. в 1891 г.). В ранних своих книгах — поэт-экспериментатор. Подвергался гонениям. Первый из украинских поэтов пошел на службу к большевикам. Теперь — советский вельможа. Книги стихов: «Соняшні кларнети», «Плут», «Земля і вітер», «Замість сонетів і октав». Последующие книги художественной ценности не имеют.

*Володимир Свидзинский* (1885—1941). Символист. Переводчик с древнегреческого и др. языков. Осенью 1941 г. во время эвакуации Харькова в числе сотен заключенных других представителей украинской интеллигенции сожжен живьем отступающими большевиками.

Книги стихов: «Ліричні поезії», «Вересень», «Поезії». Посмертный сборник стихов «Медосбір» отдельной книгой до сих пор не напечатан.

*Евген Плужник* (1898—1936). Виднейший представитель украинского импрессионизма в поэзии. Принадлежал, вместе с В. Пидмогильным, Антопенко-Давидовичем и др. к литературной группе «Марс». Арестован в 1934 году и приговорен к расстрелу, замененному впоследствии десятью годами заключения. В 1936 г. умер от туберкулеза в Соловецком концлагере.

Книги стихов: «Дні», «Рання осінь», «Рівновага» (посмертный сборник, издан в эмиграции). Его перу принадлежит также один роман и две драмы.

*Олег Ольжич*, псевдоним, (1907—1944). Сын поэта О. Олеса. Настоящая фамилия О. Кандыба. Принадлежал к пражской школе украинской поэзии. Один из видных деятелей Организации украинских националистов. Арестован гестапо и замучен в немецком концлагере Заксенхаузен.

Книги стихов: «Рінь», «Вежі»; посмертные: «Пидзамча», «Поезії» (последняя книга включает три предыдущих).

*Олена Телига* (1906—1942). Поэтесса пражской школы. Редкая представительница женской героической поэзии. Девочкой, вместе с матерью, бежала, перейдя границу, к отцу-эмигранту. В 1941 г. возвратилась в Киев. В 1942 г. арестована и расстреляна киевским гестапо. Посмертный сборник: «Прапори духа».

*Олекса Стефанович* (род. в 1900 г.), на Вольни. Жил в Праге, после войны — в Германии, теперь в США.

Стихи религиозно-мистического, а также эротического содержания. Единственный сборник «Stephanos». Стихи последних лет отдельной книгой не изданы.

*Юрий Клен* (1891—1947). Настоящее имя — Освальд Бургхардт. Родился в б. Подольской губ. в семье немцев-колонистов. Во время Первой мировой войны депортирован в Архангельскую губ., где пробыл три года. В 1921 г. арестован, но

освобожден, благодаря ходатайству В. Г. Короленко. В начале тридцатых годов Клену как немецкому подданному удалось выехать за границу, где он преподавал в университетях Мюнстера, Праги и Иннсбрука. В 1947 г. Ю. К. умер в Аугсбурге при невыясненных обстоятельствах. На литературном поприще выступал как переводчик. Ему принадлежат переводы из Шекспира («Гамлет» и «Буря»), Шелли, Байрона, Рильке, ряда французских поэтов.

На немецком языке — монография о Леониде Андрееве. При жизни Ю. Клена вышли: «Прокляті роки» (поэма в октавах), «Каравели» (сборник стихотворений) и «Спогади про неоклясиків». «Попіл імперій» — грандиозная мистическая эпопея, осталась неоконченной и была издана сыном поэта.

*Евген Маланюк* (род. в 1897 г.). Офицер армии Укр. Нар. Республики. Жил в Праге и Варшаве, теперь в США. Один из идеологов укр. национализма.

Книги стихов: «Стилет и стилос», «Гербарий», «Земля й залізо», «Земна Мадонна», «Перстень Полікрата», «Вибрані поезії», «Влада», «Поезії» (куда, кроме избранного, входит новая книга стихов «Проца»).

*Михайло Орест*, псевдоним, (род. в 1901 г. на Левобережной Украине). Был репрессирован и пробыл несколько лет в концлагере. При большевиках вообще не печатался. Прямой и непосредственный продолжатель киевского неоклассицизма. Поэт и переводчик. Первая книга стихов «Луни літ» вышла во время Второй мировой войны. Последующие книги: «Душа і доля», «Держава слова», «Гість і господа».

Переводы: С. Георге «Вибрані поезії»; Р. М. Рильке, Г. фон Гофмансталь, М. Давтендай. «Вибір поезій»; «Антологія німецької поезії», «Антологія французької поезії»; Ш. Леконт де Ліль «Поезії» (избранное); «Море і мушля» (антология мировой поэзии, куда входят также переводы из Н. Гумилева, Ин. Анненского и других русских поэтов). В настоящее время — в Баварии.

*Иван Багряный*, псевдоним, (род. в 1907 г.). По образованию художник. Принадлежал к литературной группе «Марс». Пробыл несколько лет в лагерях Дальнего Востока. Во время ежовщины был арестован вторично. Ранние сборники его стихов погибли. В эмиграции выпустил книгу стихов «Золотий бумеранг» («рештки забуленого, skonфіскованого та знищеного»). Выдающийся прозаик: «Тирролови», повесть для юношества, переведена на несколько языков; «Сад Гепсиманський», психологический роман, неоконченная серия романов «Буйний вітер». Также публицист и политический деятель. В настоящее время — в Баварии.

*Святослав Гордынский* (род. в 1906 г.), в Галиции. В детстве, вследствие несчастного случая, лишился слуха.

Художник, поэт и переводчик со многих языков. Начиная с 1933 г. выпустил свыше десяти книг стихотворений. В настоящее время — в США.

*Богдан Кравцев* (род. в 1904 г.), в Галиции. Как и Гордынский, продолжатель и последователь киевского неоклассицизма. Выпустил несколько сборников стихотворений, а также книгу переводов из Р. М. Рильке. В настоящее время — в США.

*Порфирий Горотак*. Украинский Козьма Прутков — плод литературной мистификации. «Неистовий схи́дник», якобы родившийся на Дальнем Востоке и оттуда — через Японию, Китай, Индию, Персию, Турцию, Италию — добравшийся до Тирроля и Баварии. В действительности авторами Горотака были Юрий Клен, писатель Леонид Мосендз и художник Мирон Левицкий. Книга стихов Горотака — «Дияболічні параболи».

*И. Качуровский*

### Встреча с Максимом Горьким

В 1923 году в Берлине меня глубоко занимала судьба моего романа, который я заканчивал («Путь скорби»).

На одном из литературных вечеров в Шубертзале я наткнулся на русского издателя, выпускавшего в Берлине произведения новейших авторов, преимущественно, однако, политического характера, с обложками типа дореволюционных сборников «Земля» и «Шиповник».

— Как подвигается ваш роман? — спросил меня издатель после первых слов обычного приветствия.

— Если хотите, могу дать вам рукопись, — ответил я.

Лицо издателя на мгновение оживилось. Он любил молодых авторов, а этот разговор происходил более тридцати пяти лет назад, и я тогда был молод. В ту же минуту восторженность издателя сменилась выражением досады.

— Вот положеньице! Понятно, я очень хотел бы иметь и вас в моем каталоге, но... но...

— В чем же препятствие? Если роман вам понравится, все остальное весьма не сложно! — ответил я с некоторым недоумением.

— Все это не так просто. Рукопись-то вашу будет читать Алексей Максимович (Горький). Возможно, что он пожелает поговорить с автором, что он обычно делает, когда работа ему нравится. А удобно ли вам, при вашем нынешнем неприглядном отношении к большевикам вступать в личные переговоры с Горьким, моим главным редактором, не берусь судить! Все же я хотел бы ознакомиться с рукописью до того, как она попадет к Горькому. Принесите ее мне, пожалуйста, завтра в издательство.

Эту просьбу я исполнил.

Спустя несколько дней после этого разговора, ко мне на квартиру зашел как бы «на огонек» молодой писатель, который однажды уже посетил меня без особого повода. На этот раз его приход меня несколько удивил, тем более, что был уже поздний час вечера. После короткого обмена литературными сплетнями, он, несколько не смущаясь, открыто заявил мне, что вместе с другими писателями, во главе с Алексеем Толстым, возвращается в Советскую Россию, где всей группой обещана полная амнистия и будут предоставлены возможности литературной работы.

Обещания эти были, будто, скреплены словом самого Ленина.

Незванный гость неуверенно взглянул на меня и не совсем твердым голосом заявил, что группа охотно взяла бы и меня с собою и что по этому поводу в ее



среде уже были кое-какие разговоры. Несмотря на опубликованные мною очерки против Советской России («Архив Русской Революции», т. 12), мне также будет гарантирована полная амнистия, — добавил он.

После этих его слов я весьма насторожился.

Мой собеседник ушел, не услышав от меня ни звука, который мог бы быть истолкован как ответ на его предложение. А спустя два-три дня, когда я еще находился под впечатлением недавнего косвенного предложения вернуться в Советскую Россию, издатель позвонил мне по телефону и просил меня, если можно, сейчас же навестить его в издательстве. Минут через двадцать он с радостью заявил мне, что Алексей Максимович уже предупрежден о моем желании выпустить новый роман в этом издательстве и готов побеседовать со мной сегодня же, часов в восемь вечера, у него на дому.

Издатель взял с меня честное слово, что я никому не выдам адреса Горького, что он, будто, временно живет в Груневальде в ожидании окончания ремонта его квартиры в западной части Берлина.

\*

Должен и сегодня сказать, что тогда, много лет тому назад, предстоящая встреча с Горьким волновала меня. Я знал его по многочисленным фотографиям. Любил его рассказы, его героев, и в моей памяти жил Горький, наш Горький. Тем более тревожно сжималось сердце при мысли о том, что этот Горький отвернулся от нас.

Предстоящая встреча с ним не только волновала, но и как бы пугала меня. Я не мог найти оправдания издателю, который, предварительно не поговорив со мною и не сказав мне ничего о моем романе, — он, видимо, и не читал его, — неожиданно назначил мне место и время встречи с Горьким за несколько часов до того, как я должен был отправиться к нему.

Откровенно говоря, я опасался тогда серьезной провокации, которая сделала бы мою литературную работу в эмиграции невозможной, толкнула бы меня в ряды так называемых «темных лошадок», и я потерял бы возможность работать и в союзе писателей, и в эмигрантских издательствах. Кроме того, меня занимала мысль о самом издательстве, главным редактором которого был Горький. Собственник предприятия работал в этой области и в дореволюционной России. Его издания имели там всегда большой успех. Мне поэтому казалось непонятным, по каким соображениям он связался с Горьким или, может быть, Горький связался с ним?..

Кто кого, собственно, поймал: опытный издатель — писателя Горького, или писатель-большевик Горький опытного издателя? А, может быть, они оба скованы единым заданием, начало которого исходит из Москвы?

Так или иначе, я решил продолжать игру, приняв, однако, определенные меры предосторожности. В поздний послеобеденный час, по выходе газеты («Руль»), я зашел к И. В. Гессену. Без лишних слов рассказал ему все. Он признал мои опасения обоснованными; случайно кто-нибудь мог узнать о моей встрече с Горьким или издатель сам мог умышленно или по неосторожности рассказать о ней.

— Секретов нет, рано или поздно все становится известным, — сказал Гессен, внимательно выслушав меня. — Поскольку же вы беседовали со мною о предстоящей встрече и я не имею никаких оснований сомневаться хотя бы в одном вашем слове, отправляйтесь к нему и расскажите мне затем, какое впечатление он произвел на вас.



В тот же день, около семи с половиной часов вечера, я отправился в Груневальд, в этот час, да еще поздней осенью, обычно совершенно безлюдный и весьма ступо освещенный в сравнении с центральной частью Берлина.

Входную дверь открыла немецкая девушка, видимо, предупрежденная о моем приходе. Приветливо улыбаясь, она повела меня по лестнице на верхний этаж, а затем просила меня следовать за ней по коридору, не отличающемуся особой шириной. Девушка показала пальцем на закрытую дверь, откуда доносился глухой отрывистый кашель. Я постучал.

— Ja... ja... — улышал я глубокий голос, а девушка приоткрыла дверь, кивком головы предлагая мне войти. В то же мгновение из дальнего угла комнаты двинулся мне навстречу совершенно незнакомый человек. Но это был Горький: коротко остриженный, с ежиком на голове, с пушистыми под Ницше усами, легко прохваченными седью и закрывавшими весь рот; с впалыми щеками, отчего нос казался более вздернутым, чем был, и открывал широкие ноздри, с большими ушами и общим болезненным выражением хмурого лица с заметно выступавшими скулами, отчего щеки казались более впалыми, чем были.

Передо мною стоял не кто иной, как больной, значительно постаревший — недавняя гордость нашей литературы — всемирно известный писатель Максим Горький.

Вотренил бы я его на улице или где-нибудь в общественном месте, мне и на ум не пришло бы, что это Горький.

Он протянул мне руку и держал мою, пока не усадил меня в глубокое кресло; сам же остался на ногах.

— Скажите откровенно! — вдруг заговорил он. — Вас разбирало любопытство, какой он ныне, этот Горький?

По этим немногим словам можно было легко заключить, что произнесший их никаким иным языком, кроме русского, не владеет, а его «о» до тоски напоминало Волгу, Нижний, Рыбинск и пароходы общества «Самолет».

— Вряд ли это было любопытство, Алексей Максимович! — произнес я, пытаясь встать, так как он упорно оставался на ногах. Он же положил свою длинную руку на мое плечо и легко толкнул меня обратно в кресло.

— Понятно, я отправился к вам не без волнения, — хотел я продолжить начатую мною фразу.

— Ладно... ладно! — вдруг прервал он меня. — Однако же я не сомневаюсь, что приход сюда вы совершили в совершенной тайне и чтобы, не доведи Господи, никто не узнал бы о том, что вы были у меня. Я знаю, как эмиграция относится ко мне... А впрочем, — вдруг изменил он тему разговора, — когда вы оставили Россию?

Я был рад случаю заговорить и при этом осмотреться в новой для меня обстановке. Кое-что, очевидно, было Горькому известно обо мне, вероятно со слов издателя, но я правдиво рассказал ему вкратце о моем уходе из России, когда террор брал меня к пуле чекиста. Легкий стук в дверь прервал мой рассказ. На пороге появилась девушка. На маленьком столике она поставила чай для нас.

— Справный народ эти немцы! — с легким раздражением заговорил Горький. — Казалось бы пустяк, мелочь, ну что уж мудреного в том, чтобы заварить чай по-настоящему, а вот люди же! Как им ни объясни и ни толкуй, они все же подадут чай по-своему. Ведь правда! — с легкой усмешкой взглянул он на меня. На его скулах отразился наш далекий, родной, российский чернозем.

Он предложил мне стакан чаю, взял с письменного стола папку с рукописью, сел в кресло против меня, скользнул немного вниз, как бы желая удобнее усесться, и начал молча перелистывать страницы, изредка прикасаясь губами к стакану с чаем. Он вел себя так, словно был в комнате один. После долгого молчания встал с кресла. Когда же и я попытался встать, он медленно, не торопясь, снова прикосновением к моему плечу заставил меня остаться на месте и пояснил, что ему легче думать вслух, шагая по комнате. При этом его слушатель должен спокойно сидеть.

Горький часто останавливал свой взгляд на мне, как бы желая проверить, достаточно ли внимательно я слушаю его речь. Он говорил ровным тоном, не повышая голоса, заметно по-вожжски «окая». Наблюдателю со стороны могло бы казаться, что усердный учитель в чем-то старательно убеждает ученика. Мой напряженный мозг остро воспринимал тогда все, что говорил Горький. Если бы даже тогда, по возвращении домой, я не закрепил на бумаге его рассуждений, они и ныне не ушли из моей памяти.

\*

— Вот что! — начал Горький, шагая по комнате и произнося слова утомительно одностонно. — Мы — русские... Никакая сила мира не может убить в нас любовь к нашей земле, к нашим лесам, полям, рекам и к нашим бесконечным дорогам... Да по существу никто и не пытается сделать это. Но события у нас дома привели к тому, что при всей неразрывной любви к нашей земле, что мы до последнего вздоха будем носить в нашей груди, мы все же должны были отказаться от многого, что ранее составляло часть нашей жизни, нашего сердца, нашего счастья. Мы должны были отвернуться от многих наших друзей.

Горький кашлянул и, продолжая шагать по комнате, продолжал:

— По моему положению я — независим и ни в какой мере не обязан пред кем-либо отчитываться в моих действиях или в моих политических убеждениях. Я не знаю ни комитета беженцев, ни других политических организаций. Однако же мир знает меня по моим книгам. Пусть он по ним судит обо мне. Но никто не вправе вмешиваться в мою личную или политическую жизнь. Я верил в революцию. Я ждал ее. Я боролся и страдал за нее. Революция пришла. Однако же такие стихийные явления не совершаются по заранее приготовленному рецепту и уж, во всяком случае, далеко не так, как это представляли себе наши революционеры-мещане. Революция это землетрясение, ураган, тайфун. Больно за потоки крови, которые революция потребовала от нашего народа, но это не должно остановить нас на пути к завершению того, во имя чего мы отделились ей. В конце-то концов образуется огромная, свободная и счастливая Россия. В этом я уверен!

Он вновь тихо, в себя, кашлянул, как это иногда делают певцы на открытой сцене, и тем же ровным тоном продолжал:

— Доживу ли я до такой поры, сказать не могу... не знаю. Но вот что! Если бы даже вас и не интересовало мое отношение к революции, то все же не плохо, что вы слышали это из моих собственных уст. Ведь вы-то думаете иначе, а я не намерен переубеждать вас. Вот поэтому-то, — чуть повысив голос и с некоторой теплотой в словах продолжал он, — я против того, чтобы наше издательство печатало ваш роман. Случилось бы это, вы поставили бы себя под двойное освещение. Вы — писатель молодой, но уже с резко очерченной политической, или вернее сказать, контрреволюционной физиономией. Книга же, выпущенная нашим издательством, принесет вам больше горя, чем радости.

При этих словах Горького я, вероятно, сделал какое-то движение, так как он приблизился ко мне и продолжал:

— Пока еще немногие знают, что я веду литературную часть издательства, но это не останется надолго втайне. Вскоре об этом будут шуршать воробьи с крыш. Что же получится? Если вы имеете здесь друзей, то и те будут недоумевать и спрашивать, а почему он понес свою рукопись к Горькому? Стало быть, с ним что-то происходит. Не собирается ли и он «сменить вехи»? А пока что — поосторожнее с ним. Чужая душа потемки! Пойдут такие разговоры о вас. По этим-то соображениям я советовал бы вам взять роман обратно.

Горький встряхнулся, поднял правую руку к голове, видимо, по привычке, чтобы пригладить свои некогда длинные волосы, и опустился в кресло. — А теперь поговорим о романе, — начал он. В его голосе я почувствовал доселе неслышанную теплоту. — Кое-какие мелочи надо бы поправить. Это можно было бы сделать тут же. В общем я приветствую вашу работу, но все же был бы за то, чтобы вы взяли рукопись обратно, разумеется, если вы не собираетесь остаться с нами.

При этих словах Горького я вздрогнул. В них почувствовалась мне щупальцы Москвы. Он, очевидно, заметил мое волнение и продолжал:

— Будем беседовать по-прежнему в полном спокойствии. Вы знаете, что Алексей Николаевич (Толстой) и другие товарищи вскоре возвратятся в Москву. Дело за некоторыми незначительными паспортными формальностями со стороны немецких властей. Помните, что во время одной из бесед с возвращенцами упоминалось и ваше имя, но все высказались в том смысле, что вы слишком увязли в лагере врагов революции, и такое предложение, если бы оно было вам сделано, вызвало только гаветную пыль и шумиху. Так ли это? — спросил меня Горький, слегка дотронувшись рукою до моего колена.

Я пояснил Горькому, что, как и он, я ничем не связан и волен в своих действиях в любом направлении с той лишь разницею, что он — Горький — известен всему миру и его участие в большевистской революции укрепляет ее в глазах иностранцев, которые, возможно, отрицательно отнеслись бы к ней. Мои же действия коснулись бы небольшого круга писателей-эмигрантов. Я отнюдь не отрицаю революции как таковой. После же пятилетней жизни под властью большевиков, с наганом в руке объявивших себя единственно призванными направить развитие революции в удобное им русло, я, понятно, пошел своей дорогой и избрал тернистый, но, в известном смысле, свободный путь эмигранта. О возвращении же в Советскую Россию я и не думаю!

Горький медленно и молча поднялся с кресла, подошел к своему письменному столу и стал перекладывать на нем книги с одной стороны на другую. Он стоял спиною ко мне. Я заметил некоторую сторбленность в его плечах. После долгой тяжелой паузы, он, не оборачиваясь, заговорил:

— Мы не сможем работать вместе. Да если бы вы и вернулись домой, то вряд ли нашли бы там счастье и успокоение.

— А как же наши товарищи, которые вскоре попадут в Россию? Будут ли они счастливы там? — невольно вырвалось у меня.

— Об этом судить не нам и не здесь. Они по доброй воле и в согласии со своей совестью вызвались вернуться домой. А как их жизнь сложится там, покажет близкое будущее, — упавшим голосом закончил он.

Папка с моею рукописью снова очутилась в его руках. Я встал. Он протянул ее мне. Провожая меня до дверей, он держал мою руку в своей холодной и несколько влажной руке.

— Впрочем, я вкоре вернусь на Каэтри. Осенний воздух Берлина неблагоприятно влияет на мое больное легкое, — сказал он, как бы желая округло закончить нашу беседу.

— До свидания, Алексей Максимович!

— Всего доброго! — услышал я в ответ и очутился в коридоре за закрытой дверью.

На остановке трамвая, под светом фонаря, я стал перелистывать рукопись. На некоторых страницах стояли вопросительные знаки, каллиграфически выведенные светло-лиловым карандашом. Изредка попадались перечеркнутые слова, над которыми тем же каллиграфическим почерком Горького были надписаны другие, по мнению писателя, более ярко выражавшие мысль автора. Поправки были весьма незначительны, но свидетельствовали о том, что Горький внимательно читал рукопись от первой и до последней страницы.



Как-то случайно, несколько месяцев спустя, находясь в районе вокзала «Цоо», я зашел в ресторан-автомат, где в ту пору за десять пфеннигов можно было без прислуги получить вкусно приготовленный бутерброд.

У одного из аппаратов я заметил высокую, слегка согбенную, фигуру Горького. Хотел поздороваться с ним, но он, как бы затрудняясь спровадить монету в узкую щель аппарата, приблизился к нему и нагнулся более, чем это было необходимо и так, что поля широкой черной шляпы закрыли его лицо. Я вспомнил, что Глеб Алексеев, молодой писатель, впоследствии вернувшийся в Россию и часто сопровождавший Горького при его появлениях в городе, как-то сказал мне, что Горький любит этот шумный ресторан. В постоянном движении людской массы никто не обращает внимания на него и он легко обслуживает себя без прислуги, для чего ему не хватало знания немецкого языка.

По чрезмерно согнутой спине Горького я тогда понял, что он не хотел моего приветствия и умышленно уклонился от него.

В этом многолюдном берлинском ресторане в районе вокзала «Цоо» я в последний раз в моей жизни встречал бывшую тордость нашей литературы — писателя Максима Горького.

## Воспоминания об отце

Думается, многим из вас приходилось, живя в столичном пригороде, проходить мимо какого-нибудь дома, густо обросшего диким виноградом и плющом, совершенно скрывающим стиль постройки и замысел архитектора. Но когда наступала осень, когда бурные ветры и холода крывали этот летний лиственный ковер, то вы, к удивлению своему, видели какой-то совсем вам незнакомый, иной дом, охватывая вдруг его стиль, раскраску, колонны, головы кариатид и фрамуги окон и ворот... Словом, вы открывали совершенно для вас новый дом и начинали понимать замысел его строителя...

Такое было мое отношение к отцу. В детстве мне были непонятны особенности его мысли, его творчества: я видела в нем только «отца». Но теперь, когда больше полувека отделяет меня от этого времени, и детские воспоминания смел вихрь событий, я начинаю охватывать и понимать своеобразие отца, ему одному свойственную «форму» его мышления, и всё литературное его наследство. Но пусть этой его стороны коснутся другие\*)... Я лично хочу только сказать о том, чего кроме меня уже никто не помнит.

Начну с детства. Летом мы жили в Гунгербурге, на берегу реки Нарвы, в имении, которое называлось «Уголок». Отец наезжал из Петербурга очень часто и всецело отдавался посадке растений в саду, планировке дорожек и раскопке болота, которое по старинным планам шведских времен (имевшимся у архитектора Сутгофа — у него отец купил участок), было местом сильных боёв, когда Петр Первый наступал на Нарву. Болото расчистили, и превратилось оно в пруд, где мне разрешалось кататься на лодке.

Топь по мере расчистки отдавала обратно засосанные ею предметы: большое число черепков — чьих? русских? шведских? — которые отец мой в качестве «memento mori» распорядился расставлять на столах, рядом с обломками железных ядер и очень старой какой-то не то флюгаркой, не то шведским древком от знамени. Те же старые планы Сутгофа указывали нам путь по реке Нарве; там было одно место, разделенное островом, — самое узкое место на реке Нарве: по плану именно оттуда Петр переправил свои войска для штурма Нарвы в 1702 году. На острове был когда-то поставлен в память этого события красивый обелиск, но быстрое течение Нарвы подмывало песчаный берег, и теперь от этого памятника вряд ли что уцелело.

Своим работам в саду «Уголка» отец отдавался всецело. Ритуал был таков:

---

\*) См. статью Георгия Мейера «Неузнанный поэт бессмертия», «Границы» № 41. — Ред.

ежедневно сперва шествовал мой отец с длинной тростью (набалдашник имел вид женской ножки, специально для него отлитой), затем шел садовник Яков Куль с лопатой, тачкой и растениями; затем я — несла палочки с прикрепленными к ним мудреными латинскими надписями. Завершая нашу кильватерную колонну, шел и пятилетний сын нашей кухарки Васька, тоже с палкой.

Отец мой, по-видимому, особенно любил наши незамысловатые разговоры, мои детские вопросы и философствования садовника. Иногда отсылал он нас домой, а сам вынимал из кармана записную книжку и начинал что-то писать. Тут-то и откристаллизовались многие его «Песни из уголка», недаром эти строки оттуда:

Здесь счастлив я, здесь я свободен.

Я счастлив тем, что жизнь прошла . . .

Гостей у нас летом не переводилось. Утром, отбыв уроки с гувернанткой, я шла на море купаться с матерью и гостями. Потом был обед или пикник на лодке, или собиравшие грибы в лесу. Среди всех этих взрослых я была единственным ребенком, но прани между ними и мною ступеньвались, и, благодаря прекрасной моей памяти, сохранилось в ней много осколков прошлого . . .

Помню, как приезжали к нам из местечка Мерреколя живший неподалеку Константин Вальмонт и профессор Кайгородов. Вальмонт привозил свою дочь, которую я почему-то недолюбливала, но Кайгородов, писавший в «Новом Времени» корреспонденции из Лесного о том, что весной «зацвели перелески и запорхали бабочки-капустницы», сумел подойти к детской душе, и не надоедало ему ходить со мной по саду и «объяснять» растения. Под его влиянием стала я собирать мой первый гербарий, коллекции жуков и бабочек.

Особенно четко помню я Владимира Сергеевича Соловьева, который гостил у нас часто, — он был убежденным рыболовом, как и мой отец. Я называла его поэтом с длинной растрепанной шевелюрой (причем это слово я производила не от «cheveux», а от русского «шевелить», так как волосы его всегда пошевеливались от ветра). Сохранилось у меня впечатление о нем, как о человеке скорее веселом, особенно в дамском обществе.

Сестра его, поэтесса Аллепро, была очень необычна: ходила в мужских костюмах и коротко по-мужски остригала волосы.

В дни, когда погода благоприятствовала, нас набиралось полным-полно две лодки. В одной помещались мой отец с Соловьевым, удочки, сети и еда; в другой — всё остальное: самовары, купальные костюмы и тоже еда. Переплыв реку Нарву, мы въезжали в тихую реку Россонь (по преданию выпрыгую крепостными для соединения реки Луи и реки Нарвы), там их лодка и оставалась, а мы двигались дальше на Тихое Озеро. К вечеру тем же путем возвращались обратно, брали на буксир рыболовов, рыб у них было обыкновенно меньше чем мало и, видимо, отец и Соловьев больше отделялись от всех нас, чтобы на свободе обмениваться мыслями о том, что им обоим было близко и дорого, т. е. о религии и философии.

Зимой, когда Соловьев из Москвы наезжал в Петербург, он часто приходил к нам вечером на Николаевскую улицу № 7, тогда прислуге говорилось «никого не принимать», и сидели отец и Соловьев до глубокой ночи на диване под высокой керосиновой лампой с красным абажуром — и говорили, говорили... Мне думается, что «Запробные песни» начали складываться у отца под впечатлением этих бесед с Соловьевым: отзвуки их есть в «Трех разговорах».

Моей обязанностью в эти вечера бесед было в восемь с половиной часов вечера тихонько войти в кабинет и принести клюквенного морса в Гейдельбергских кружках, — ведь отец был доктором философии Гейдельбергского университета...

Вспоминается еще один посетитель «Уголка»: Великий Князь Владимир Александрович. Когда в 1885 году Великий Князь предпринял путешествие по северо-западу России, отец мой, в качестве молодого (48 лет) камер-юнкера и писателя, был прикомандирован к экспедиции; его путевые заметки вылились в очень ценную теперь по собранному материалу книгу «По северо-западу России» (изд. А. Ф. Маркса, Петербург). И вот, когда по какому-то поводу позднее Владимир Александрович осматривал Прибалтийский край, моего отца оповестили, что великий князь посетит «Уголок».

Это было летом. Сразу же начали строить беседку для приема, и так как место было на поре ветреное, то установили на вышке ее эсолову арфу, а занавеси были обшиты колокольчиками — все это гудело и звенело при малейшем ветерке. На потолке была надпись: «Уголок» 16-го мая 1898 года осчастливил посещением Великий Князь Владимир». Для этого случая мой отец написал приветственные стихи, которые я и прочла августейшему гостю без запинки:

Великий, добрый Князь! Я, девочка в испуге,  
Осмелюсь искренно от сердца пожелать,  
Чтобы светило Вам и милой Вам супруге,  
Сынам и дочери Господня благодать.  
Чтоб Вам была легка далекая дорога,  
Чтоб были все пути с небес освещены,  
Чтоб шествовали Вы всегда под лаской Бога  
И в вечной прелести негаснущей весны!

Великий Князь потрепал меня по щеке и сказал: «Молодец, хорошо!»

Когда в 1899 году были Пушкинские торжества, и отец поехал туда представителем от «Правительственного Вестника», он оттуда привез данный ему сыном поэта, Григорием Александровичем Пушкиным, кусок сосны. На визитной карточке стояло, что «Григорий Александрович Пушкин просит Константина Константиновича Случевского принять на память часть сосны, воспетой его отцом». Вверху этой карточки на серебре были выгравированы стихи Пушкина:

На месте том, где в гору подымается дорога,  
Изрытая дождями — три сосны стоят:  
Одна поодаль, две другие друг к дружке близко.

А внизу надпись:

«Часть последней сосны, сломанной бурей в селе Михайловском 5-го мая 1885 года»...



Хочется мне коснуться и того, что сохранила моя память о «Пятницах Случевского» — литературном кружке, собиравшемся по инициативе моего отца у нас на квартире. Эти воспоминания делятся у меня на две части: при жизни моего отца, когда я была девочкой, и после его смерти, когда я уже вошла в кружок полноправным членом (мои стихи печатались в «Новом Времени»). Собрания эти продолжались до революции.

Первые мои воспоминания о «Пятницах Случевского» относятся к моему детству в нашей квартире на Николаевской улице, 7. Принимали в «Пятницах» участие: Зинаида Пиппиус (поразившая мое детское воображение белым своим платьем жрицы и золотым обручем в распущенных волосах), Дмитрий Мережковский, Федор Сологуб, князь Церетелли, Черниговец-Вишневецкий, златокудлый Аполлон Коринфский, граф Голенщцев-Кутузов, старичок Д. Михайловский, князь Касацкий-Ростовский, Венцель-Бенедикт, К. Льдов, Умов, Гофман, Кокковцев, Иван Соколов, В. Шуф, Порфириов, В. Величко, Владимир Лебедев, Константин Фофанов (когда он приходил, меня отсылали спать, так как поэт почти всегда был пьян), Мирра Лохвицкая — с тремя сыновьями, с которой я очень дружила, Федор Фидлер, Павел Вейнберг, Василий Авенариус, Вера Рудич, Минский. Яков Петрович Полонский уже основал тогда свой кружок, но у меня сохранилась написанная им картина, подаренная отцу: его дача где-то по Финляндской железной дороге с кустами бузины и бельем на веревке. Мой брат, лейтенант С., погибший в Цусиме, бывал в нашем кружке редко, так как он со своим другом Колчаком (ставшим известным адмиралом впоследствии), были в дальнем плаваньи. Наезжал тогда из Парижа художник Сергей Соломко, рисовал в «пятничный альбом» свои головки. Кстати, этот альбом по завещанию моего отца передан Петербургской публичной библиотеке. Были там и эскизы к группе «Две волны» шведского скульптора Адамсона, для которого отец написал четверостишие:

Среди неистового воя  
От взбаламученного дна  
Не слышно ль в прохоте прибой  
Как насмерть бьет волну волна?

Дмитрий Мережковский вписал в альбом «Надпись на волшебном амулете»:

Все, что сверху,  
То и внизу,  
Звездыверху,  
Звездывнизу.  
Небоверху,  
Небовнизу.  
Еслипоймешь —  
Благотебе.

Одну зиму кружок Случевского издавал «Словцо» — листок отголосков на политические и другие события. Думаю, что теперь это библиографическая редкость. Видимо, однажды русское общество было взволновано трениями между обер-прокурором Победоносцевым и скопцами; остряк Бенедикт откликнулся на

страницах «Словца» стихотворением о том, что, мол, некоторые люди (намекая на обер-прокурора) соединяют в себе «и мудрость полубя и кротость змия» и кончал так:

Но от таких воздержимся вопросов  
И пусть да славит голубей Победоносцев.

Насколько я помню из разговоров взрослых уже потом, «сверху» намекнули, чтобы листок закрыть...

По совету отца, я приносила на эти собрания мой альбом для автографов. Он сохранялся у меня до нашего бегства из имения на Украине в 1919 году. В эмиграции по свежей памяти я записала все, что вспомнилось.

После 1910 года кружок собирался по очереди у всех членов. Помню одно такое собрание было в Царском Селе в доме Анны Ахматовой и ее мужа, Николая Гумилева. Помню амфиладу комнат и в самом конце ее, в комнате, оклеенной темно-серыми обоями с лиловыми занавесками и мебелью из карельской березы, за круглым столом с зажженной свечкой (другого освещения не было) сидела Анна Ахматова. Кого еще помню из писателей? М. Веселкову-Кильштедт, Наталью Грушко, Анненского-Кривича, Курдюмова, А. Мейснера, Екатерину Галатти, И. Умова, Н. Катанского, Иеронима Ясинского, Марию Левберг, Н. А. Тэффи, Дмитрия Цензора и Уманова-Каплуновского. Кстати, последний в годы первой войны написал в журнале «Столица и Усадьба» статью о «Пятницах Случевского».

Теперь хочу коснуться отношений моего отца к Ивану Сергеевичу Тургеневу, материалы о которых мне случайно попались в руки в 1938 году от принца Макса Саксонского; в его библиотеке в Швейцарии оказался сборник «Звенья» (изд. Москва—Ленинград, 1934, под редакцией Луначарского), у меня — фотокопия с этого сборника.

Для пояснения того, что было для меня в нем интересного, я в двух словах расскажу об эпизоде молодости моего отца.

Мой отец окончил Первый кадетский корпус в Петербурге в 1854 году и вышел в лейб-гвардии Семеновский полк. Военная служба ему была не по сердцу — уже тогда его влекла поэзия. Когда ровно сто лет назад — в 1859 году его первые стихи появились в печати — Аллолон Григорьев восхитился ими, ввел отца к Тургеневу, Некрасову, Анненкову, Дудышкину и писал о нем Фету. Тургенев, легко увлекавшийся молодежью (моему отцу тогда было 22 года), писал о нем Галахову: «Это такой талант, которому Лермонтов не достоин развязать ремешок обуви». Позднее и Соловьев сравнивал моего отца с Лермонтовым. Похвалы Григорьева вызвали оппозицию либеральной прессы, начались нападки на отца, и он, выйдя в отставку, уехал за границу.

Не произошло ли последнее отчасти под влиянием Тургенева, жившего постоянно за границей? Помню, отец рассказывал, что, живя в Петербурге на Гончарной улице, примерно в 1860 году, он устроил у себя вечеринку. На нее были

\*) С. Петербургский градоначальник.

званы Тургенев и Григорьев. Отец, открывая им дверь, слышал барский тенор Тургенева, кончавшего какой-то разговор с Григорьевым: «Да и сам он был какой-то квасной, и пахло от него квасным хлебом. Так-то и всё в России...»

Как бы то ни было, мой отец сперва поехал в Берлинский университет, потом в Сорбоннский, но осел в Гейдельберге, где и получил в 1865 году степень доктора философии. Думаю, влекли его в Гейдельберг два обстоятельства: едучи на пароходе из Петербурга в Штеттин, он познакомился и влюбился в очаровательную разведенную мадам Рашетт, лет на восемь старше его. Она жила в Баден-Бадене; там же жил и Тургенев. Когда после «Отцов и детей» посыпались упреки русской молодежи, что Тургенев далёк от России, вовсе не знает русской молодежи — группа русских гейдельбергских студентов выбрала моего отца как делегата, чтобы передать Тургеньеву протест русской молодежи. На это Тургенев ответил (14 апреля 1862 года) письмом моему отцу («Московский рабочий», 1955 год, страница 653) и видимо с того времени выбрал моего отца как мостик к русскому студенчеству и всячески поддерживал с ним отношения. Роман моего отца с мадам Рашетт, с которой Тургенев познакомился, тоже интересовал Тургенева, и все переписки их осор, схождения, объяснений находили живейший отклик в его письмах, напечатанных в «Звеньях»: «Как поживает ваш верный Амадис Галльский?» — спрашивал ее Тургенев, — «Как ваш гейдельбергский пленец?», «Как юный поэт?»

Но опытная мадам Рашетт, видимо, держала «юного поэта» для приманки «старого» поэта, то есть самого Тургенева. Ее письмо к нему с объяснениями не сохранилось в «Звеньях», но есть ответ Тургенева к ней на это письмо (1869 год). Она, видимо, излила ему свои чувства, но Тургенев, зная крутой нрав мадам Виардо, испугался; к тому же, к этому времени роман моего отца и мадам Рашетт кончился и, возможно, в угоду ей — случайно или нет — Тургенев вывел отца, как легкомысленного Ворошилова в «Дяде» (архив Виардо). Дальше есть в «Звеньях» письмо Достоевского к Тургеньеву (1874, Эмс), который тоже знал о романе юного поэта; он пишет: «Сегодня в парке видел Случевского, он смиренно гулял с женой и двумя детьми». Одна из этих «детей» — Ольга — потом училась в школе с дочерью Достоевского — Любовью, и эта Люба была первым увлечением моего брата, морского кадетика, будущего лейтенанта С.

Были у моего отца к концу его жизни искания духовные. Он часто ездил в Кронштадт и на его письменном столе стоял портрет о. Иоанна Кронштадтского с надписью.

Вот что вспомнилось мне из далекого детства. Это лишь осколки от чего-то большого, от того, что называется жизнью. Но жизнь не кончается здесь с физической смертью. Она продолжается там. В это глубоко верил мой отец, этой уверенностью полны его «Загробные песни». И хотя статья Г. А. Мейера и называлась «Неузнанный поэт бессмертия», мне кажется это не совсем так, и вот почему. Если еще теперь, после полувека со дня смерти отца, есть люди, познавшие отзвуки его мыслей, — он не неузнан. И много, много потом, когда нас сменят другие поколения, когда придут другие времена — эти его мысли, как маяки в ночи, будут указывать путь *ищущему и познающему*.

## *Загробные песни*

*Мой «Дневник» аналогий, тождеств, параллелей, оставленный в столе.*

*В 1797 г. Филипп Лебон во Франции изобрел светильный газ; не «поверили» лампе без светильни и только в 1805 г. в Англии его применили.*

1

По ребру, по челюсти в палеонтологии  
Остыв и исчезнувших гад восстанавливаются!  
Главарями знания, каждым так иль иначе,  
Бытия минувшие к свету вызываются.  
Нет у вас возможности знаньем человеческим,  
Проходящим медленно старую рутиную,  
В полной несомненности, чистою и ясною,  
Нашу жизнь загробную точной датъ картиною.  
Нет! Но есть возможности, — правда очень малые:  
Сходства, обобщения, помощь аналогии.  
Нечто в сердце, в помысле, в чаяньи, в прозрении —  
Так как это делают в палеонтологии.

2

Не существующее нужно признавать!  
Вот — хоть бы числа! Их нигде не отыскать,  
Нигде нет их семян и гнезд их не найти —  
Но людям нет без них разумного пути.  
Букв в наших азбуках немного — можно счесть,  
Но сочетаньям их границы не обрести!  
И необъятности всех языков людских  
В двух-трех десятках букв и только, только в них . . .  
Публикуются впервые. — Р е д.

## 3

Все отправления мозга «душою» зовут!  
 Как отправлению, корня лишенному, жить?  
 Этой возможности мудрые не признают,  
 В этом сокрытие истины «быть иль не быть».  
 Всюду растения возрастают: на мочках корней,  
 В почве и в воздухе черпают плоть и черты,  
 В данные сроки — и только на несколько дней —  
 Цветом цветут и потом обсыпают листья.  
 Дух человека на корне, но извне берет  
 Смысл и порядок, устойчивость сил бытия!  
 В этом бессмертье! пусть дух, как растение умрет,  
 Но сохранится, что извне воспринял он: — «Я»!  
 Не из эфира иль света иль влаги земной  
 Черпает дух настроения творческих дум;  
 Не из химических сил, цифр и выкладок строй:  
 Извне внедряется то, чем бессмертен наш ум.  
 Пусть разрушается мозг и сгниет человек —  
 Все что бессмертного взял он, пребудет таким,  
 Мозгом рожденное «Я» не погибнет вовек . . .  
 Явленный тленем, ты, мысливший, несокрушим!

## 4

*В отрицании существования своего, человек представляет все-таки «себя».*  
*(Филарет, арх. Черниговский П. Д. Б.)*

Тайна рожденья кристалла — великая тайна!  
 Всякие в мире концы и начала — все тайны!  
 Если бы все основанья, причины, условия  
 Дружной работы, дающей начало кристаллу —  
 Голос имели и их волпросить было можно:  
 «Знаете ль вы, что вы сложитесь в формы когда-то,  
 Станете тверды, прозрачны и солнца лучи отразите?»  
 Все они даже понять не могли бы вопроса,  
 Как это: чем-то, неведомым им, — они будут.

\* \*  
 \*

Люди — основы, условия, причины бессмертья!  
 Не было в мире бессмертья — откуда бессмертию взятся!  
 Глянул, однако, кристалл; жизнь загробная глянет  
 Полным начальных основ и причин — отрицаньем.  
 Если науки гласят, что бессмертье «возможность», —  
 «Необходимость» вещает им логика мысли . . .  
 Если ни то, ни другое, жизнь — сказка безумья,  
 Глухой пролог к воцаренью глупейшей Нирваны!

## 5

Знают, все знают, что солнечный спектр семицветный,  
 Что в этом спектре есть черные полосы линий;  
 Вздумал ли кто отрицать семь цветов потому лишь,  
 Что неустойчива грань: тут зеленый, тут синий?

## 6

Светится радий, сквозь всё проникая лучами;  
 Своеобразна электропроводность селена;  
 Нет им — подобных, являются особняками.  
 А почему? ваши знания — брожение, пена,  
 Тьма, толчея! Нет ответов на всё у людей.  
 Так и с людскою душой; одинока в твореньи,  
 Ей особнячество — в тайне ее назначенья,  
 Ей исключительность в смысле сокрытых путей . . .  
 Вы, кто живете в тревоге и жажде исканья,  
 К правде ведет вас, но в вас не всеильна наука.  
 Нет исчезаний и смерть лишь мираж исчезанья.  
 В вечном развитии форм — новой формы порука.  
 Если бы личная смерть полный круг завершала —  
 Сам бы собой страшный вопрос возникал:  
 В чем же задачи развития всего, от начала?  
 Мудрость, расчеты, системы — а вывод: провал!

## 7

Толкуют, будто с истеченьем сроков  
 Все тело смертного почти обновлено  
 В крови и мышцах, в лимфе, — нервах, жилах,  
 Совсем почти иным является оно!

Но если дух произведение плоти,  
 То надобно признать — и мысль та хороша —  
 Что в некий срок, без всяких исключений  
 В нас образуется и новая душа.

А где же те старушки, те отбросы  
 Тех, живших в людях душ, тех бедных отставных?  
 Быть может есть особенные склады?  
 Иль вовсе нет следов от выпадений их?

И как понять преемственность и стойкость  
 Несокрушимых душ тех главарей людских,  
 Что много раз свое меняли тело —  
 Но не меняли чувств, надежд и дум своих?

Чем скреплена преемственность сознания?  
 Кто не меняется: их мозг или мозжечок?  
 Дух вне закона, вне возобновлений!  
 Возобновление тем душам невдомек.

## 8

*Луч Рентгена проходит сквозь твердые тела.*

Сквозь звуковую волну совершенно свободно,  
 Ей не мешая нимало, луч света проходит;  
 Так же сквозь луч световой проникают и звуки!  
 Мысли ж проходят сквозь все — сквозь лучи

и сквозь звуки.

Им не столкнуться! Возможно для них совмещенье.  
 Нет им препон, а стремление их — исполненье.  
 Мест им не надо, одни сквозь других проникают.  
 Сами собой остаются и личные души.  
 Так же, как луч или звук, или мысль человека.  
 Только они, отрешенные — тоньше чем мысли!  
 Мест им не надо, возможно для них совмещенье.

## 10

Не существует «мнимых величин»!  
 Но невозможное становится возможным:  
 Их можно взять в расчет, от них пойдет почин  
 К большим задачам и решеньям сложным.

Не существующей как бы величиной  
 Наш мозг орудует и, одолав вычисленья,  
 Он властно действует и ставит над землей,  
 Как диво техники, свои сооруженья.  
 «Ничто» орудует? Возможно ли понять,  
 Чтобы «ничто» участвовало в деле?!  
 Уж ежели «ничто» способно плотью стать,  
 Так что ж с вопросом о душе и теле?  
 Но мысль людей свободна и дерзка —  
 Так Вот велел! Она быть дерзкой вправе.  
 Ответов не дает на многое пока,  
 Но будут чудеса, придут и станут въяве.  
 Сумеют люди вскрыть причинности добра,  
 Зло расчленият и в нем паи отметят . . .  
 Мы в полночи теперь, далеко до утра.  
 В нас только проблески сознания слабо светят.

## 11

*Христос вошел при закрытых дверях.*

*(Иоанн 20, 19)*

Я из апостола яркий эпиграф поставил.  
Думая иначе, к той же идее пришли мы.  
Люди иные. Две тысячи лет расстоянья,  
Время иное и вдруг — те же самые мысли?!

Значит, им было в чем шествовать! Шли не в  
пустотах,  
Значит, на этих путях есть недвижимые цели,  
Некие области, сферы не наши, иные, —  
Вне естества; незнакомое, тайное что-то.

В них пробегают пути наших мыслей. Мне скажут:  
Нет этих сфер, и путей, по ним проходящих.  
Мысль, из себя развиваясь, сама ставит цели,  
Сферу сама создает, в ней пути пролагает.

Но отчего же тогда эти странные встречи  
Путников разных времен и различных воззрений?  
Все они «держат руля» к маякам бестелесным —  
Значит, стоят маяки и круги освещают!

. . . . .

## 14

Не матерьяльны искания логики.  
Не матерьяльны учения этики.  
Смысл философии, суть педагогики.  
Чаянья веры, задачи эстетики.

Не матерьяльны порывы душевные,  
Страсти Спасителя в римской претории,  
Мелочи жизни людей злободневные —  
— Нить путеводная общей истории.



Больше бесплотного в вас, чем материи,  
 Не матерьяльным вы все окружаетесь,  
 Жизнь ваша — драма великой мистерии  
 Духа, а в духе самом сомневаетесь?

*Телесное естество. Где оно присуще и действует мысленно, а не объясняясь телесно или подобно телам. — Ибо оно не имеет вида, чтобы быть объято телесно.*  
 (Иоанн Дамаскин)

Ежели дух матерьялен во мне, он не мог бы  
 Мысль о мирах необъятных вдруг сразу вместить.  
 Ежели не матерьялен, то все-таки нужно  
 Некое «что-то», чтоб матерьяльности быть.  
 Есть в нашей жизни явление вне трех измерений,  
 Вне тяготений! Не дух и не плоть; дело в том,  
 Нужно иль нет призывать всемогущество тленья?  
 Бог всемогущ! Два могущества в мире одном!?  
 Это смешно и по логике прямо нелепость!  
 Если не так, то обязан я вправду признать,  
 Что доказательств отсутствие — не отрицанье;  
 Мало ли что нам придется в грядущем узнать?

## 16

По арифметике я цифры создаю  
 И, при посредстве их, как бы в мирах сную.  
 Когда бы сам я мог стремиться цифрам вслед,  
 Что значили бы мне пространства, сонмы лет?!  
 За неизвестностью признав особый знак,  
 Я букву «х» ввожу в расчет и так, и так;  
 Все свойства выкладок — не будут ли оне  
 Присвоены и нам в загробной тишине?  
 Повсюду проникать мгновенно без препон;  
 Быть правдой, творчеством, вмещать в себе закон.  
 Все эти свойства цифр, все эти силы их  
 Предстанут свойствам душ, в былые дни живых,  
 Желать, уметь и сметь повсюду проникать,  
 При этом чувствовать и — непременно — знать!

## 17

Тайны в мире всюду, всюду:  
В каждом сне, в любом движеньи.  
Отчего ж вопросам духа  
Оставаться в исключеньи?

Тайны, в сущности, не страшны.  
В них для смертного заданье.  
Жизнь — то азбука большая,  
Буква первая в ней: знанье.

Мы теперь на первых буквах,  
Но займемся и слогами,  
Одолеем вся трудность  
Очень сильными умами.

Ум растет по поколениям,  
До Корана были Веды . . .  
Что теперь в сравненьи с нами  
Все бывлые Архимеды?

## 18

*В природе есть ум.  
(Эрстедт)*

Цифрам, бессмертным началам дано воплощаться  
В мысль человека, и только в него одного.  
Все остальное назначено в прах возвращаться  
И начинать от начала, почти с ничего.

Цифры бессмертны, бессмертно и духа развитие  
В дальних путях, не известных пока никому.  
Прочим всем тварям запрет! Ни к чему челобитье  
Их о душе. Им бессмертие не по уму.

Если вмещенное в мозг наш нетленно и вечно,  
Значит вместивший сосуд в существе изменен.  
Пусть он непрочен и пусть бытие скоротечно.  
«Я» загорелось навек! Смерть ему не закон.

## 19

Какая бедность представленья,  
Чтоб в мирозданьи быть могли  
Лишь всем известные движенья,  
Лишь свойства газов и земли.

В беспутнейшем из свойств мышленья  
 В игре фантазии людей  
 Порой свершаются явленья  
 Вне всяких правил и статей.

В них плоти нет, они без формы,  
 Никто другой не видит их;  
 Не признаются ими нормы  
 Всех счетов, мер и сил земных.

А между тем они витают,  
 На почве мозга в рост идут,  
 Порой всесильными бывают  
 И человека на смерть бьют.

И разве в этом не общенье  
 Души и плоти, без препон  
 Бессмертное прикосновенье,  
 Сродство их . . . это ль не закон?!

Скончавшийся и тот, что жив —  
 То светопись и негатив.  
 Живущий там, умерший тут  
 Как отрицание живут.

. . . . .

## 21

Рекут: не может это быть  
 От плоти душу отделить!  
 Куда уйдет? Где ей блуждать?  
 Ведь мирозданью не терять  
 Иоты! В нем круговорот  
 Материи и полный счет  
 Всех атомов! тьмы тёмь бацилл  
 Являются во тьме могил,  
 Сгнив, клеточки дают ростки;  
 Красивей прочих мотыльки —  
 Кладут яички . . . кокон! . . гроб!  
 Смерть . . . Снова клеточки всех проб.  
 Не родилась такая власть  
 Из мира что-нибудь украсть.  
 Весь этот вздор не ставьте в строку,  
 Из-за дерев не виден лес.

Чтó электрическому току  
 Мошь тяготения и вес?!  
 Так отчето ж вьне тяготенья  
 Душе свободной не витать?  
 В том нет совсем нововведенья —  
 Пример в науке можно взять.  
 Так, говорят, гласит наука,  
 Что теплота земли уйдет;  
 Земля, окоченев, ни звука  
 Не даст и обратится в лед.  
 Чтó, если в том окочененьи  
 Отбытье душ людских признать!  
 Тепло уходит из творенья . . .  
 Частиц чего-то не сыскать,  
 Все эти доводы людского  
 Наукой гордого ума —  
 То старого, полуслеплого  
 Больного нищего сума.  
 Сумы никто не отрицает,  
 Кой-что удержится и в ней.  
 Тот, кто науку убивает,  
 Тот против Бога и людей . . .  
 Наш ум — то посох наш в дороге,  
 Ум и сомненье — всё одно,  
 И сомневаться даже в Боге  
 Святое право нам дано.  
 Нет правды, если нет сомнений.  
 В них не стрихнин, не сулема,  
 И разве Бог боится мнений  
 Им сотворенного ума?  
 Но для наук как будто стыдно  
 Бессмертья душ не допускать.  
 Оно и в них так очевидно  
 Для всех, кто хочет увидать.

Помнится мне, будто часто меня вопрошали:  
 «Есть ли права у земли быть единой избранной  
 В тысячах звезд, чтоб бессмертные люди  
 взростали  
 Только на ней лишь излюбленно-обетованной?  
 Что за особые, данные ей лишь права?  
 А почему же не жить на бессчетных  
 планетах

Людам бессмертным, как мы?» То пустые  
 слова  
 И разобраться не трудно в толковых  
 ответах.

\* \*  
 \*

А почему же земле не являть исключенья  
 И по заданью не быть среди планет одиночкой?  
 И не наука ль нашла, не ее ли ученье:  
 Плазма ядром снабжена, животворною точкой.  
 Точка — земля! Плазма — мир! Отпадет, будет время . . .  
 Точка из точки в той плазме бессмертью явится!  
 Люди, все люди, не только Израиля племя,  
 Мощный очаг, чтобы слову Писания сбыться.  
 Много есть солнц и при них, как и наша, система,  
 Есть может быть и другие избранники Бога, —  
 Только иная судьба их, иного развития схема,  
 Так же намечена цель, но другая дорога.  
 Есть в них другие, к бессмертью способные точки,  
 Есть, может быть, чудодейные богоявления;  
 Прахом рассыплются, давши свой плод оболочке.  
 Дальше что будет — не дело людского мышленья . . .

## 24

Дух отлетает! Вот если б в окно!  
 Было бы просто и ясно оно.  
 Можно б, пожалуй, увидеть, схватить!  
 То-то б мы стали уверенно жить.  
 Численных выкладок тоже нельзя  
 Видеть, схватить! Где-то, как-то, скользя,  
 Силой полны, бестелесно вершат  
 И материальное в мире творят.  
 Вовсе не так уже просто сказать:  
 «Глупо бессмертие вам сочинять.  
 Жизни и смерти задача проста:  
 Нет их обеих, а есть суета.  
 Было вот что-то, и нет ничего.  
 Только и есть что одно естество.  
 В вечном брожении начал и концов,  
 В странствиях люлек людских и гробов»  
 Но так или иначе надо признать:  
 Численных выкладок в проб не волнать.  
 Видеть нельзя их, и снить им нельзя;  
 Значит дана им другая стезя!  
 Знать, естество их иное совсем:  
 Плоть логарифмов, корней, теорем  
 Вне тяготенья, вне правды земной . . .  
 Что если то же и с нашей душой?

# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

## Письмо о поэзии П. Востокова

В редакцию нашего журнала поступило письмо из страны, находящейся по ту сторону черты, которая якобы разделяет в наши дни мир на разные лагеря. Подписано оно: Сергей Хмельницкий.

Автор письма откликается на вступление Николая Авдеевича Оцуца, предпосланное им к циклу стихов П. Востокова «Из пережитого» («Грани» № 39).

Редакция горячо и сердечно приветствует письмо Сергея Хмельницкого. Затрагивая чисто литературные вопросы, автор высказывает при этом взгляды на искусство, очень близкие по духу нашему журналу. Для С. Хмельницкого мировоззрение П. Востокова, основанное «на вере в торжество Духа над материей, на вере в то, что начало добра живо в каждом человеке» именно и требует той предельно простой «спокойной, неназойливой выразительности», которую Николай Авдеевич определил как «подчас бедную».

Стихи П. Востокова вызвали многочисленные отклики в среде читателей, которые можно разделить на две основных группы: первая, среди которой находились главным образом поэты, ставила редакции «Граней» в вину, что она подменяет поэзию «философией» и «документами нашего времени». Вторая группа увидела в стихах П. Востокова духовный свет, прозрачность души и чистый ум. Для таких читателей его поэтическая форма не имеет самодовлеющего смысла.

Автор письма Сергей Хмельницкий выражает скорее вторую точку зрения. Христианское мировоззрение П. Востокова само уже обуславливает, по его мнению, скромность, простоту и спокойствие внешних форм поэзии, чуждых «какой бы то ни было искусственности».

Письмо Сергея Хмельницкого — драгоценное для нас подтверждение, что чувства и мировоззрение П. Востокова находят отклик и по другую сторону разделяющей нас всех внешней черты.

Кроме этого, письмо поднимает важную проблему, предлагая всерьез задуматься о содержании, форме, мировоззрении и взаимоотношениях всех этих элементов в настоящем и будущем русском искусстве.

Вот полный текст этого письма:

Многоуважаемый господин редактор!

В журнале «Грани» напечатаны замечательные стихотворения П. Востокова, которым предпослана аналитико-критическая статья покойного уже ныне Н. А. Оцуца. С некоторыми положениями этой статьи трудно согласиться в свете изу-

чения поэтического наследия, оставленного нам предыдущими поколениями отечественных поэтов. Касается это, прежде всего, понятия мастерства, которому Н. А. Оцуп придает в деле стихотворчества преувеличенное значение, требуя принадлежности поэта к определенной литературной школе, прохождения им ее «классов» хотя бы лишь «в период первых юношеских дерзаний» для признания права поэта на то, чтобы его произведения были причислены к осененным благодатью «высокой поэтической культуры». Для тех, кто внимательно следил за развитием русской поэтики XX века, совершенно ясно, что понятие «школа» в ней в применении к наиболее талантливым ее представителям отличалось у нас большой искусственностью (сколько, например, насквозь символических стихов у Гумилева и сколько «кларизма» во многих стихах Брюсова!). Скорее можно согласиться с Г. Ивановым, заявившим некогда, что «акмеизм не что иное, как поэтическое мировоззрение». Поэтических школ, которые педантично учили бы, как надо писать, каких тем касаться, какими рифмами пользоваться, какие размеры предпочитать, у нас по существу не было; были различные поэтические мировоззрения, отличавшиеся от школ несравнимо большей широтой. Поэтому и символисты, и акмеисты могли включать в свои ряды поэтов как пользующихся крайне вытесненными оборотами, бережно выбирающих рифмы, так и небрежных в отношении рифм, поэтичность своих строф строивших не на особо выразительных прилагательных, а на возможно более простых и, так сказать, общедоступных словах. И это понятно, ибо люди одного и того же мировоззрения могут обращаться к разным слоям своих современников, могут и сами принадлежать к разным общественным группам, что и определяет нередко особенности их поэтики.

Мировоззрение П. Востокова ясно видно из опубликованных в «Гранях» его стихотворений. Это мировоззрение основано на вере в торжество Духа над материей, на вере в то, что начало добра живо в каждом человеке. Высшей добродетелью капехизис этого мировоззрения признает любовь, в наиболее христианском, бесплотном, или лучше сказать неплотском значении этого слова, ту любовь, которая «не ждет, не требует, не просит, и в помощь радостно идет».

Это ясное, светлое мировоззрение требует такого же сочетания слов, чуждого какому бы то ни было искусственности, далекого от всякого рода «изысков». Минимая «невъязимость» прилагательных в стихах П. Востокова обусловлена этим требованием. На самом деле они — эти прилагательные — полны спокойной, неназойливой выразительности. Следует не забывать помимо этого, что от стихотворений Востокова нельзя и ожидать «доработанности» «до конца» хотя бы уже потому, что они во время своего создания не предназначались для чуждого слуха или глаза, они создавались их автором только для самого себя. Это не более как своеобразный дневник, наскоро занесенные на бумагу наблюдения ума и заметы сердца. Отсюда отсутствие нарочитой заботливости о «средствах выражения». И если эти последние все же стоят на большой высоте, то это обстоятельство следует красной чертой подчеркнуть в активе автора.

Что касается упрека в злоупотреблении глагольными рифмами, то их у П. Востокова ничуть не больше, чем у таких «мэтров» как Федор Соколов или Блок. Знаменитые соколовские «Чёртовы качели», например, кишат ими: смеется — гнется — трется, качается — мотается — старается, бросит — скосит, дерется — подвернется. В небольшом стихотворении Блока, начинающемся строчкой «Превратила все в шутку сначала», находим рифмы: укорять — вытирать, хохотала — зарыдала, обернулась — повернулась. И оба эти стихотворения — и Соколова, и Блока — не стали менее выразительными, менее доходчивыми вследствие присутствия в них глагольных рифм. То же можно сказать и о стихотворениях

П. Востокова. Относительно же «приблизительности» рифм П. Востокова далеко позади оставляют весьма многие русские поэты, и прежде всего, Маяковский, рифмующий в «Стихах о советском плагиате», например, «бюрократизм» и «кались», «задаром вам» и «жандарма».

С совершенным уважением,

Сергей Хмельницкий

*Николай Авдеевич Оцуп, которому по сути принадлежало бы право ответить Сергею Хмельницкому, скоропостижно скончался 28 декабря 1958 г. Следует сказать, что его статьи, глубокие, искренние и предельно живые, всегда вызывали особенный отклик. Например, статья о творчестве М. Шолохова («Грани» № 30), прочитанная одним из советских читателей, получила следующую краткую характеристику: «Это лучшее, что я читал в своей жизни о Шолохове».*

Николая Авдеевича, к нашему великому горю, с нами нет. И это побуждает редакцию хоть в какой-то мере, но перенять на себя ответ Сергею Хмельницкому, подчеркнув те места во вступлении Н. Оцупа, на которые автор письма, пожалуй, не обратил должного внимания. Говоря о значении литературной школы для начинающего поэта, Н. Оцуп тут же пишет дальше: «Но... поэтами рождаются. Великая польза чисто литературной выучки не важнее дара природного. Этот дар у П. Востокова налицо. ... Да, средства выражения у П. Востокова подчас бедны, и все же это — истинная поэзия, несущая в себе все элементы того, что ценнее всего в наши дни... Он поэт в том большом, самом истинном смысле слова, в каком был и Франциск Ассизский или князь Мышкин. ... Он наивен, по-детски беспомощен, но сколько мощи в его всепрощении!»

Эти мысли показывают, что принципиального расхождения в мнениях Сергея Хмельницкого и Николая Оцупа нет. Но важность поднятого спора остается. Лагерь людей, считающих, что не существует поэзии без внешнего мастерства и виртуозности формы — не малочислен.

✱

Создался некий духовный круг между этими тремя людьми: П. Востоковым, Н. Оцупом и С. Хмельницким. Поэтому мы считаем возможным здесь же поместить стихотворение П. Востокова, написанное им на смерть Николая Авдеевича Оцупа. Строки письма, сопутствующие это стихотворение, гласят: «Посылаю мои стихи на кончину незабвенного и неоценимого нашего Николая Авдеевича. В их тяжеловесности вся тяжесть невозместимой и неизгладимой потери...»

#### НА СМЕРТЬ Н. А. ОЦУПА

Вся полнота земного постиженья,  
Рисунок тонкий фраз, идей и чувств.  
О, сколько слов, герольдов вдохновенья,  
Мы из пророческих Твоих слышали уст.

Нет средств, чтоб выразить всю глубину потери,  
И скорби нет ни меры, ни конца.

Но в мире новом — чувствую и верю —  
Нас озарит свет яркий Твоего лица.

5 февраля 1959 года



## Украинская поэзия нашей эпохи

1

Говоря о потерях, причиненных коммунистической властью литературе, обыкновенно ограничиваются списком имен погибших. Список этот сам по себе достаточно красноречив как своей длиной, так и обилием крупных имен, которыми он песятит. Но не всегда писатели, погубленные режимом, успели достигнуть заслуженной ими известности. В русской литературе, мы, например, ничего не знаем о судьбе Тихона Чурилина, Владимира Нарбута, Григория Петникова, Алексея Ганина и многих других, пропускаемых даже внимательнейшими историками литературы.

Еще меньше русский читатель знаком с погибшими писателями других народов СССР. Часто до него не доходят имена даже тех из них, которые прославились среди своих соотечественников. Встречая в списке погибших незнакомую фамилию, читатель склонен думать, что речь идет о второстепенном писателе. На самом же деле, он часто бывает крупным деятелем мало нам известной литературы.

Чтобы хоть отчасти заполнить этот пробел, я попытаюсь дать краткий обзор развитая украинской поэзии, необходимый для понимания места и деятельности отдельных авторов, многие из которых погибли физически или морально. В то же время, этот очерк поможет любителям поэзии открыть новую, им в большинстве случаев неведомую область, увлекательную по своему богатству и красоте.

Меньше чем за полстолетия украинцы создали из малороссийского диалекта, на котором говорили, главным образом, крестьяне, высококультурный, выразительный и богатый язык, отвечающий всем требованиям современности.

Несомненно, русский ренессанс начала века отозвался благотворно также и на развитии культуры всех остальных народов России. Некоторые из крупных современных украинских писателей — Филипович, Июгансен, А. Крымский, бывший профессор арабской и персидской литературы в Лазаревском институте в Москве, вначале писали и печатались по-русски. Известны также случаи великороссов, поддавшихся притяжению зарождающейся украинской стихии. Так, Владимир Николаевич Державин, уроженец Петербурга, приехавший на Украину уже взрослым, освоился с языком и стал одним из влиятельнейших украинских литературных критиков.

Полнее и ярче всего молодая украинская культура проявила себя в поэзии.

Галичанин Иван Франко (1856—1916), человек энциклопедической культуры, многосторонний ученый, писатель и общественный деятель, был пионером во

многих областях. Вначале его поэзия была не лишена провинциальной тенденциозности. Но в своих зрелых книгах: «Увядшие листья» (1896), «Мой изумруд» (1898), «Semper tigr» (1906) и в поэме «Моисей» (1905) он достиг высокого художественного и стилистического совершенства. Он охотно прибегал к самым сложным и трудным формам, например, к сонету или терцине. По содержанию тоже его поэзия весьма разнообразна. Она идет от лирического излияния, навеянного фольклорными мотивами, до полуэпического пересказа легенд экзотических народов. Франко сознавал недюжинность своей личности, и многие его произведения выражают законное чувство гордости человека из народа, своими силами и дарованием достигнувшего влиятельного положения в обществе. Но, будучи глубоко человеческим, он с неподдельной искренностью и мужеством сознается в своих слабостях и ошибках. Он жалуется на одиночество среди поколения, не сумевшего понять его замыслы, далеко уходящие в будущее. Это соединение сознания своей силы с признанием своего человеческого несовершенства и падений придает его поэзии, как и всей его личности, трудно преодолимое обаяние.

Не сразу освободилась от тенденциозности и несколько старомодной субъективности и Лесь Украинка (псевдоним Ларисы Косач, 1871—1913). Происходя из высокообразованной семьи, она с раннего детства впитала в себя все лучшее из европейской культуры и на всю жизнь осталась органически связанной с ее образами. Эта постоянная поприженность в мир творчества проявилась, например, в таком прекрасном стихотворении, как «Забытая тень», в котором поэт вспоминает о судьбе жены Данте, несправедливо отвергнутой потомством и забытой самим автором «Божественной комедии».

Интересны также стихи, написанные Лесей под впечатлением экзотической южной природы во время ее вынужденного болезнью продолжительного пребывания в Крыму, на Кавказе и в Египте. Новизна и непосредственность восприятия дает ее описаниям свободную от всякой шаблонности неожиданность, яркость и точность. Вот, например, Хамсин.

Ядєсь весілля дикє! Мов сопілка,  
Співа пісок, зірвавшись зєнацькє  
З важкої нерухомості своєї,  
А камінці на бубнах пригають.

(Какое дикое веселье! Как флейта поет песок, вырвавшись внезапно из тяжелой неподвижности своей, а камешки подпрыгивают как на бубнах).

Наиболее значительны драматические поэмы на античные и средневековые сюжеты, написанные в последний период ее жизни. «Лесная пьеса» (1911) навеяна фольклором. Лирическая насыщенность пьесы не ослабляет ее драматической напряженности. Она пронизана глубоким чувством природы и связанных с нею таинственных народных легенд. «Каменный поэт» (1912) и «Орфия» (1913) суше, заостреннее, богаче четкими репликами блестящего диалога. В них чувствуется устремленность к прозе, переходу к которой помешала преждевременная кончина Леси Украинки.

Расцвет новой украинской литературы начался к концу Первой мировой войны и был ликвидирован в 1934 году, с провозглашением обязательности социализма, когда всех литераторов заставили вступить в Союз советских писателей. Большинство украинских поэтов тогда и полюбил, хотя кое-кто и вырвался за

границу. Уцелели только те, кто согласился на рабское подчинение всем партийным капризам ценой полного отказа от самого себя.

Эти последние стали партийными сановниками, увеселили себя бесславными орденами, удостоились всяких привилегий и синекур, но почти все ими опубликованное после нивелировки, лишено всякого литературного интереса.

Крупнейший из поэтов этого поколения — Павло Тычина (род. в 1891 г.). У него были задатки поэта мирового масштаба. Человек сложной и тонкой душевной организации, он обуреваем стихией музыки. Он долго колебался между ней и поэзией. Еще на школьной скамье, управляя хором Черниговской семинарии, он прославил его на всю округу. В самые тяжелые времена после революции, в голод и нужду, он сохранял на своей марше рояль ценой суровых материальных лишений.

Его первая книга «Солнечные кларнеты» создала эпоху (1918). Ее огромный звуковой регистр идет от непосредственной цельности народной песни до сложных и смелых модернистических свободных ритмов:

«Бог засіває.  
Падають  
Зерна  
Кришталевої музики,  
З глибини вічності падають зерна  
В душу.  
І там, в озері душі,  
Над яким у недосяжній високості  
вьються голуби-молилки,  
Там  
У повнозвучнім озері акордами розцвітають,  
Натхненними, як очі предків».

(Бог сеет. Падают зерна кристальной музыки. Из глубины вечности падают зерна в душу. И там, в озере души, над которым, в недостижимой высоте вьются голуби-молилки, там в полнозвучном озере они расцветают аккордами, вдохновенными, как очи предков.)

Здесь — ничего от «недоброй тяжести земной» — только переливчатая игра легкой акварели и чутких мелодий, свет и воздух, ветер и солнце, свежая зелень, цветы и облака, причудливо переплетающиеся в фантастических образах, рождаемых юношеской мечтательностью поэта о любви, Боге и свободе. И в то же время этот мир отражает подлинные духовные ценности.

Но уже в следующей его книге «Плуг» (1920) показывается кровь. В России восторжествовала Октябрьская революция. Как ни далек Тычина от политики по всему своему душевному складу, ему не удалось остаться в стороне от событий. Он тяжело переживает трагизм и путанность своей личности в историю помимо и даже против его воли, не имея возможности отмежеваться от происходящих в ней ужасов и жестокостей. Но он жалуется не на события, а на самого себя: «Жорсткий естетизме! — й коли ты перестанеш любовати с перерізаного горла?» (Черствый эстетизм! — когда же перестанешь ты любоваться перерезанным горлом!). И негодует: «Грати Сікрябина тюремним наглядачам — це ще не є революція.» (Играй Сикрябина тюремным надсмотрщикам — это еще не революция.)

Тычина стремился к олицетворению сил природы и к их духовному осмыслению в стиле народного мифологического и сказочной фантастики. Его поэмы

«Дума про трех ветров» и «Иван Телесик» — своеобразная, непереводимая смесь рифмованной прозы и коротких заклинательных стихов, стилистически напоминающая «баллады» Поля Фора. На тех же началах построена его большая поэма о Григории Сковороде, труд почти всей его жизни, но из жуткой, в советских условиях, молли появились лишь незначительные отрывки.

Его наивысшее достижение, — полная душевной теплоты религиозная поэма «Скорбная мать», запрещенная в СССР. С неподражаемой простотой показывает он образ Богоматери-крестьянки среди степной природы его родной Украины, сохраняя при этом всю строгую изысканность старинной иконописи.

Смятение, вызванное у коммунистической власти последней войной, позволило ему благополучно провести через цензуру великолепную элегию «Похороны друга», в которой с новой силой зазвучали давно заложившие общечеловеческие мотивы непрочности земного благополучия, вечной красоты природы, смерти и бессмертия:

Усе міняється, оновлюється, рветься,  
У ранах кров'ю сходити, з туги в груди б'є,  
Замулюється мулом, порохом береться,  
А потім знов зеленим з-під землі встає...»

(Всё меняется, обновляется, рвется, истекает кровью из ран, бьет в тоске себя в грудь, засасывается илом, рассеивается прахом, а после снова встает зеленя из-под земли.)

Большевики назначили Тычину председателем Верховного Совета УССР. Этот бутафорский «сан» несколько не расширил для него возможности свободно высказываться. Все им написанное после потери свободы могло бы с таким же успехом появиться за подписью любого чиновника по отделу партийной пропаганды.



Судьба другого крупнейшего модерниста сложилась по-иному трагически. Володимир Свидзинский (1885—1941) спорел заживо вместе со всеми своими товарищами по концлагерному бараку, подожженному чекистами при отлучении в 1941 году. По темпераменту он значительно от Тычины отличается, но, пожалуй, не уступает ему по дарованию.

Несмотря на свою чуткость к духовному бытию, Тычина пребывает целиком в пределах земного мира и его красоты. Свидзинский же устремлен к потустороннему. Он сдержаннее, холоднее. Вместо «солнечных кларнетов» у него царят сумерки, даже ночь, вместо любовного экстаза он погружен в тайну смерти. Видимый мир для него — только далекая окрестина, неявный намек на бесконечно прекрасное, тающееся в глубинах мироздания бытие:

«І сонний блиск ласкавої блакиті  
Під хмарами яоніє в глибині,  
У чашечки латаття піврозкриті  
Про дива дна розказують мені...»

(И сонный блеск ласковой лазури под тучами яонее в глубине. И приоткрытые чашечки кувшинок рассказывают мне о чудесах на дне...)

Он близок к Хлебникову и ранним футуристам смелостью новаторства, яркостью метафор, тяготением к классицизму и интересом к древнеславянскому язычеству. Лучшая его вещь — поэма «Предательство», насыщенная тайной стародавних, кроющихся за сказкой, мифов, исполнена тоски по невогощенному и темных предчувствий. В ней разлиты нечто зловещее и смутное, непреодолимое неблагоприятие тяжкого свидания. Поэт блуждает в зачарованном лесу, в плену у неведомого, и увлекает нас колдовской силой своих отрывистых строк.

«Дивна князівна тоді на коня:  
— Чого твої очі в журбі?  
Не нудно буде й тобі:  
День у день,  
Рік у рік,  
Повік,  
Біля стовпчиків походжати  
Та співати жалюбивих пісень,  
Що зрабували тебе,  
Що ти не можеш забути,  
Що як же недобрим бути,  
Коли небо таке голубе!»

(Тогда странная княжна садится на коня: «Почему в твоих глазах кручина? Ты тоже не будешь скучать: день за днем, за годом под, навеки, ходит вокруг заколдованных столбиков, распевая жалобные песни, увлекшие тебя, которые ты не можешь забыть, ибо, как же быть недобрим, когда небо такое голубое!»).

Но у поэта есть и «дневной» облик, полный красочности и точных, смелых образов. Только и тут вместо солнца свет какой-то таинственный, как бы увиденный во сне.

«Осторонь лежав кострубаный грім,  
Схонкий на викорчований злибоба пень.  
Мужні прози нахилилися як жєнці,  
В'яжучи перевеслами жмутки блискавиць.  
Із за дерева випорснув побігуций дощ  
І оббризкав мене з золотої лійки.  
Сніг лежав, пухнатий, як росомаха,  
Ліниво витягши дебелі лапи».

(В стороне лежал корявый гром, похожий на пень, выкорчеванный из глубины. Грозы наклонялись мужественно, как жнецы, вяжущие в снопы охапки молний. Из-за дерева выпорхнул бегающий дождь и обрызгал меня из золотой лейки. Снег лежал, пушистый как росомаха, лениво вытянувшая пухлые лапы.)

Всё-таки, для Свидзинского печаль, смерть и небытие не самоудовлетворяют. В одиночестве ищет он духовного подвига:

«Холодна тиша. Місяцю надламаний,  
Зо мною будь і освяти печаль мою.  
Вона, як сніг на вітах умирилася,  
Вона, як сніг на вітах і осплеться.  
Три радості у мене неодіймані:  
Самолність, труд, мовчання. Тути злобної  
Немає більше...»

(Холодная тишина. Надломленная луна, побудь со мной и осыпай мою печаль. Она успокоилась, как снег на ветвях, и осыпется, как снег с ветвей. У меня три неотъемлемые радости: одиночество, труд, молчание. Злобной тоски больше нет...)

## 4

У новаторов, исходящих из русского футуризма, через Михаила Семенко (1892— ?), интересного больше смелыми исканиями, чем творческими достижениями, проявилась тоска по морю, по экзотике дальних странствий. Ярче всего она воплотилась у беллетриста Юрия Яновского, интересного и стихами, но, в целом, выходящего за пределы этого очерка.

Глухонемой Олекса Влызько (1908—1934) напоминает французских писателей-космополитов двадцатых годов: Пьера Мак-Орлана, Валери Ларбо и Влэза Сандрара. Несмотря на род его увечья, он был расстрелян коммунистами по обвинению в «организации диверсионно-саботажных актов». Бравурный оптимизм, привязанность к простым и сильным людям, презрение к опасности и нелюбовь к сидячей жизни, которые были свойственны этому поэту, обычно весьма поощряются советской властью в литературе. Но любопытно, что крупнейший выразитель этих начал на Западе Редер Кипплинг, певец английского империализма, был крайним консервативом и ненавидел революцию. И все-таки, именно его грубая, реалистическая, ритмически сильная, но неглубокая поэзия, пользовалась в СССР особенной благосклонностью до самой войны 1941 года.

Влызько же скорее приближается в своем творчестве к некоторым другим тяжело больным писателям как Тристан Корбьер, Стивенсон или Ницше. Как и они, он увлекался дикихвинными приключениями в далеких диких странах, силой мускулов и чувств, яркими переживаниями, жестокостью, смелостью, риском, напряженным действием и борьбой со стихиями — во всем там, чего судьба его лишила в действительности.

Читатель, привыкший к расшифровке подцензурных текстов, может быть, почувствует в ниже приводимых его строках намек на советскую действительность:

«Люди рта роззявили, кавалер  
 Их ловів до підніжжя Кордільер.  
 На плянтацію вивіз, сказав: «— стоп!  
 Эльдорадо тут! Кожний з вас холоп!  
 А хто тікатиме, — куля в лоб...»

(Люди разинули рты. Кавалер их повел к подножию Кордильер. Привез их на плантацию и сказал: — стоп! Эльдорадо тут! Все вы рабы. А за попытку к бегству — пуля в лоб.)

Приспособившийся к власти Микола Бажан (род. в 1904 г.) несомненно очень одаренный человек. В начале своей карьеры он отличался смелостью вымысла и оригинальностью мысли. Кабинетный ученый, выдающийся ориенталист, он лишен непосредственности и лирической напевности. Он у себя дома в отдаленнейших областях времени и пространства. Наиболее удачны его феноменологические картины чужих культур, в сущность которых он проникает с редким умением («Гетто в Умані»). «Ночь Гофмана» — удивительное воскрешение фантастики немецкого романтизма. Хотя все эти странствия книжно-головного происхождения, они полны живой фантазии, ума, блеска, мастерства, смелых и неожиданных метафор:

«В небо зорі вг'ялись мов краби,  
В землю врузла намумом тьма...»

(Зорі впились в небо, как крабы, в землю илом впиталась тьма) или:

Рівні та прості  
Лягли на морях  
Дороги матроськи,  
Як шрами от шпал...

(Прямо и просто легли на морях матросские дорожки, как шрамы от шпал.)

Его книги сталинской эпохи запромождены вымученными, насквозь фальшивыми славословиями Кирова и тому подобным, которые невозможно читать. Зато он замечательно перевел «Витязя в тигровой шкуре» Руставели и «Фархад и Ширин» узбекского поэта Алишера Навои.

✱

Интереснейшие экзотические мотивы встречаются и у Евгена Плузника (1898—1936), стоящего несколько особняком. Разглядывая в музее старинный южно-американский амулет, поэт находит таинственное родство между собою и изготовившим его темнокожим колдуном.

Глядя на море с высокой скалы, перед грандиозной картиной природы, поэт размышляет о бренности земного бытия, замечая, что

Навіть недокурка того не відшукати,  
Що ти — у захваті — на прискалку забув.

(Даже не отыскать окурка, забытого тобой, в восторге, на выступе скалы.)

Но это — исключение. В основном, Плузник погружен в банальнейшую, скучнейшую обыденщину. Он намеренно избегает эффектности, юхотнее всего останавливаясь на самых прозаических подробностях. Вот, например, типичный для него пейзаж:

Сірі вулиці!.. Тихі кури!..  
Візник, бородань похмурий,  
Куняє на передку...

(Серые улицы!.. Тихие кури!.. Хмурый бородач, извозчик, дремлет на облучке...)

Его острый ум, зоркий глаз постоянно направлены на самое скромное и незаметное. Для него внешний мир — лишь бесформенная, серая масса, а сам человек — жалкое беспомощное презренное существо. Но острота взгляда, не покидающая его ни на миг, раскрывает бесконечное богатство самой будничной действительности. Но тут-то и проявляется его изощренное, скрывающееся за напускной небрежностью мастерство. В этом он напоминает Михаила Кузмина. Одеривуя самыми простыми словами и тусклыми красками, Плузник создает удивительные по совершенству и убедительности миниатюры, каждый штрих которых живет. Он мастер, пренебрегающий красками рисунка, сильный желе уловимыми, но безошибочными и неповторимыми движениями линий. С другой стороны, его сознательная, не ведающая ничего случайного, умная, озаренная мягким юмором интроспективная поэзия напоминает яркие и сухие афоризмы позднего Георгия

Иванова. Скептически насмешливо оглядывая себя, он, хоть и не без горечи, смиряется перед своей ограниченностью и несовершенством:

Умі в нудзі знаходити розраду...

(Умей и в скуке находить опраду.)

В другом месте поэт себя спрашивает:

Чи повнота життя лиш спільний дар  
Фармакопеї і температури?

(Не есть ли полнота жизни совместной подарок фармакопеи и температуры?)

Но сознание непрочности и относительности выходит далеко за пределы человеческого «я»:

Співає бедуїнка, тоскний зір  
Втопивши в даль німого краєвиду  
... Понад діски, де не лишили сліду  
Кілька держав, народів і культур.

(Бедуинка поет, вперяя тоскливый взгляд в даль немого пейзажа... за пески, на которых не оставили следа столько государств, народов и культур...)

## 5

Несмотря на несомненную значительность своих модернистов, украинская литература достигла завершения в неоклассицизме, сторонники которого, убежденные западники, решительно отказались и от общерусских влияний, и от своего собственного фольклора, приписывая им провинциальность прежней своей литературы.

Как и евразийцы, неоклассики считают что культурно-исторические пути Европы и России расходятся вследствие особенностей духовного облика последней и ее глубоких, многовековых связей с азиатским материком. Украина же, по их мнению, принадлежит к европейской, средиземноморской, классической традиции. Рамки настоящего очерка не разрешают нам подробнее остановиться на этой концепции, кажущейся на первый взгляд парадоксальной, но на самом деле вполне естественной для украинского самосознания.

Во всяком случае, неоклассикам блестяще удалось творчески реализовать эту свою тягу к западной Европе. Они значительно обогатили и облагородили язык серьезной работой над изучением греко-римских классиков и французских парнасцев. Они много работали над развитием вкуса и стиля, достигнув пластичности изображения, строгости формы, ясности и точности, способных удовлетворить требования самого взыскательного современного читателя.

Преобладание группового начала над личным не только не помешало появлению среди них ярких индивидуальностей, но скорее способствовало успешному развитию последних, благодаря внутренней дисциплине и высокой требовательности. Умение поэта направлено у них, главным образом, не на выявление особенностей своего «я», а на создание объективно ценного художественного произведения. В результате выработался общий для всей группировки стиль, единство которого заходит так далеко, что даже близкое знакомство с их творчеством



не всегда разрешает отличить стихотворение одного автора от родственного ему по тематике и настроению другого.

Уровень культуры и словесного мастерства высок даже у второстепенных неоклассиков. Лучшие же из них ничем не уступают лучшим современным поэтам Запада. Это наиболее ценный вклад, сделанный до сих пор Украиной в мировую литературу. В то же время, неоклассицизм по сей день воплотил ярче всего специфическую сущность украинского народного характера.

Лучшей иллюстрацией этого факта является относительная второстепенность французских парнасцев в сравнении с размахом, силой и значительностью украинских неоклассиков, считающих себя их учениками.

Большинство поэтов нашей эпохи можно разделить на две категории: одни доходят до пределов индивидуализма, стремясь исключительно к выражению своего личного мироприятия, даже ценой непонятности своего творчества; другие, отказываясь от себя, стремятся к растворению в коллективной идеологии. При условии одаренности, и тем и другим иногда удается создавать замечательные произведения. В русской литературе достаточно будет привести Георгия Иванова в пример для первой, а Виктора Хлебникова для второй категории. Среди наиболее знаменитых иностранцев можно назвать, соответственно, Антонена Арто и Томаса Элиота.

К украинским неоклассикам это разделение не применимо. Им удался синтез протитворений нашей эпохи в художественно законченных формах.

Многие современные поэты сомневаются в моральной оправданности своего творчества. Принятие той или иной, чаще всего партийной, идеологии объясняется, главным образом, поисками такого оправдания. При этом часто не обходится без самообмана и полусознательного лицемерия. Поэтому, в наше время, добрые намерения почти никогда не совпадают с художественной ценностью, требующей подлинного переживания.

Украинские неоклассики первыми достигли моральной оправданности своего творчества, не только не отрекаясь от своей личности, но, наоборот, утверждая ее развитием, совершенствованием и утверждением в добре. Поэтому их произведения не только морально положительны, но и художественно ценны.

Это адекватное воплощение положительных чувств и идеалов в поэзии может открыть перед современной литературой новые возможности, если творчество неоклассиков станет доступным иностранному читателю.

## 6

Во главе их стоит «Гроно п'ятірне нездоланих шівців» (пятичленная прозда непобедимых певцов), по выражению одного из них, Михайла Драйд-Хмары. Остальные четверо: Микола Зеров, Максим Рильский, Павло Филиппович и Юрий Клен.

Зеров (1890—1937?) — крупнейший из них, по свидетельству всех современников, был на редкость сильной и обаятельной личностью. Вдохновитель и теоретик группы, профессор Киевского университета, сначала по кафедре классических языков, а позже украинской литературы, он был создателем и руководителем высшего этапа культуры своего народа. Его влияние было всемогущим и все более широким — до наших дней друзья и ученики не перестают оплакивать его бессмысленную гибель в Соловках, в полном расцвете сил и дарований, за одно только то, что, не будучи марксистом, он отказывался кривить душой. Он только

готовился к полному проявлению своих возможностей, о которых, увы, приходится только догадываться.

Тем не менее, несмотря на свою нелепую раннюю гибель, Зеров успел себя проявить как величайший из мастеров украинского слова. Есть, конечно, поэты, превосходящие его по силе и глубине, по разнообразию и изобретательности, но нет ему равных по культуре и красоте слова. В этом отношении он занимает место Пушкина в русской литературе. Все написанное по-украински до Зерова кажется приблизительным и несовершенным, все же позднейшее носит отпечаток его влияния. Никто из его современников и наследников, как бы ни были велики их достижения в иных областях, не могут сравниться с ним по чистоте, ясности и благородству языка. В этом отношении его поэзия остается до сих пор непревзойденной вершиной. Как ни великолегны многие из сонетов, составляющих наибольшую часть его стихотворного наследия, он достиг еще большего совершенства и блеска в александрийских стихах и элегических двустишиях, составляющих посмертный сборник «Catalepton», вышедший в США в 1951 г.

Приводим незабываемое стихотворение, помеченное 1934 годом, по-видимому, вышешее смертью его сына, незадолго до ареста и ссылки самого поэта. Оно достойно стоять рядом с глубочайшими и чистейшими словами, сказанными в поэзии о смерти, с «Тренами» польского поэта Яна Кохановского и со стихами Тютчева на смерть Денисьевой. Только необычайное самообладание Зерова позволило ему, не жалуясь и не рассказывая о своем личном горе, ограничиться неясным намеком.

В сирій імлі попідземній, понад потоком Легейським  
в травах без запаху вздрів я молодий асфодел.  
Бідна ростина, чому з усіх непривітаних сонцем,  
Ти найдорожча мені? Хто ти і як проросла?  
Я? — я у пам'яті бідній твоїй... я зросла у хвилину  
Як обірвалось життя, що веселило тебе, —  
Щедре і повне снаги, та не суджене зав'язок дати,  
Тільки й лишило саму тугу мою то собі...

(В сером подземном сумраке, над Легейским потоком, среди трав, лишенных запаха, я нашел молодую асфодель. — Бедное растение, почему ты мне дороже всех лишенных ласки солнца? Кто ты, и как ты выросло? — Я выросла в твоей памяти в тот миг, когда оборвалась жизнь, радовавшая тебя, щедрая, полная силы, но ей не суждено было дать завязь, она оставила лишь мою тоску по себе.)

Кроме того, Зеров был замечательным переводчиком, главным образом, греко-римских классиков, а также лучшим из украинских литературных критиков. Его книга «К истокам» соединяет эрудицию и методологическую дисциплину университетского работника с талантом блестящего эссеиста, богато наделенного мыслью, полемическим задором, вкусом, культурой и даром удачной формулировки. Но и поэзия его носит отпечаток культуры, которая была для него не деятельностью и даже не стихией, в которой он жил, а неотделимой от него самой частью его существа. Поэтому, несмотря на изобилие мифологических и иных книжных намеков, требующих культурного уровня у читателя, стихи его непосредственны и музыкальны.

Творчество Зерова соединяет все основные элементы неоклассицизма. Его ученики, каждый по своим индивидуальным склонностям, разрабатывали лишь те или иные отдельные его стороны.

Одни восприняли служение чистой красоте, погрузившись в мир зрительных

и звуковых ощущений. Другие углубились в поиски историософского смысла нашей эпохи. Судьбы Украины, русской революции, приближение Апокалипсиса, место и долг человека перед прозным ликом событий — составляют основную ткань творчества ряда поэтов, среди которых некоторые заслуживают серьезно внимания.

Среди первых отметим Рыльского и Драй-Хмару. Максим Рыльский (род. в 1895 г.), которого сам Зеров признавал галантливейшим из «пятерки лебедей», не устоял перед насилием партии. Лавров он этим себе не прибавил, ибо почти все написанное им после подчинения, носит каинову печать рабства. Надо ему однако отдать справедливость, что он никогда не опускался так низко, как, например, Бажан и некоторые другие, чересчур посредственные, чтобы заслужить упоминания. Он пошел на легкий компромисс с властью, в надежде отвоевать для себя возможность хоть частичного высказывания. Среди океана пошлейшей болтовни в угоду Сталину и на иные казенные темы попадаются изредка островки высокой словесной культуры и яркой образности, как и в первый, свободный период его творчества.

Трудно себе представить поэта более «несозвучного сталинской эпохе»! Рыльский до мозга костей аристократичен, близок по тематике Горацию и виргилиевым «Георгикам». Он холоден, спокойно высокомерен, равнодушен к своему и к чужому страданию и мало склонен к размышлению. Часто неприглядную действительность он превращает в красоту. Сила его в виртуозности стихосложения, в точности и четкости сухого сдержанного слова, а главное, в необычайной яркости и красочности зрительных впечатлений. Больше даже чем «Георгики», он напоминает картины фламандского живописца Снейдерса, яркого колориста, мастера охотничьих сцен и нагормортов, изображающих съезное. Рыльский, правда, предпочитает рыбную ловлю.

Тут очерет, латаття, оситняк.  
 Вода опинилась — не біжить, не рине,  
 Задумалася. Виводок качиний  
 Полощеться, забравшись у гуцак.  
 . . . . .  
 Ніяк не хоче лінох з'еленавий  
 Виходити на поверхню зо дна,  
 Де темний мул і довгі сонні трави . . .

(Тут камыш, кувшинки, оситняк. Вода остановилась — не течет, — задумалась. Утиный выводок плещется, забравшись в заросли . . . зеленоватый линь не хочет ни за что выйти на поверхность со дна, где темный ил и длинные, сонные травы.)

Зоркость живописца сделала Рыльского несравненным певцом красоты родной природы, знакомой ему во всех своих подробностях и обличьях. Но для ее изображения он не ограничивается зрительными данными, а пользуется также и иными источниками ощущений:

Запахла осінь в'ялим тютюном  
 Та яблуками, та тонким туманом . . .

(Запахла осень вянущим табаком, яблоками и тонким туманом . . .)

Но вершины своего творчества он достиг, пожалуй, в написанных октавами поэмах «На опушке», «Чумаки», «Сено» и «Путешествие в молодость». Последняя

из них, правда, сильно испорчена партийным нажимом. Писалась же она во время последней войны. И, быть может, именно поэтому она — наилучшее из написанного Рыльским после воцарения соцреализма, ибо во время войны напуганная власть не решалась оказывать давление на население с прежней силой и делала свободу вынужденные временные уступки. Первые же три поэмы, написанные в двадцатые годы, — неистощимый источник художественного наслаждения. В них прихотливо сплетаются в форме непринужденной беседы, мало связанной определенным сюжетом, пейзажи, литературные реминисценции, юмор и легкая, мгновенная грусть. Словесная живопись в них изумительна, автору часто достаточно одного точного яркого слова, немногих искусно выбранных подробностей, чтобы оживить перед нами целый уголок жизни.

Рыльский, как и другие настоящие поэты, тоже пытается отыгаться на переводах. Его «Евгений Онегин» — непревзойденный образец мастерства, художественной чуткости и почти дословной близости к подлиннику. Он бы вероятно получил одобрение самого Пушкина. Это один из лучших мне известных поэтических переводов. Он намного превосходит даже по справедливости знаменитый перевод «Евгения Онегина» на польский язык, сделанный Юлианом Тувимом.

Михайло Драй-Хмара (1889—1938?) — самый субъективный из неоклассиков, согревает мраморную холодность Рыльского и сдержанную выразительность Зерова, не теряя при этом ни образности:

Вмочає сонце в сонну лютязь  
Золототканне полотно.

(Солнце обмокнуло в сонное озеро свое золототканное полотно.), ни звучания:

«Розбурхалася хмар армада»

(Армада туч заволновалась.)

Но он не довольствуется описанием видимого мира, охотно уходит в область фантастики.

Драй-Хмара был арестован за сонет «Лебеди» — один из лучших в украинской литературе, из-за неприятных для власти намеков на несвободу, в нем заключавшихся. Поэт погиб в концлагерях далекого Севера от непосильного труда и от истощения голодом. Его письма оттуда — один из страшнейших документов о советских лагерях, какие только были. Ужас описываемых издевательств и страданий немало усиливается литературным талантом автора, умеющего на каждом шагу в немногих словах уловить главное. Думается, что их перевод на западные языки поспособствовал бы делу освобождения от коммунизма всех порабожденных народов.

Павло Филипович (1891—1934?) первым направил поэзию неоклассиков на философско-историческую тематику. В своих ранних стихах он восторженно приветствовал революцию. Но коммунисты требовали не энтузиазма, а послушания. Поэт быстро разочаровался. Даже заглавия его книг «Земля и ветер» и «Простор» поворят о великом опустошении, произведенном революцией в его душе и вокруг него. Пейзаж его аскетически беден, холоден и прозрачен. Не случайно из русских поэтов ему ближе всего оказался Баратынский, мрачное раздумье и холодное благородство которого заметно и у Филиповича.

Постепенно духовные, даже аполлипитические мотивы стали у него брать верх над земными, пока и он не погиб жертвой режима на дальнем севере.

Лучшие его стихи указывают на необычайное чувство истории и полны упорно звенящей в памяти музыкой, как, например, «Мономах» —

Залізна шкіра,  
Серце тверде —  
На роги звіра  
Не попаде . . .

(Железная шкура, сердце — твердо. На рога зверя он не попадет.), которое хотелось бы процитировать целиком.

Последний из «пятерки» Юрий Клен (1891—1947) за время своего пребывания в СССР выступал только как критик, переводчик и историк литературы. Первые его оригинальные стихи появились уже в эмиграции, когда ему исполнилось 40 лет. Его работа в львовском журнале «Вестник», издававшемся публицистом Д. Донцовым, выдвинула целую плеяду молодых поэтов, многие из которых остаются до сих пор украшением украинской эмигрантской поэзии. Некоторые побибли в войну 1941—1945 гг.

Клен развил политическую и в особенности религиозную тематику Филиповича. Пейзаж его лирики так же суров, но она воодушевлена духовным поренением и аскетической жаждой подвига средневекового западноевропейского рыцарства. Стилистически он проще Филиповича, устремляясь к зероокой ясности. Постоянное пламенное воодушевление придает его стиху звучание римской меди.

Поэма «Проклятые годы» повествует о страданиях и гибели интеллигенции в советских концлагерях. Но не менее трагична судьба приспособившихся:

Помолимоь за тих, кому на перць  
Піти не вистачить снаги і сили,  
За всіх отих, кого гірка як смерть,  
Недоля під ярмо важке схилила,  
Хто чашу горя л'є налиту вцерьть  
Вславляючи життя своє немиле,  
За тих співців, які за хліб і чай  
Виспівують нам пекло наче рай.

(Помолимся за тех, кому не хватает мужества и силы, чтобы выйти на борьбу, за всех тех, кого судьба горькая, как смерть, согнула под тяжким ярмом, кто пьет чашу горя, налитую до края, прославляя свое немилое житье; за тех певцов, которые за хлеб и чай, как рай, воспевают ад.)

Постоянная попруженность в историческую стихию привела его к созданию высоких образцов политической поэзии, «одновременно глубокой современной и вечной», по словам критика и поэта Яра Славутича. Клен подходит к политике с такой напряженностью, с такой отрешенностью от всего низменно злободневного, что она становится в его руках высоким, очищающим душу искусством, открывающим широкие горизонты всемирно-исторических перспектив.

В своих наивысших достижениях он доходит до пророческого ясновидения. Неотразима написанная терцинами картина СССР в качестве дантовского ада. Впечатление еще усиливается тем, что он не называет страну прямо, постепенно создающаяся картина делает такое указание ненужным своей жуткой очевидностью. Тут и вездесущая измена, и человеческое «я» «как оторванный листок,

кружимый дыханием неведомой силы», и бессмертный дух, убитый химией. Картина усиливается проникновением в ее метафизический смысл:

Що звалось «душа», «зоря» і «сад» —  
 Все втиснуто в трикутники і ромби.  
 До пісні кожної, до всіх думок  
 Рука диявола чіпляє пльомби.

(То, что называлось «душой», «зарей» и «садом» — все втиснуто в треугольники и в ромбы. К каждой песне, к каждой мысли рука дьявола прицепляет ярлыки с печатью...)

Но и конечно:

А з башти кожної крізь п'ятьми плац  
 Тебе чатує невоспичує око...

(А с каждой башни, сквозь плац темноты, за тобой следит недреманное око.)

Как ни значительна поэзия Клена, нельзя не упомянуть его литературно-критические и историко-литературные работы, издание которых готовится теперь в Америке. Он хорошо знал несколько славянских и главных европейских литератур, обладал блестящим стилем и большим вкусом.

## 7

Среди поэтов, выдвинутых «Вестником», наиболее значительны Олег Ольжич (1908—1944) и Евгений Маланюк (род. в 1897 г.). Первый полон захватывающей словесной магии, напоминающей Осипа Мандельштама.

Так солодко в передчуванні бою,  
 Не знаючи вагання і квилінь,  
 Покірну землю чути під ногою  
 І пити зором синю далечінь.

(Так сладко, в предчувствии битвы, не зная ни колебаний, ни жалоб, чувствовать под ногою покорную землю и пить взором синюю даль.)

Тоска по приключениям, увлекающая модернистов в экзотику, уводит Ольжича в прошлое, в античный мир и даже в какую-то еще более древнюю, менее определенную пору, населенную сильными, прекрасными, как бы сошедшими с монументальных фресок, людьми.

Кроме того, ему свойственно весьма современное упоение физической силой и действием. Он жаждет чистоты, простоты, примитивности и даже грубости. Он охотно готов раствориться в товарищеском, родовом или строевом коллективе, отказываясь от своей личности и культуры. Далекое прошлое его мечтаний сливается с ожиданием, странно на него похожего будущего:

І щоночі за обрієм чорним  
 Стогнуть кроки — залізо і мідь.  
 Смертоносні! Тверді! Необорні!  
 Дорогі до безтями! прийдіть!

(И каждую ночь, за черным горизонтом, стонут шаги — железом и медью. Смертоносные! Твердые! Непобедимые! Дороги до беспамятства! — придите!)

Но отношение поэта к «грядущим гуннам» всё-таки двойственно, они «велики и страшны как драконы» «с сердцами медными».

В творчестве Ольжича аскетическая сосредоточенность сливается с юношеским пылом, религиозный экстаз с мужественным дерзновением и с рыцарской преданностью идеалу. За его словами кроется жизненная правда — он был замучен гитлеровцами в Заксенхаузене, подобно многим своим собратьям, погубленным большевиками в борьбе за высочайшую ценность нашей эпохи — свободу.

Маланюк выступил в печати в начале 20 годов как модернист-новатор, охотно прибегающий к ярким метафорам, машинно-технической тематике и иным сильно действующим поэтическим средствам. В своих поздних книгах «Перстень Поликрата» (1939), «Власть» (1951) и «Паломничество» (1954) он стал неоклассиком, не потерявшим своей прежней стремительности, но овладевшим ею, сосредоточившим свои силы в выдержанных, продуманных, сдержанно, но непреодолимо музыкальных строфах.

Дарма. Над тишею склепінь,  
Де вічність Божа тайно спіє,  
Росте нестримно в височінь  
Пандероносний брат Софії . . .

(Напрасно. Над тишиною сводов, где тайно зреет Божья вечность, растет неудержимо ввысь пандероносный брат Софии.)

У него развилась философско-историческая перспектива. Мысль его углубилась, словарь сузился, но окреп и уточнился. Целеустремленность всех средств привела его зрелую поэзию к скупой, но яркой полноте.

Маланюк остался интегральным, бескомпромиссным националистом времен донцовского «Вестника», врагом современной цивилизации, остро осознающим ее бессилие и обреченность. Среди неоклассиков он остался наименее выраженным западником. Все его внимание сосредоточено на апокалиптических бедствиях будущего. Особенно запоминаются его мрачные картины сумрачной природы:

«Ні лотосу, ні лавра» — позем! —  
Ні натяку на вертикаль,  
І лиш тупим, тяжким морозом  
На півроку закута даль.

(«Ни лотоса, ни лавра» — горизонт! Ни намёка на вертикаль. Только даль, на полгода скованная тупым, тяжелым морозом.)

Или же современной войны:

Боевище, стрільнями порите.  
Жовті кісті. Посірілий згар.  
Тільки простір. Над простором — вітер  
Та запони сизокрилих хмар.

(Поле битвы, разрытое пулями. Желтые кости. Посерелая гарь. Только простор. Над простором ветер и отряды сизокрылых туч.)

На юношеский экстаз Ольжича Маланюк отвечает скептически-холодным презрительным разочарованием, хотя он не лишен и духовных озарений некой немногословной, проникновенной восточной мудрости.

Украина, «Степная Эллада», временно омраченная бурными испытаниями, видится ему в расцвете будущей красоты.

## 8

Как и Маланюк, Тодось Осьмачка (род. в 1895 г.) начал с модернистического фортиссимо:

Из безоднь світу вилітає рів.  
Кида хвилями між зорі сивий океан,  
Гасить сонце, мие місяць.  
Старі кості матері-землі  
Лиже.

(Из бездн вселенной вылетает рёв. Седой океан вздымает волны между зорь, гасит солнце, омывает месяц, лижет старые кости матери-земли.)

Такие стихи Зеров называл «гигантомахией образов». Осьмачке удалось выбраться на Запад после небывалых мятарств; в том числе и пребывания в психиатрической лечебнице, где он симулировал помешательство, чтобы ускользнуть от «недреманного юка». На свободе он опубликовал длинную автобиографическую поэму в безупречно-классических октавах. Потрясающий трагизм описываемых событий (поголовное истребление всей семьи автора чекистами) и пламенное его негодование, усиливаются стилистической и формальной строгостью его письма.

Совершенно особняком стоит рано умерший галичанин Богдан, — Игорь Антонович (1909—1937). Его невозможно причислить ни к классикам, ни к модернистам. С самого начала он носил в душе неисчерпаемый источник свежих и ярких метафор, которые он не переставал рассыпать до конца своих дней. С первых же своих строк он пошел самостоятельными путями, в поисках адекватного выражения своего мировоззрения. В юношеской «Автобиографии» он рассказывает о своем рождении в горах «ближе к солнцу», откуда он спустился, неся «солнце в кармане».

Его поэзия — захватывающий дыхание своей свободой метафорический водоворот. Луна на небе — красный тюльпан, мелодия весны звенит на сотне роялей. «Весна — карусель с белыми лошадьми», «синеглазая славянка», гуляющая во льну. Утром «солнце, как красный кирпич, покатилося по жести крыш», кто-то стреляет «пулями зари из ружья ножи», утро «прячет луну в кошелек, как старый грош», а «красные монеты зари» легли на дно копилки вечера. В «столистых книгах черемухи» поэт читает «растительную мудрость вечных пушц». Он «заворачивает село в синий платок небес». Белые хаты села — прибы с красными шапками крыш. Так можно было бы продолжать, идя сквозь все его книги, сплошь кишящие красками и образами.

Начал он как «влюбленный в жизнь язычник», как ипротоний, никакими правилами не стесненный ребенок, по-детски говорящий о себе в третьем лице: «Растет Антонич, как растет трава» и даже: «Антонич был жуком и жил на вишнях, воспелых когда-то Шевченко».

Но слабость ли здоровья, предчувствие ранней смерти или же ощущение



близившихся исторических катастроф внесли в его последние книги нотку трагизма и страха перед недоброй тайной мира. Этим он напоминает великого австрийского поэта Георга Тракля.

І стає мов тінь похмура  
Нерозгадане майбутнє...

(Нерозгаданное будущее стоит как мрачная тень...)

## 9

В свободном мире украинская поэзия продолжает расти и развиваться, и, несмотря на тяжелые материальные условия, недостатка в хороших поэтах нет. Последний из крупных представителей классицизма Михайло Орест (род. в 1901 г.) сумел поднять украинский язык на новую, высшую ступень, соединив утонченность и богатство с силой и простотой. В этом отношении его заслуги сравнимы с заслугами Пастернака, сумевшего в прозе «Доктора Живаго» классически просто оформить плоды модернистических исканий своей молодости — «Детство Люверс» и «Охранной грамоты».

Тематика Ореста, главным образом, апокалиптическая. Особенно замечательна длинная поэма «Уход лесов», написанная белыми стихами. Яркость и убедительность грандиозной фантастической картины в ней почти достигает осязаемости. Позже автор показал себя мастером субъективно-гармонической лирики на общечеловеческие темы любви, природы и сожаления о минувшем в благородно мягких тонах выпцветающих гобеленов:

І дні змішалися в неясних сплетах,  
І стопом бронзовим лежать роки.  
Не розпізнати на старих монетах  
Минулого зникаючі знаки.

(И дни смешались в неясных сплетениях, и годы лежат бронзовым сплавом. Не распознать на старинных монетах стирающиеся знаки минувшего.)

Орест удачно возродил гномическое двустишие античности. Его стихотворные афоризмы излучают спокойную мудрость и глубокий опыт работающего над собой человека.

Среди молодых неоклассиков лучший — Олег Зуевский (род. в 1920 г.), автор замечательной книги «Под знаком феникса» (1958). Он художественно высококоординированная натура и изощренный мастер слова.

С некоторых пор замечается ютход от неоклассицизма к общезападному модернизму и к более глубокому переосмыслению фольклорного материала. Начавший как классик Вадим Лесич (род. в 1909 г.), по мере созревания, сделал свой стих свободнее, гибче и утонченнее. Бурное кипение его внутренней лавы выливается в яркую и смелую метафорику. Но не довольствуясь силой своего выражения, душа Лесича стремится вглубь явлений мира, к их духовному осмыслению.

Василь Барка (род. в 1908 г.) создал поэзию изумительной красоты на основании фольклорного пластического узора («Кидима»), стилизованного в модернистическом духе. Без усилия переносит нас поэт в мир легенд, мечтаний, ребяческих фантазий и потусторонних видений. Особенно замечательна его книга «Белый

свет» (1947), полная живой красочности и причудливости. В «Романе о розах» (1956) сложная метафорика переплетается с более углубленной мыслью.

Среди самых молодых наиболее талантливы члены так называемой нью-йоркской группы. Богдан Бойчук (род. в 1927 г.), стремящийся к лаконичности и сдержанности, часто достигает силы выражения и яркости образов. Ему еще не всегда удается оживить всю ткань своего стиха — сильные и яркие места вспыхивают отдельными цветами, на еще не распустившемся целиком дереве.

Наоборот, Юрий Тарнавский (род. в 1934 г.) порадо равнее и глубже. Он умеет очертить словами искомый образ или переживание. Но он реже достигает яркости наилучших мест Бойчука. Зато он уже большой мастер интроспекции: он умеет находить для изображения своей внутренней жизни убедительные и оригинальные выражения.

Богдан Тимийш Рубчак (род. в 1935 г.), склонен к конкретизации мистического опыта, а Эмма Андрилевская (род. в 1931 г.) обладает живой фантазией и почти неограниченной способностью к метафорическому мифотворчеству. Наконец, Желна Васильевская (род. в 1930 г.) обладает свежестью и оригинальностью в описании природы.

Многих, часто весьма даровитых поэтов украинской эмиграции мне пришлось обойти молчанием за неимением места. К ним надо будет вернуться. Богатство их чересчур велико, чтобы уместиться в рамки журнальной статьи.

Точно так же я не смог остановиться и на молодой поэзии в СССР. Там поэты лишены возможности свободно высказываться, и поэтому об их даровании часто приходится только догадываться. Но я не думаю, что ошибусь, называя имя Ивана Виргана, хотя он, вероятно, не один. Придет и их время. В СССР теперь украинские поэты много плачут, и за их творчеством чувствуется наличие подлинной силы. В идущей борьбе народов России за обретение свободы, мы обретаем все большие возможности и радость открывать их доньше запечатленную красоту.

## «Жизнь» — стихотворение в прозе

(К столетию со дня рождения Н. В. Гоголя)

Среди небольших вещей — «Арабесок» — Н. Гоголя следует остановиться на «Жизни» (1831 г.). Она представляет собою своеобразное «стихотворение в прозе», панораму мировой истории.

Мне думается, что возможен тройкий подход к этому произведению:

1) философско-христианский, дающий основную идею Гоголя и сравнивающий мысли из «Жизни» с идеями его последующих произведений вплоть до «Выбранных мест из переписки с друзьями» и писем. Такая работа и анализ идей легко докажет связь идей Гоголя-молодого историка и Гоголя-моралиста, проповедника последних лет его земной жизни. Сама мысль о воскресении, выраженная устами Египта, откликается позднее целой статьей о воскресении Христовом в России в конце книги «Выбранные места».

2) Можно было бы рассмотреть связь нашего отрывка — «Жизнь» как историко-философской панорамы с другими, чисто историческими, трудами Гоголя: Введением в лекции по истории средних веков, «Шлецер, Миллер и Гердер», «Рим», лекции по истории арабского халифата и т. п. Когда я читал в 1952 году две заграничных работы того же года о Гоголе как историке (К. Бида и А. Страховского), то очень был удивлен, что оба профессора в своих статьях совсем не упоминали «Жизнь», столь важную для понимания гоголевской концепции всей истории вообще.

3) Разобрать «Жизнь», как стихотворение в прозе, коснувшись композиции, стиля, лексики и т. п. Здесь, на этих страницах, я и попробую дать свой краткий разбор этого произведения именно с этой, третьей стороны. Делаю я это, прежде всего, потому, что и сам Гоголь предназначал этому отрывку чисто художественную роль.

«Жизнь» — произведение романтическое\*), но написанное в так называемом «высоком стиле», во всем почти отвечающее теории о «трех стилях» М. Ломоносова. Гоголь, сознательно или бессознательно, так и писал всю свою жизнь: то стиль искренне бомбастический — риторика с промами и молитвами «барокко» и романтизма, порою стиль, полный искреннего пафоса и «звона», то — средний,

---

\* По форме и по содержанию к «Жизни» очень приближается статья Гоголя «Скульптура, живопись и музыка». Как некогда заметил исследователь Назаревский, эта статья была написана под большим влиянием работ романтика шеллингианца Д. В. Веневитинова (умершего в 1827 году в двадцатидвухлетнем возрасте). О влиянии Гердера я здесь не могу говорить.

разговорный, но с примесью и тут церковнославянских речений, то, наконец, стиль «подлый», «низкий» в сказе, в юмористических ремарках, в комедиях, в диалогах ряда обыденных героев.

В «Жизни» сохранен и юпит ритмической прозы, влекшей к себе нашего писателя до конца жизни. «Жизнь» и есть некий романтический опыт Гоголя. Самое ритмически-четкое начало ее — «Бедному сыну пустыни снился сон» — характерно для романтиков. Сон играет (особенно у германских представителей романтизма) особую роль\*). Он содержит в себе элементы сверхчувственного и сверхпространственного мира. Сон связан с миром погусторонним, в нем душа человека внеяет и самой своей глубиной (теперь сказали бы — подсознанию) и звукам иных сфер, он связан, порою, и с вдохновением поэта, философа, пророка, с тем наитием-трёзой, что есть основа творчества. У молодого Жуковского и особенно у А. Пушкина и П. Вяземского сон в их эйдологии и фразеологии играет очень существенную роль. Его семантическое значение и велико и разнообразно. Для Гоголя же сон, сновидения — нечто исключительное, сверхважное, внутренне связанное с его природой, чаяниями и специфически гоголевой манерой видеть и чувствовать, манерой, проникающей глубоко во всю фразеологию писателя. Сон имеет и особое значение во многих его произведениях, начиная с «Ганса Кюхельгартена». В чудесном описании летней ночи («Вий») Гоголь скажет:

«... Все как будто спало с открытыми глазами»; приехав в Италию он повторит — «... Россия, Петербург, снега... кафедра, театр, — все это мне снилось. Я проснулся опять на родине»; после смерти Пушкина — «Пушкин! Какой прекрасный сон видел я в жизни»... и т. п. Сон есть откровение, или предтеча откровения (см. «Страшная месть») у Гоголя, и для его героев особую роль играет сон в «Портрете». Сон, сновидение, нередко поднимает писателя на свои крылья, мчит... и с высоты реющего полета открывается даль и ширь, а время исчезает и уничтожается.

Два наших писателя-классика — И. Тургенев и Л. Толстой — поддали под сильное воздействие Гоголя — сновидца и мечтателя. У Тургенева это в «Призраках» и в стихотворениях в прозе, у Л. Толстого полностью только раз в его единственном стихотворении в прозе — «Сон»\*\*). Гоголь дал обоим основу и панорамный обзор картин.

«Жизнь», со своими двумя-тремя страницами, представляет стройное архитектурное единство. 1) Вступление — картина Средиземного моря с Египтом, Сирией, Грецией и Римом. 2) Три речи трех цивилизаций о смысле человеческой жизни. 3) Заключительная картина — Христос в яслях, св. Дева и звезда над ними. Все и вся прислушиваются, смотрят на Восток и умолкают.

Бедный сын пустыни (м. б. бедун), как бы с высоты, видит все Средиземное море, горячие берега Африки, Сирийские голые пустыни, Египет и «весь изрытый морем берег Европы». Тяжелые, но меткие эпитеты усиливают впечатление неподвижности как бы замороженного видения: Египет «над неподвижным морем, величавый, питаемый великим Нилом, украшенный таинственными знаками, священными зверями». В другом тоне, но опять без движения, картина весе-

\*) Ср. хотя бы Н. Schubert: «The Symbolism of Dreams», 1814 — Прим. автора.

\*\*) Пятидесятые годы прошлого века. Об этом стихотворении и о самом тексте его см. в сборн. «Л. Толстой», под ред. В. И. Срезневского, 1926 г.

лой Греции, что «раскинула вольные колонии»; «стоит и распространяется железный Рим». И Гоголь снова возвращается к неподвижной зачарованности ожидания: «Весь воздух небесного океана... висел ожатый и душный, как будто бы царства предстали все на страшный суд перед кончиной мира». Библейско-эсхатологическое ожидание подчеркнуто и смыслом самой фразы и ее лексикой. Затем Гоголь в духе фразеологии и стилистики Священного Писания начинает фразу соединительным «и» в значении частицы усиления: «И говорит Египет». После слов Египта начинается речь претресского мира тем же приемом — «И говорит»... Также с «и» начинает Рим: «И говорит покрытый железом Рим». Речи трех представителей разных культур контрадикторны: Египет хочет продлить бедное существование человека постройкой пирамид; Греция стремится жить во имя жизни — «жизнь сотворена для жизни», для наслаждений и творчества в области искусства. Рим хочет найти цель жизни в экспансии, в жажде славы и вечного стремления к победе и власти. «Но остановился Рим, на восток плянула Греция», к востоку обернулся и Египет: «Камениста земля; презренен народ... Ослица за опрадой, Младенец в яслях». Тут же и Непорочная Его Мать. «Высоко в небе стоит звезда и весь мир осиял чудным светом. Задумался древний Египет... Беспорочно плянула прекрасная Греция. Опустил очи Рим на железные свои копья; прищипнула ухом великая Азия с народами, пастырями; нагнулся Арарат, древний прапращур земли»... Так, величавым преклонением горы Ноя заканчивается вся картина. Написана она с силой убеждения и сердечным трепетом.

Каждая проза имеет своеобразный, скрытый ритм. Но у Гоголя этот ритм подчеркнут, ритмические периоды, преимущественно по 8 и 12-14 слогов, порою, переключаются ассонансами, то анафорой, то леонинской концовкой, или звуковыми повторами.

Вот несколько примеров:

«Далеко, далеко до воскресения!  
Да и будет ли когда воскресение?  
Прочь желанья и наслаждения...»

Или:

«За низкою и ветхою опрадою  
Стоит ослица.  
В деревянных яслях  
Лежит Младенец;  
Над Ним склонилась  
Непорочная Мать  
И глядит на Него  
Исполненными слез очами.»

Или:

«Всё в мире;  
Всё, чем ни владеют боги,  
Всё в нем;  
Умей находить его...» и т. п.

Кроме уже упомянутого библейского «и» в начале предложения, Гоголь не без влияния Библии\*), пользуется и тавтологическими сочетаниями слов вроде «*понижая ниже*», «бедный... бедное существование». Для большей торжественности писатель употребляет в изобилии церковнославянизмы и целые пословичные выражения: «Всё тлен. Всё пожирает смерть», «Я постигнул», «немноголюдная весь» (село), «блистательные икры», «помавая тонкими пальмами (сравни у Гнедича в Илиаде — «помавал головою Пелид быстроногий)», «музыкайские орудия», «прекрасное чело свое», «браноносные легионы», «вперил орлиные очи», «свою благовонную главу», «жилистая десница», «белые как перси девы», «исполненными слез очами», «цвеницы» и т. д.

Следует отметить в «Жизни» и ряд особенно излюбленных Гоголем выражений и слов. Значительная часть их принадлежит общему «арсеналу» т. н. архаистов, часть же проникла в поэтическое хозяйство\*\*) писателя непосредственно под влиянием Бестужева-Марлинского, о чем один критик метко заметил: «Марлинский испортил Гоголя». В период «Вечеров» (1831 г.) критик Н. Полевой (1798—1846) называл стиль Гоголя и его природоописания «высоко непонятным летанием». Критик не хотел, да и не мог, понять двух плоскостей восприятия — «данной и заданной», всего творчески-романтического преобразования вещей у Гоголя. В «Жизни» встречаем и множество слов типа причастий, часто страдательного залога — питаемый, несокрушимый, браноносный, исполненный (= полный), потопленный, стгтененный и др. Особое внимание обращая на два излюбленных приема у Гоголя: употребление слова «дышит» и на так называемое, *сладоэрастие* в картинах природы, форм мира и вещей. Вот несколько тому примеров: «мрамор дышит», «дыхание цвеницы», «дыхание ветра», «дышит все согласием». Этим словосочетаниям из «Жизни», как параллели, встречаем подобные же в ранних произведениях, да и в произведениях последнего периода жизни писателя. В «Невском проспекте» — «порок дышит милосвидностью», «наряд ее дышит», «я бы жил и дышал тобою», «дышало раем». Еще ранее в «Гансе Кюхельгартене» — «чуть дышит ночь», «дыхание — лилий серебряный чад»; в стихотворении «Италия» — «Ночь вся вдохновеньем дышит» (ср. то же в «Вечерах»). В виноградов еще в 1926 году отмечал в природоописаниях Гоголя символику слова *сладоэрастие* при изображении пейзажа. Действительно стоит только вспомнить из «Вечеров»: «ветер целует», воздух сладострастно «обнимает» и т. д. В «Жизни» — «Сладострастно выгибающийся флаг», «в роскошном мраке»; в «Гансе» — «Роскошно объемлет эфир», «роскошная нога», «роскошные моря»; в стихотворении «Италия» — «роскошная страна» и др.

В «Невском проспекте» есть замечательная фраза — ремарка автора: «Она вдруг показала ему, как в панораме, всю жизнь ее». Именно так и выделась и грезилась Гоголю история человечества — в некоей панораме. Так предстает перед героем Рим в орывке «Рим», да и вся история России, Украины, Средних Веков, всего, о чем думал и писал Гоголь.

Малая по размерам, но характерная по идеям, по построению и стилю «Жизнь» отражает, как капля солнце, все самое дорогое, самое существенное для Гоголя — поэта, историка и христианского мыслителя.

\*) Сравни. «Смертию умрете» и др. в Библии.

\*\*) Термин В. Ходасевича из его работы о А. Пушкине.

## Из дневника критика

### ДВА СОЛДАТА

В русской литературе за ее советский период появились книги религиозного направления, хотя сами авторы не всегда отдавали себе в этом отчет. Об одной из таких книг, известной всем, я собираюсь сейчас напомнить.

Вскоре после войны, в одном городе на Волге, молодой преподаватель логики, недавно демобилизованный Борис Н., читал серию докладов «О различных типах онтологического мышления».

Как видно из заглавия, тема докладов не совпадала с «генеральной линией», и потому они происходили на частной квартире, при небольшом числе приглашенных по строгому отбору. Докладчик обладал редким качеством — он имел что сказать. В тот вечер присутствовало не больше десяти человек, в том числе старый профессор, несколько студентов и я.

Борис начал с цитаты из «Степи» Чехова: ... «Должно быть, вы уже все науки забыли! — заметил Кузмичев. — Как не забыть? Слава Богу, уж восьмой десяток пошел! Из философии и риторики кое-что еще помню, а языки и математику совсем забыл. — О. Христофор зажмурил глаза, подумал и сказал вполголоса: — «Что такое существо? Существо есть вещь самобытна, не требующая иного ко своему исполнению». Он покрутил головой и засмеялся от умиления. — Духовная пицца! — сказал он. — Истинно, материя питает плоть, а духовная пицца душу! — Науки науками, — вздохнул Кузмичев, — а вот как не догоним Варламова, так и будет нам наука. — Человек — не иголка, найдем. Он теперь в этих местах кружится».

Цитата, которую привел О. Христофор, продолжил докладчик, опложив Чехова, это старинный перевод из Парменида, который Чехов нашел в руководстве по философии для семинаристов. Определение Парменида «онтоса», сущего или существа, является классическим для введения в онтологию. Существо, о котором говорит Парменид, это Бог. Все остальное существующее суть эманация Существа, включая планеты, растения, человека. Зачем Чехов вставил этот текст в самую современную из своих больших повестей? Вероятно, просто «шутки ради», но так или иначе, эта вставка освещает еще по-иному всю повесть, всю Россию, всю землю, образом которой является его спокойно-взволнованная Степь, спокойная снаружи, взволнованная изнутри.

Сегодня я буду говорить об онтологическом ощущении Бога, как оно проявлялось в русском человеке и отразилось в нашей художественной литературе. Я не остановлюсь на О. Христовофоре и других чеховских священниках, ни на множестве примеров во всей нашей литературе, начиная с Пушкина. Речь будет идти о Платоне Каратаеве из «Войны и мира» и о «Василии Теркине» Твардовского.

Из черновикиков «Войны и мира», не включенных Толстым в окончательный текст, мы узнаем, что Пьер Безухов не утерпел рассказать Платону Каратаеву о том, что такое «существо», а также о том, что все в мире едино: доброе и злое, наши солдаты и наполеоновские, бедность и богатство. Хотя Пьер, как ему казалось, говорил понятно, Платон мало что понимал, однако, слушал с удовольствием — по-видимому, ему было приятно слушать, как легко и скоро Пьер умеет говорить. И Пьер задает себе вопрос, почему Платон его не понимает, и в конце видит, в чем дело: «Потому что я только говорю о братстве, а Платон его осуществляет». «Потому что для исполнения всеединства лучше ничего не знать и не думать о нем... нам, книжным людям, так трудно войти в эту первую и главную истину всеобщего братства, а для престижа неправотных это дается как бы даром. Каратаев живет в Боге именно потому, что об этом не знает... Он радуется, что пошел за братом на военную каторгу, на страданье: холод, усталость, воинские артикулы... Вокзья воля... сумеь сказать эти два слова — самая важная и трудная наука для жизни и смерти». В окончательной редакции не показано, как умер Каратаев: услышав сзади выстрел, Пьер не понял, что случилось, шотом прибежала собака. Но многие из нас видели эту картину в лагерях: Каратаевы умирали без страха и без бахвальства, совсем просто. Ляжет лицом в снег или в траву. Если не позволят лечь — стоит, опустив глаза. И, конечно, без признака осуждения кому бы то ни было.

В окончательной редакции не осталось философских дискуссий Пьера с Каратаевым, но они сохранились в преображении художественного показа. Имя Бога ни один, ни другой почти не упоминают. Чувствуется, что Каратаев видит в Боге общего отца, а в людях и даже животных — своих братьев, и неизвестно, что пришло раньше, общее сыновство или общее братство. Что из чего вышло, размышлял Толстой всю жизнь, с чего надо начинать: с жизни для Бога или с жизни для людей? Мужик у молотилки подсказал Левину, что сперва надо жить для Бога, в последних своих «Дневниках» Толстой поворит об этом, как о самом важном для него открытии. Но для Каратаева здесь нет разделения на «раньше» и «потом» — как его вообще нет в праведной жизни: обе основные евангельские заповеди — люби Бога и люби брата — связаны в нераздельное целое.

Василий Теркин — это современный Каратаев в том смысле, что он так же естественно, как и дог, осуществляет братство со всеми. Эпохи различны. Тот вышел из крепостного мрака, этот — из гражданской и двух мировых войн («Я вторую, брат, войну, на веку воюю»). Тот — смиренный, этот, по внешности, разудалый озорник. Тот — икона, этот — наш общий знакомый. Их разделяют больше ста лет, но суть у них одна. Перечитайте еще раз походжения Василия Ивановича Теркина, вздумайтесь в его дела и слова, постарайтесь перевоплотиться в его дух. Тогда перед вами начнет открываться то, что вы сами уже давно знаете — что такое русский праведник, основной, главный, всё на себе держащий, крестьянский или христианский человек.



Самое серьезное, хоть и ошибочное возражение относительно религиозной направленности Теркина будет такое: «Теркин активен, а религиозность по самому существу своему пассивна, так как религиозная душа рассуждает не на свои силы, а только на Бога». Это возражение может исходить не только от неверующих, и все-таки оно ошибочно. Религиозность активна, она не считает, что дух — добро, а материя — зло, она стоит за прогресс, за технику, за облегчение труда, за преодоление материальных тягот. Это требует отдельного доклада, так что сейчас ограничусь лишь краткими замечаниями. Дело в том, что религия не статична, а динамична. Она эволюционирует, расширяется в каждой душе, от младенчества до старости, и в веках — в церкви. Младенческая религия и религиозность, действительно, пассивны. Старческая тоже скорее созерцательна. Но в зрелом возрасте религиозность активна. Зрелость не столько говорит «Божья воля», но скорее так: «Мы, с Божьей помощью, перевернем законы природы. Мы уже преодолели многое страшное, — например, беспросветную борьбу за существование. Человеческий род находится на восхождении, сейчас очень трудный перевал. Еще недавно беспросветную жизнь казалось также невозможно преодолеть, как сейчас беспросветную смерть»...

Толстой показал главным образом первую стадию праведности — младенческую. Святость его Елисея и многих других бесспорна (Елисей из рассказа «Два мужика»), но в «Дневниках», начиная с 1890 годов, видно, с каким мученьем он пробивался ко второй стадии, совершеннолетней или активной.

Твардовский, которого я, конечно, не сравниваю по таланту и влиянию с Толстым, как и другие наши современники в России, в Европе и в Азии, ощутя подходить к религиозности совершеннолетней с неизбежными отступлениями, срывами, падениями. В этом смысл нашей эпохи. Внешне это, как всегда бывает в кризисные периоды роста, замутняется кажущимися успехами атеизма. Но об этом в другой раз. Возвращаясь к Теркину, напомним, что там в каждой строке идет речь о соучастии человека в творческой активности, и даже не под маской атеизма, как это приходится изображать большинству наших писателей. Очень знаменательна глава «Солдат и смерть», где прямо говорится, что сама смерть не властна над человеком до тех пор, пока он, после того как поймет что-то очень важное, не даст ей своего согласия. Платон Каратаев всегда знал это важное, но подсознательно, и не мог вполне передать свое знание другим. Это одна из задач новых поколений и веков, когда сверху как бы подкачивается человеку: «Теперь ты взрос, действуй сам. Земля будет менее плодородна, надо тебе изобретать новые машины. Знай, что работа — это тоже молитва».

Существует одна психологическая особенность, по которой можно безошибочно определить праведника. Такой человек во всем похож на других, кроме одного: он совершенно свободен от самолюбия. Если ему случается обрывать насмешку над собой каким-нибудь осторожным замечанием, это не потому, что он оскорблен, а в интересах насмешника, впадшего в дух иронии, которая всегда демонична. Мы все связаны в наших делах и словах заботой о собственных успехах, и нам кажется, что самолюбие — это, скорее, положительное качество. Для праведника — никогда. Праведник поэтому не знает уныния, он выносит нас (в обоих смыслах этого слова), жалеет, ободряет, не боится заразиться нашим малодушием. Он не тот солдат, кто «выносит» лишь самого себя, но тот, кто спасает от опасности других. Заем, праведник деликатен. Даже когда нам кажется, что мы до конца поняли нашего друга, это не нужно показывать, потому что это может повредить. В каждом нужно уважать его личность, которая всегда находится в состоянии эволюции. Настоящий разговор начинается там, где понимают

с полуслова. Когда Теркин шутит, т. е. почти всегда, нужно вслушиваться внимательно, это значит, что речь идет о вещах, о которых нельзя говорить иначе. Под шутливой формой здесь — внимание к собеседнику, деликатность на границе застенчивости, когда она происходит из боязни ранить. В главе, где описана встреча Теркина с генералом, изображено это взаимное понимание без слов двух героев и невозможность для них высказаться ни прямо, ни даже обычным для Теркина и, вероятно, для генерала каким-нибудь залихватским обиняком. Несмотря на кажущуюся многоречивость, Теркин не болтлив. Вспомните, как кончается глава «Два солдата». На вопрос старого солдата, самый в ту минуту важный для них обоих, Теркин отвечает не мгновенно, не машинально, как обычно, а может быть, час спустя, и в его ответе всего два слова.

Твардовский говорит, что теркиных в армии было много, может быть, в каждой роте, если не в каждом взводе. Мы их встречали. Без них жизнь была бы невозможна и давно прекратилась бы. В условиях мирной жизни они менее заметны, потому что их мудрость как раз противоположна хвастливому уму. В прошлом она иногда принимала облик породства. В заключение Твардовский пишет, что все русские солдаты — потенциальные теркины, на всех лёг отблеск этого смиренного мудрого озорника. В конце войны, в Германии, мы и на самом деле окликали любого встречного солдата: «Эй ты, Тёркин!» Но если бы настоящему Тёркину пришлось, действительно, встретить своего двойника, они не нашли бы ничего сказать друг другу, могли бы только многозначительно переглянуться, как два заговорщика: потому что здесь им некому было бы помогать. Об этом прямо говорится в главе «Тёркин-Тёркин», когда начальник переводит второго Теркина в другую роту.

Лучшие поэты человечества это те, кто доходили до идеала Правды, но их читатели, стали ли они правдивее? Впрочем, если ученики Толстого в своих писаниях стали добиваться правдивости, это уже достижение. Но когда человек забывает о себе, живет среди нас, он всех нас преображает одним своим присутствием. Влияние его велико, хоть и незаметно. Высказывания его запоминаются нами навсегда, они звучат иначе, чем наши разговоры, хотя бы подобные мысли мы раньше читали в книгах. Потому что всё, что он делает и говорит, исходит из его сердца, и только сердце способно разбудить наши дремлющие сердца. То, что говорит такой человек, он не обдумывает заранее и сразу же забывает, так что не может повторить, если его попросят, на этом сделан упор в изображении Каратаева.

Что бы ни делал Тёркин, он изменяет своих друзей и очищает их смутные сны о жизни. Многие из его знакомых впоследствии скажут: «он не унижал нас критикой и всегда понимал».

На этом я заканчиваю сегодняшний доклад, сказал Борис. Только еще одно замечание. Я не думаю, чтобы Твардовский когда-нибудь внимательно прочитал Евангелие. Но «Дух дышит, где хочет» и подкашивает кому хочет — в данном случае, коммунисту. То, что Твардовский искренний партизек, видно из первой его поэмы — «Страна Муравия». Уже само заглавие указывает на толстовское влияние. Я говорю про «муравейных братьев» Толстого-ребенка (игра во всеобщее братство, придуманная его старшим братом Николаем). Толстой ставил целью искусства не отражение жизни человека вообще, но только трудовой жизни трудового человека. По Толстому, русское крестьянство по самой сущности своей религиозно, так как оно несет и всегда несло в себе стремление преодолеть небратское состояние между людьми, чего нельзя сказать про другие сословия в целом, хоть из них выходили отдельные праведники. Горький пытался перенести это свойст-

во прирожденного братства на сословие городских рабочих, но это вышло менее убедительно, может быть, потому, что сам Горький в этом не был вполне уверен. Крестьяне для Толстого — это подлинные христиане, несмотря на окутывающую их «власть тьмы», потому что для них христианство — не утешительное «миросозерцание» эгоистов, а жизнь для Бога и для ближних. И это же ощущение, подспудное, законспирированное можно прощупать у некоторых писателей наших дней в их прирожденном антагонизме или интуиции бытия. Но наша большая литература всегда об этом догадывалась, начиная с Пушкина и даже раньше, начиная с былин, в которых участвует Святогор и особенно крестьянский сын Илья Муромец. Этот последний скоро становится всеми признанным вожаком, он — главный из богатырей, ему подчиняется и знатный Добрыня Никитич, дядя князя Владимира, и богатый купец Иван Гостыинный, и ученый маг Алеша Попович, прообраз будущей интеллигенции, и буйная вольница — Васька Вуслаев. Эта власть над всеми крестьянского сына немальсима ни в каком другом эпосе, кроме русского. Ни в Западной Европе, где крестьянин («виллан» или «пейзан», одного корня со словом «поганый», язычник) в лучшем случае, верный оруженосец при рыцаре; ни в Индии, ни в Китае, где вообще не было народного эпоса. Только у нас крестьянство, по самому своему наименованию, явилось главным *религиозным* сословием, и это означает, что Христос соединился с русским народом через душу крестьянства, и никакими силами их разделить нельзя.

На этом Борис Н. закончил. Прений не было, мы поблагодарили докладчика и разошлись. Я тогда же записал содержание доклада, которое сейчас переписал из старого дневника. Сейчас, как и тогда, мне кажется, что если что и преувеличено относительно религиозности Василия Тёркина, то сущность всё же уловлена правильно — народные духовные силы просыпаются, да они никогда и не засыпали по-настоящему. Здесь, в эмиграции, это рискует быть неправильно понятым. Недавно мы хоронили здесь юного поэта, он был из линии Иннокентия Анненского, умирал трудно и мучительно, так же как Анненский очень боялся смерти. Не так давно я спрашивал его мнение о Тёркине — оказалось, что он совсем не считает эту поэму значительной. «Так, вроде куплетов о головорезе Кузьме Крючкове 1914 года»... Такова была его оценка. Ученый горожанин, интеллектуал оторвался одновременно от земли и от неба. Неученый Тёркин сердцем знал, что небо и земля сильнее всех ужасов смерти. И Пушкин, и Толстой, и Достоевский, хоть и по-разному, но все нашли свой путь, прочно утвердившись на земле, которой питаются корни жизни.

Я всё-таки пошло эти страницы в журнал, хоть и не уверен, что они смогут здесь многих заинтересовать. Здесь всё еще живут, как в эпоху Анненского, когда «на верхах» каждый оставался обособлен.

Но Анненский и его перекочевавшая в эмиграцию школа — это ведь тоже подлинная поэзия. Потому что в царстве поэзии, как в Царстве небесном, много разных юбилей, и каждый, кто туда попадает, находит подходящую для себя.

# Трибуна писателя и читателя

Н. Нароков

## Принцип, преферанс и сапоги

(Жалоба)

### I

Не так давно заходил ко мне Петр Васильевич. Поговорили мы о том, о сем, а потом речь зашла о Борисе Михайловиче. Я и раньше знал, что Петр Васильевич Бориса Михайловича недолюбливает, а в этот раз окончательно в том убедился: и такой-то он, по его словам, и сякой, и этактй. И безвольный-то, и ветренный, и истерический, и лелкомысленный... А в конце концов —

— Беспринципный, — говорит, — человек, ваш Борис Михайлович, вот что! У него, — говорит, — совсем нет никаких принципов.

У меня чуть было не вырвалось в ответ:

— И слава Богу!

Но я вовремя удержался. Запирать беспринципность было бы с моей стороны по меньшей мере рискованно. Хорошо если в ответ упрекнут только в легкомысленном оригинальничанье и в безответственном пристрастии к пустопорожним парадоксам, а то ведь, чего доброго, сразу обвинят тебя в реакционном мракобесии. От наших оппонентов того и жди, с них станется!

Поэтому я своего «Слава Богу!» не сказал, а напротив того: из приличия и из гостеприимства стал даже поддакивать Петру Васильевичу, хотя и очень неопределенно: «Да, есть маленько этого самого в Борисе Михайловиче! Беспринципен он не беспринципен, а что-то около того!» Но когда Петр Васильевич ушел, я задумался: хорошо или плохо то, что у Бориса Михайловича нету принципов? По первому взгляду оно, конечно, кажется, что это даже очень нехорошо, особенно в наше время, когда все вокруг нас переполнено принципами и вооружено ими, как говорится, до зубов. Но если вдуматься как следует, постараться проникнуть в самую суть и посмотреть не только на наши принципы, но и на нас самих, то, право, решишь, что беспринципный человек более приятен в обхождении и менее опасен для общества, чем зараженный принципами. Должен признаться, что как ни почетны и как ни уважаемы принципы, но я признаю их только в принципе (не взыщете за этот скверный каламбур!), а в жизни я всегда опасливо настораживаюсь, чуть только почувствую их приближение. Дело в том, что я невольно вижу в них какую-то скрытую опасность или, по меньшей мере, упреку: и общественному спокойствию, и, главное, здравому смыслу.

Принципы — штука тонкая и ответственная. И нечего ими все время семо и овамо без толку размахивать или ловой каприз ими объяснять. С принципами надо обращаться умеючи и бережно, надо их ценить по-настоящему. Конечно, каждый

из нас уверен в том, что он-то как раз и умеет обходиться с принципами, а поэтому и имеет право говорить о них авторитетнее, чем Эйнштейн об относительности, но... но ведь каждый неопсовелый «младый вьюнош» в 15-16 лет тоже уверен в том, что он в совершенстве умеет пускать фэйрверки, хотя он орудия их не пускал и, следовательно, толком не знает: опереди или сзади их надо запаливать. А поэтому люди и говорят, что пиротехника — это искусство либо дом сжечь, либо себя на весь век калекой сделать. И мы, конечно, препятствуем неопытным в пиротехнике подросткам запускать в небеса ракеты: беды надеждают. Почему же, хочу я вас спросить, мы не препятствуем людям, неопытным в обращении с принципами, запускать эти самые принципы прямо в нашу жизнь? Неужто они в неопытных руках менее опасны, чем ракеты и бураки в руках мальчишек? Или вы думаете, что научиться правильному обращению с принципами легче и проще, чем с римскими свечами и огненными колесами?

С другой же стороны принципы можно и должно уподобить знамени, которое, как известно, есть священная хоругвь. А дайте-ка эту самую священную хоругвь Софье Павловне, дайте-ка! Она не посмотрит на то, что хоругвь эта священна, а сейчас же начнет прилаживать: нельзя ли ее к какой-нибудь хозяйственной потребности приспособить? И, поверьте, обязательно кончит тем, что узорами и вышивками полотнища знамени она отделает себе новое платье, потому что — «очень уж они хорошенькие!»

А если вы эту священную хоругвь поручите заботам Степана Ивановича, он сразу почувствует себя таким знаменосцем и так высоко нос задерет, что с ним даже водку будет пить неприятно.

— Что это с вами, Степан Иванович? Чего это вы какой-то такой в последнее время стали?

— И совсем я не какой-то такой, а не забывайте, что я теперь стою у знамени, да-с! И, значит, я теперь обязан изю всех моих сил наблюдать, чтобы никто на это знамя косо не посмотрел и, не дай Бог, в его сторону ненадоком не плюнул. Так-то-с! Знамя, оно... обязывает! А между тем — ваше здоровье! Давайте-ка под речечку со смеланой выпьем... Оно чудесно!

И в самом деле: ведь понимать истинное назначение знамени Софье Павловне не дано, а вот желание похвастаться оригинальной вышивкой на платье очень даже дано. Поэтому если вы позволите Софье Павловне иметь принцип, так она с ним такого понаделает, что только руками разведешь! Либо его к пельменям приспособит, либо к ювоей ссоре с Марьей Игнатьевной приладит. Вы улыбаетесь? А я совсем не в шутку говорю и думаю, что я со всех сторон сейчас прав.

Я ведь на основании жизненного опыта сужу и о Софье Павловне не без данных рассуждаю. Я ведь знаю, что эта самая Софья Павловна дама не простая, а очень даже с принципом. Право, не знаю, как этот несчастный принцип попал к ней, однако же вот попал. И знаете вы, какое она ему применение нашла? Она его к преферансу приспособила... Честное слово! Вот поиграйте-ка с нею в преферанс, так обязательно от нее услышите:

— Я на три туза принципиально не покупаю!

Вы, может быть, привыкли думать, что поккупка на три туза есть дело расчета или риска, а вот Софья Павловна в ней принцип усмотрела. А какой тут может быть принцип, и каким боком он в преферансе помещается, этого я вам объяснить не могу, потому что и сам этого осмыслить не умею. Однако помещился и... Ничего! Живет! Многие выолушывают о нем даже с почтением и уважением, потому что Софья Павловна говорит о нем не просто, а твердо, гордо и даже с самодовольством существа высшего порядка:

— Принципциально не покупаю!

Так что же вы мне прикажете делать? Преклоняться перед Софьей Павловной, что ли? Вот, мол, кругом нас всё беспринципные люди ходят, а Софья Павловна — женщина с принципом! Так, что ли?

И Степан Иванович тоже недалеко от нее ушел: тоже принципциальный человек. Он, надо вам знать, когда себе ботинки покупает, то обязательно на номер больше берет. Конечно, тесные ботинки — мука, но и в чересчур просторных тоже легко мозоли себе напереть. Впрочем, пусть каждый рассуждает, как хочет, и если ты любишь просторную обувь, то и люби ее себе на здоровье. Но принцип-то тут при чем, скажите мне на милость? Принцип-то тут при чем? А Степан Иванович эти свои просторные сапоги именно в принцип возвел. Так он о том и говорит:

— Я ботинки принципциально на номер больше всегда беру. Принципциально!

Что вы с ним прикажете делать? Не тревать же с ним знакомства из-за такого, извините за выражение, принципа!

Прислушайтесь-ка внимательно, и вы частенько нечто подобное от людей услышите:

— Нет, я на этот фильм принципциально не ходила смотреть!

— Вы закусьвайте, как хотите, а я первую рюмку принципциально селедкой закусьваю!

— Я сама всегда слежу за модой и стараюсь одеваться как следует, но этих юбок с плиссированным клёшем я принципциально не ношу!

— Я дамам при встрече всегда ручки целую... А почему? Потому! Принцип у меня такой: принципциально целую.

— А я как раз наоборот: принципциально не целую!

У одной принцип в преферанс скакнул, у другого в сапоги залез, у третьего в селедке поместились, у четвертой в плиссированных складках застрял. Футы, батюшки, какая пропасть, оказывается, принципциальных людей вокруг нас ходят! И каждый, поди, Бориса Михайловича осуждает:

— Беспринципный он человек!

А спросите-ка вы их, что такое принцип и что такое беспринципность, так они вам такое ответят, что вы, пожалуй, свое имя-отчество забудете. Право! Я однажды как-то не побоялся и спросил:

— А как это понимать — беспринципный человек?

И получил столь полновесный ответ, что у меня даже галстук сам собою на сторону обился:

— Беспринципный человек? А это, если попросту сказать, — сволочь и больше ничего!

Что такое принцип, и для чего он существует? С борщом его надо есть или под подушку на ночь класть, чтобы сладкие юны снились? Неизвестно. А поэтому наши люди с принципом и тыкают его либо в преферанс, либо в сапоги.

Удивляться тут нечему: по незнанию еще и не то наделаешь! Дикари, например, со многими предметами нашего обихода не умеют обращаться и их назначения не знают, а поэтому и чуют: дикарь способен кухонную кастрюлю себе на голову надеть вместо головного убора и кусок мыла на завтрак сжевать вместо голландского сыра. Не прикажете ли вы мне начать уважать этого дикаря за то, что он, дескать, приобщился к культуре и вот даже кастрюли и мыло в свой обиход свел. Так почему же я должен уважать Софью Павловну за то, что она не просто, а принципциально себя ведет? Уж я лучше ее за что-нибудь другое, стоящее, буду уважать, а не за ее принципциальные при туза. Если кастрюльная шля-

па не делает дижаря культурным, так неизбежно (сложно-преференциальный принцип) делает человека принципиальным?

Нет, нет! Если человек не понимает, что принципы совсем не для сапог и преференсиса руководят людьми, так такой человек пусть лучше беспринципным остается. А то ведь один только смех, право!..

Смех-то смех... Но только чего-то этот смех иной раз совсем не смешным получается.

## II

Если бы дело было только в смехе, то, пожалуй, и говорить было бы не о чем: чужды Софья Павловна со Степаном Ивановичем? Ну, и пускай себе чужды, себе на здоровье, нам на веселье. Но, к сожалению, в их руках принцип порождает не только смех, а еще и грех.

Не знаю, право, почему и как оно получается, но получается оно очень неладно. Чуть только у человека появляются принципы (хотя бы и сложно-преференциальные), так обязательно вместе с ними появляются у него нетерпимость и лютость. Трудно понять: порождают ли принципы эту самую зловредную нетерпимость, или же она только сопровождает принципы в качестве обязательного свойства, но только принципов без нетерпимости и лютой я не встречал.

Пока человек ходит без принципов, он ко всем людям относится терпимо, снисходительно, тепло, с уважением. Выслушает чужое мнение и, хоть и не согласится с ним, а все-таки признает его:

— Да, пожалуй! Со своей точки вы правы.

Он понимает, что существует «своя точка» и что человек со «своей точкой» есть все-таки существо, которого не только не надо со света сживать, но которого можно уважать, любить и к которому можно относиться заботливо, дружественно и бережно. Человек без принципа не сможет в своем оппоненте видеть врага, которого обязательно надо в порошок стереть и в ступе истолочь, а будет с ним дружбу водить, мирно под ручку разгуливать и про лунное затмение расспрашивать: не может ли от него быть ущерба климату, и правда ли, будто от него журы нестились перестают?

Если же человек вооружится принципами, то он сразу же наполнится нетерпимостью, которую и начнет проявлять в размерах не меньше, чем в зоологических. Такой человек «своей точки» ни для кого не допускает, права на инакомыслие ни за кем не признает и способен видеть свет только в своем окошке. В наше время это стало явственно видно: товарищи коммунисты научили. Они по отношению ко всем тем, которые их принципа не разделяют, ведут себя не только презрительно и уничижительно, но уничижительно и испепелительно.

Конечно, наши земляки до уничижения и испепеления не дошли (я чуть было не сказал — «еще не дошли!»), но презрения и ненависти у них ко всем инакомыслящим — хоть отбавляй. Не допускают они никакой «своей точки» и — шабаш!

— Как ты смеешь, дурак и подлец, иначе мыслить, чем мыслю я!

И если такой принципиальный человек до смертоубийства не доходит, то только оттого, что он полицейского побаивается. Если же полицейский куда-нибудь исторически отличился или же если, не дай Бог, принципиального человека самого на полицейский пост поставили, то...

Возьмите вы ту же Софью Павловну. Она тех партнеров, которые на три туза покупают, не только за преференсисов, но даже и за людей не считает. Та-

кивели глазами на них смотрит и такие слова про них говорит прямо в лицо, что те, голубчики, только жарёжатся, как береста на огне.

— Василий Андреевич? Да разве же он идиот? Дурак он, и больше ничего! Он ведь постолянно на три туза покупает!

А Степан Иванович, если узнает, что вы себе ботинки покупаете как раз по ноге, так он способен вас всего оплевать.

А попробуйте вы им возразить! Попробуйте доказать, что они ошибаются и что можно их принципу не следовать: и на три туза можно покупать, и ботинки по ноге носить. Попробуйте-ка! Был у нас один партнер, который осмелился с Софьей Павловной вступить в дискуссию о трех тузах, так рац, бедный, не был. Та сейчас же разгорячилась, разволновалась, глаза у нее зашверкали и руки замахали.

— Это, — кричит, — совсем надо ничего не понимать в преферансе, чтобы утверждать, будто на три туза покупать можно! Бывают, знаете ли, лаштеплёты, но таких я еще не видывала! Да я после этого с вами не только в преферанс никогда не сяду играть, а и вообще-то... Ведь то, что вы говорите, абсурд, ахинея, ерунда, чепуха! Вот уж подлинно, если Бог захочет наказать человека, то отнимет у него разум!

И пошла, и пошла... С грязью его, можно сказать, смешала.

И Степан Иванович тоже такой:

— Фитюлька вы, коли утверждаете, что ботинки надо по ноге покупать! Ведь каждый, у кого мозги есть, понимает, что от тесной обуви мозоли будут, а их никак невозможно допускать: мучка! И мало того, что вы фитюлька, вы еще и недоносок с прыщиком! Тоже! Туда же! Беретесь рассуждать, а выходит у вас одно только голое идиотство, а больше ничего! Ведь для того, чтобы рассуждать, надо в голове разум иметь, а не пустоту с дыркой! А еще говорите, будто университет окончили!

Должен сказать при всем этом, что во всякое другое время и Софья Павловна, и Степан Иванович — премилые люди: отзывчивые, обходительные, душевные. Зайдите-ка вечерком к Софье Павловне, так она вас так примет, что у вас душа распает: и чайком напоит, и «Молитву Девы» на пианино сыграет, и о том, как она во время оно на балу танцевала, расскажет. Обсереет вас всего своим радушием и гостеприимством! И Степан Иванович тоже: и в беде поможет, и сочувствие проявит, и водочкой вас угостит, и старый анекдот «не для дам» вспомнит. Душа-человек! Но чуть только вы их принцип не уважите, они сейчас же взбеленятся и прямо-таки неузнаваемы станут. А почему? Потому что они три туза и сапоги в принцип возвели. Если бы не принцип, так они, уверяю вас, много снисходительнее к людям были бы. А ежели с принципом, — так лучше бети от них! Заклюют!

Припоминаю историю человечества. Войны всегда были войнами: жестокость, кровь и насилие. Но в обычные войны враги умели уважать друг друга, лежачего не били и даже благородство иной раз проявляли. Но в тех войнах, которые затевались «из-за принципа», не только жестокости, крови и убийств было сторицею, но и весь воздух переполнялся неутолимой ненавистью и ненасытной лютой: люди ненавистью прямо взасос дышали, словно она была им милее чистого воздуха и ароматного благоухания. Таковы были всякие междоусобные, религиозные и гражданские войны. Уж в них звериная жажда полного и обязательного истребления врага со всем его семенем доходила до такого предела, что земля в утроб превращалась и кровь вместо дождя с неба падала. И



при этом неукротимом истреблении применялось самое отточенное мучительство, потому что... потому что —

— Как смеешь ты, подлец, иначе верить, мыслить и хотеть, чем я!

Так оно было, так!

И помимо войн всегда оно в жизни так было, когда во взаимоотношения людей вмешивался принцип. Прониклись люди принципами христианского католицизма, — инквизицию учредили и начали других людей живьем на кострах сжигать и при том очи горе воздвигать: «Мы только принципиальную борьбу с еретиками ведем, а человеческой крови не проливаем!» Выработали после того принцип — «свобода, равенство и братство», — и тотчас же милыотины начали по городам славить и людям головы рубить, чтобы никаких посягательств на новые принципы ни с чьей стороны не было. А когда (на наших глазах) люди уверовали в марксов принцип классовой борьбы, то чрезвычайно организовали и начали истребление правдан во всенародном масштабе, без отдыха и срока.

— Я признаю папу римского, а он не хочет папу римского признавать: на костер еретика!

— Я республике поклоняюсь, а он о реставрации Бурбонов мечтает: голову долгой с роялиста!

— Я коммунизм строю, а он частную собственность отстаивает: к стенке контрреволюционера!

Совершенно несомненно, что если людям предоставить возможность безнаказанно защищать их принцип, так прирост населения во многих странах значительно сократится: убыль начнет превышать прибыль.

А какую цель преследуют все эти принципиальные люди, столь яростно защищающие свои принципы? Боюсь, что ими руководит не стремление наставить заблуждающихся на путь той истины, в которую они верят, а руководит ими лютая злоба и ослеплая ненависть ко всем инакомыслящим. Поэтому они и становятся чересчур скорострельными:

— Уничтожить всех этих инакомыслящих!

Конечно, к методам уничтожения имеют возможность прибегать только те даровитые натуры, которые обладают завидной способностью воплощать в себе и проповедника, и палача, а поэтому оперируют не только словами убеждения, но и пулей из пистолета. Натуры же недаровитые, которые по своей бездарности даже курицу зарезать не в состоянии, ограничиваются действиями меньшего масштаба, но того же самого содержания: обливанием помоями, поруганием родственников по материнской линии и иной раз несильным, но выразительным заушением.

### III

Конечно, возникает важный вопрос: отчего происходит то, что принцип у этих людей сначала в преферанс попадает, а потом в нетерпимую ненависть перерождается? Оттого, думаю я, что эти люди понятия не имеют, что такое принцип, чему он должен служить и как с ним следует обращаться. Вот они и начинают к месту и не к месту твердить — «Принцип! Принципиально!» и даже не догадываются, что это совсем не принцип у них, а блажь. Да и не простая блажь, а «принципиальная», извините вы меня за такую шутку.

Нет, боюсь я людей с принципами! Право, боюсь! Если бы эти люди ограничивались только тем, что напяливали бы кастролю на голову вместо шляпы или кокетничали бы словом «принцип» вместо слова — «прихоть», я бы не возражал:

смешно оно? ну, и ладно, давайте посмеемся. А то ведь они, эти наши принципиальные люди, зло и беду с собой носят, драбни и ссоры создают, взаимных недругов и врагов плодят, жизнь другим людям отравляют, а в идеале до взаимного уничтожения доходят. Нет, уж лучше будет, если неоповелые подростки, не умеющие обращаться фейерверками, начнут эти фейерверки в небо запускать. Пожар будет? Не беда: пожар потушить можно, а растления, которое вызывается неумелым обращением с принципами, ничем не изживешь.

Нет, боюсь я принципиальных людей! Право, боюсь!

## «Взгляд, затянувшийся папироской . . .»

(Протест против безграмотности)

Небрежность авторов и недостаточное внимание редакций — вот общая причина постоянных нарушений норм литературного языка в русской эмигрантской печати. Вот сводка фактов, собранных за малое время.

### *Многострадальные деепричастия*

Для некоторых авторов управление глаголом — просто китайская грамота. Больше всего приходится терпеть деепричастиям, с ними совсем не церемонятся.

*«Глядя снизу, эти фрески производят впечатление гигантских гравюр».*

Кто же глядит снизу? По точному смыслу этой ученой фразы, глядят именно фрески.

*«С наслаждением затянувшись папироской, мой взгляд падает на письменный стол».*

Кто затянулся папироской? Взгляд затянулся. Этому нельзя поверить, но так написано.

*«Пролетая над Соединенными Штатами, происходит разговор».*

Что с этим разговором: пролетает он или происходит?

*«Отдыхая в Сочи, его однажды случайно занесло в сад».*

А зачем сюда занесло деепричастие?

*«Осторожно к ним подойдя и спросив их, они сами вам признаются».*

Значит, они осторожно подходят и спрашивают. А признается кто же?

О деепричастиях написано еще в грамматике Мелетия Смотрицкого, и в старину с ними обращались более уважительно. Чехов, когда захотел пошутить, написал: «Подъезжая к своей станции и глядя на природу в окно, у меня слетела шляпа». Нынешние авторы уже не шутят, а пишут такие вещи вполне серьезно.

Если бы писали бы лучше бы . . .

Частица *бы* — это послоглаговое наклонение, условная форма. Для одного предложения достаточно одного *бы*, между тем, в нашей прессе читаем:

*«Я хотел бы, чтобы он не высказывался бы».*

*«Чтобы были бы . . .»*

*«Если бы войска . . . не были бы в Европе».*

*«Если бы эта формула являлась бы . . .»*

*«Если бы автор подумал бы об этом».*

## Странные обороты

«Не начатое мною дело продолжил другой».

Как можно продолжить то, что и не начиналось?

«Общая сумма подарков выразилась в огромную сумму».

«Модель турбины для движения завода».

«Портрет писательницы, окруженной своими двумя детьми».

Двое детей физически не в состоянии окружить даже родную мать.

«Пароход выходит на широкую водную ширь реки».

«Согласно специалистам по вопросам...»

«Согласно государственному секретарю...»

«Обработанные поля и сады делают реку очень культурно выглядящей».

«Глазунов... помог Шостаковичу закончить свое музыкальное образование».

Да не свое же, а его! И еще лучше без местоимения.

«(Проблема), поиски решения которой правительства... будут продолжать искать».

Допустим, автору некогда было перечитывать, что он там написал, но неужели и в редакции не читали?

«Она с благодарностью его (кулич) принимала и благодарила».

«Часы снова опали ходить».

Не могло этого быть. Часы не ходят, а только идут. В данном случае: часы снова пошли.

«Странное любопытство, если только оно есть в наличии».

Наличие любопытства... Ох!..

«Около пяти подводных лодок».

Пять — слишком уж небольшое число, чтобы иметь еще «около». И сколько же это будет — «около пяти» — три или четыре? Так почему бы не сказать прямо!

«Полиция не приняла никакого участия в какую-либо сторону».

Вероятно, это должно означать, что полиция не была ни на чьей стороне?..

## Красоты стиля

«Для режима представляет гораздо большую опасность дальнейшее оставление населения пребывать в нищете».

Какой фантастический способ управления глаголом!

«Три каменных столба от когда-то имевшегося античного храма».

Имеющийся оборот звучит, как пародия.

«Человек, сидевший за рулем, остановил автомобиль и с быстротой молнии скрылся во мраке ночи».

Неужели с быстротой молнии? Да еще во мраке! Что и говорить — проворный парень.

«Ароматный запах ландышей придавал свежесть».

Чему придавал свежесть? Неизвестно, дальше точка.

«Роща серебристых берез попеременно смешивается с золотисто-желтыми сосновыми великанами и опростыми мохнатыми елями».

Давайте разберемся: если березы перемежались с елями и соснами, то уже не было березовой рощи, а только смешанный лес. И что значит — попеременно смешивается?

«Под звуки гармоний... льются мелодии».

Очень музыкально получилось, но не совсем понятно. Из чего состоит льющащийся мелодия? Должно быть, из тех же звуков.

«В загородном имении Итона Микоян формально поднес ему подарок Хрущева — коляску и тройку лошадей».

«Максимилиан... поднес Хрущеву книжный шкаф... Хрущев отблагодарил своего гостя, поднеся ему тройку вороных лошадей».

Как это можно поднести шкаф и тройку лошадей? Стул поднести — это еще куда ни шло, но поднести хотя бы одну лошадь (даже формально) — очень трудное дело. Когда подносят цветы или коробку конфет, это понятно. Тройку лошадей можно только подарить.

### Чувство благодарности

«Беспорядки начались благодаря тому, что было запрещено собрание».

«... число разграбленных магазинов равняется 17-ти (а почему не сказать проще: разграблено 17 магазинов?), благодаря чему около 80 португальцев очутились буквально на улице».

«Благодаря забастовке весь транспорт оказался совершенно остановленным».

Фразеологические обороты нельзя растягивать, как попало. В этих трех примерах благодарить совершенно не за что. Не менее глупой была бы такая фраза: *благодаря* эпидемии вымерло множество людей. Не *благодаря*, а *следствие*, *из-за*, *по причине* — выбор есть, но чувство благодарности почти всегда побеждает.

### Затертые пятаки

К числу ходовых словечек, которыми пользуются механически, без всякого смысла, принадлежит унылая трійка: *лично, исключительно и вообще*.

«Автор статьи имел случай *лично* быть в Москве».

«Он *лично* видел...»

«Стравинский *лично* дирижировал оркестром».

«Маю Цзэ-дун прибыли *лично* провожать главу советского правительства».

Во всех этих примерах слово *лично* не имеет никакого смысла, но авторам кажется, что оно звучит литературно.

Другой затертый пятак — *исключительно*. Также звучит солидно, но в большинстве случаев смысла не имеет.

«*Исключительно* красивый дом».

Как это понимать? Этот ли дом исключается из числа всех остальных, или все другие дома исключаются? И как их можно исключить, откуда, каким способом? Может быть, это значит очень красивый дом?

«Почти *исключительно*».

Этого выражения совсем нельзя понять.

«*Исключительная* фантазия строителя».

«Троя и ее *исключительный* успех... (через три строки) добился *исключительных* успехов... (немного дальше) столь *исключительные* клады...»

Ни чувства языка, ни чувства меры.

«Каждый фермер здесь сам себе агроном, а плановиков нет *вообще*».

Если их нет *вообще*, то могут быть в *частности*. В большинстве случаев, когда встречается это затертое словечко, его следует заменить более точным: *совсем, вовсе*. Он *вообще* не знал — он *совсем* не знал, он *вообще* не приходил — *совсем* не приходил...

## Борьба с грамматикой

Всякие нормативы истощают свободу творчества. Каждый умеет писать. Поэтому наступление на грамматику идет развернутым фронтом, и грамматике приходится частенько отступать в беспорядке.

«Банкет был устроен в кафе, *находящееся* на Фундуклеевской улице».

«Не оказалось *целинных* и *залежных земель*» (земель!).

«Встречались прекрасные *рощи чистого леса* (какое странное выражение — рощи леса!) без зарослей *высокой травой*» (высокой травы?).

«Озабочено об укреплении...»

Озабоченный *чем*, а не о чем.

«Связаны с теперешними *хозяинами*» (хозяевами!).

«Не возлагать на Фармозу *особенные надежды*».

Частица *не* требует родительного падежа. Об этом писал еще Пушкин.

«В Вашингтоне удивлены *воинственному* характеру речи Громыко».

Удивляться *чему*, но удивлены — чем.

«Одетый *всегда* в блузе».

Одетый не в чем, а *во что*.

«Люди, заслужившие *особой чести*».

Здесь нужен винительный падеж: заслужившие *что*.

«С *жалюзями* на окнах».

С каких это пор начали склонять жалюзи? Прежде не склонялось.

«В личную *безупречность* которого никто не сомневается».

Сомневаться в *чем*, в личной безупречности.

«На *по-весеннему* светло позеленевшей траве».

Двум предложениям *слишком* тесно рядом. На траве, *по-весеннему* и т. д.

«Женятся и выходят замуж *на* и *за* государственных девушек и парней».

Столкновение предлогов, пребывающих разных падежей, сделало фразу «исклчительно» безграмотной. Да и что это за «государственные» девушки и парни?

«Бельгийцы, так *ценящие* и *гордящиеся* своим Конго...»

Здесь два причастия с разными падежами. Предложение рассыпается.

«Выдающий себя *торговцем*».

Выдавать себя не чем, а за кого (или за что).

## Беспризорная лексика

Сплюшь и рядом авторы не затрудняют себя выбором слов — хватают первое попавшееся.

«Режим будет *свержен*». Не лучше ли — *свергнут*?

«Народные фольклорные танцы». Одно из двух, как говорят в Одессе. «Фольк» по-немецки тоже народ.

«Вода *кивала* солнечно рябя». Трудно понять, как это вода *кивала*, но дело не в этом: встречаем ли в разговорной речи и в литературе деепричастия от таких глаголов — *шить*, *пороть*, *рвать*, *пить*, *есть*?

«Напраздненные *не одевают* напразд». Надо сказать — не носят. А с этим глаголом совсем запутались: *оденьте пальто*, *оденьте шляпу*; *раздел пиджак*... *Одевать* — кого, а *надевать* — что, *раздевать* тоже кого, поэтому *пиджак*, *пальто*, *шляпу* и т. п. не *раздевают*, а *снимают*.

«О предстоящей буре и о *приходе* прома...»

«Не взирая» (не смотря!).

«Через пару часов самолет примет его к себе на борт».

Во-первых, просто на борт. Во-вторых, можно сказать — пара сапог, пара голубей, пара влюбленных. Об этом уже столько раз писали! Но и сегодня читаем: через пару дней я посетил... пара интересных писем... Ни письма, ни дни парами не ходят.

«Океан затопливал пески». Конечно, затоплял. Затопливать можно печи.

«Положение успокоилось».

«Ровно 4 года спустя эвакуации». «Четыре года спустя премьеры». Не спустя, а после. Спустя рукава, спустя лето по майяну — здесь внимательный падеж, между тем существительные при этом наречии ставят в родительном падеже!

«Пароход довоенной концепции» (конструктив).

«Эскаваторные лестницы» (эскалаторы).

«Что она из себя представляет» (собой).

«В живых осталось только всего лишь 10 человек». Здесь нужно выбросить «только» или «всего лишь».

«Несколькими залпами из пулеметов». Нельзя стрелять залпами из пулеметов. Технически невозможно.

«Вернется ли он или нет». «Ли» — выбросить.

«Долгие, несмолкаемые аплодисменты». Таких не бывает, всякие аплодисменты, в конце концов, прекращаются. Следовало сказать иначе: долго не смолкавшие... Но автор — человек самоуверенный и дальше он пишет: «аплодисментам не было конца». Да неужели и до сих пор аплодируют?

«Певвица веселых шансонеток». Но шансонетка и есть певвица.

«Исполнители пения». Каким способом можно «исполнять» пение? Очевидно, посредством пения же.

«Низкий диапазон». Правильно — широкий или узкий. Регистр может быть низкий или высокий.

Заглавие: «Трагическое убийство». Трагический случай или происшествие. Убийство — всегда трагедия. В данном примере это прилагательное совсем не к месту.

Вульгарный неологизм — «волнительный» (т. е. волнующий) — бочком пробрался даже в солидный журнал: «волнительные для нашего поколения вопросы...» За ним протискиваются и другие: «эмотивный» (эмоциональный), «катастрофный» (катастрофический), «массивный» вместо массовый — «массивный отъезд», «массивные бомбардировки». Между тем, массивный и массовый — совершенно разные понятия. Чего доброго, появятся еще и такие словечки: функциональный, моментный, прогрессный и т. п.

### Косноязычие

«Муж и жена подверглись разбойному нападению четырех негров, которые до смерти избili Крумеликова, который через 4 часа умер, и его жену, которая была направлена в госпиталь».

«... в совещании экспертов по изучению способов обнаружения возможных нарушений соглашения о прекращении ядерных испытаний».

«... взять обратно на работу тех рабочих, которые работали на поверхности».

«Этот концерт артист дал... будучи здесь случайно, по приглашению Бель-

гийского Красного Креста, куда (?) был приглашен таковым на благотворительный концерт».

Такое словесное убожество проявляется только потому, что в редакциях некому править материал.

### *Кто во что горазд*

Транскрипция некоторых иностранных слов, собственных имен и географических названий отличается большим разнообразием. В этой области каждый сам себе авторитет. Когда в русский язык вошло слово «бунгало», его тотчас же стали писать по-разному: бунгало, бенгало и даже с дифтонгом — бунгалоу и бенгалоу. Простое слово «зал» все еще пишут и в мужском и в женском роде, а прежде был еще и средний род.

Каролина и Каролайна, Пенсильвания и Пенсильвейния, Арканзас и Аркензо, Ямайка и Джемейка, Кувейт и Кувейт, Бирма и Бурма... Такая несложная фамилия как Труман имеет три транскрипции: Труман, Трумен и Трюмен. Хаммершельду повезло еще больше: Хаммершюлд, Хаммершильд, Хаммершельд, Хаммершюлд и Хаммершюлд. И если бы стали писать еще Хаммерсшильд — тоже никто бы не удивился. Может быть, читатели просто не замечают этого разнообразия, но почему редакции не могут принять какую-нибудь одну транскрипцию?

Когда-то всерьез говорили об уважении к печатному слову. Теперь об этом уже не говорят, да и за что уважать такое печатное слово!

И вот мы стоим перед фактом: уровень литературной грамотности заметно понижается. Повысить его может только внимательное и строгое отношение редакций к принятому для печати материалу.



## Немецкий романтизм и философия истории славянофилов

Понятие славянофильства можно толковать весьма различно; и очень широко и очень узко; и то и другое вполне оправдано. Мое толкование предельно узкое. Моей темой является отношение христианской историософии славянофилов: князя Одоевского, братьев Киреевских, Хомякова и К. Аксакова, к раннему романтизму, как его теоретически понимали и в «сонетах своих дней» осуществляли братья Шлегель, Новалис и Шеллинг.

Прежде чем перейти к анализу этих отношений, мне хотелось бы, во избежание возможных недоразумений, указать на то, что, утверждая зависимость славянофильской философии от романтических концепций, я отнюдь не отрицаю их подлинной русскости. Такое отрицание было бы явной ошибкой. Уже при поверхностном знакомстве с творениями славянофилов становится очевидным, что они принадлежат к самым почвенным, коренным, жизнеустойчивым мыслителям России, до конца понятным лишь на фоне своих барских усадеб с домовыми церквями и крепостными в полях. Лишь в свете этой почвенности славянофилов и их духовной самостоятельности, звучащей, между прочим, в том тоне превосходства, каким юноша Киреевский повествует о своих европейских впечатлениях и знакомстве с Шеллингом и Гегелем, приобретает проблема внутренней связи между немецким романтизмом и славянофильством свое большое, не только литературно-историческое, но и историософское значение. Сущность этой проблемы заключается отнюдь не в одностороннем влиянии немецкой философии на русскую мысль, а во встрече религиозной готики западноевропейской культуры, нашедшей свое выражение в романтизме, с религиозностью русской души, философии впервые осознавшей себя в славянофильстве. Только потому, что романтики жаждали живой религиозной жизни, которую славянофилы традиционно жили, русские мыслители смогли влить свои философские настроения и домыслы в формы романтического философствования. Эта связь романтики со славянофильством была, быть может, лучше всего осознана князем Одоевским, считавшим Россию как бы душеприказчицей умирающей на Западе христианской культуры. Так же понимал задачу России по отношению к Европе и известный католический мыслитель, близкий православию мистик Франц Бадер, твердо веривший в то, что православная Россия еще сыграет большую роль в жизни Европы. Социально настроенный мыслитель и политик, борющийся с «Антихристом»-Наполеоном, он, по всей вероятности, оказал некоторое влияние на Александра I и на идеологию Священного союза. В продолжение целого года (1822-23) он жил в Рос-

или, пытаясь подвинуть ее на выполнение своей христианской задачи перед Европой, что ему, однако, не удалось.

Славянофильское духовнастроение родилось в России под влиянием Отечественной войны и русской победы. Эта борьба и эта победа углубили национальное сознание России и создали целый ряд требующих разрешения проблем. Словно внезапно разбуженные, русские люди с поречью почувствовали и осознали трагическую дистанцию между необразованностью народа и ненародностью образования высших классов; между крепкою народною верою и космополитическим деизмом образованной верхушки общества; между потенциально дремавшей в народе силою и бессилием государства. Ведь победа над французской армией досталась нелегко и, в первую очередь, благодаря поповности народа терпеть и страдать.

Все эти мысли и чувства превратили поставленный нападением Наполеона на Россию вопрос о праве России на существование в более глубокий — о смысле ее бытия, чем и облизлили проснувшуюся русскую мысль с борьбой романтиков за народную мудрость и народную веру против псевдорелигиозного отвлеченного просвещения. Так начинается философское самосознание и самоопределение России не под знаком Логоса, а под знаком Кайроса, не с метафизических и гносеологических размышлений, а с религиозных и историсофских проблем. Это начало оказало на все дальнейшее развитие русской философии очень большое влияние.

Несмотря на то, что воспитатель и отчим братьев Кюлевских тщательно изучил и перевел на русский язык «Критику чистого разума», она почти не оказала влияния на его сыновей и их друзей. Поразительно, с каким зрелым ощущением стиля и сущности русской духовности отвернулись ранние славянофилы от чуждого России кантианства; как они сразу же почувствовали, что для русского сознания трансцендентальное обоснование науки не может заменить непознаваемости трансцендентного мира; как они сразу же уловили нечто чужеродное им в сугубо моралистическом тоне кантовской этики и нечто сугубо этическое в его религиозной философии; как уверенно угадали и отклонили они протестантский дух кантовского критицизма.

При изучении вопроса о влиянии романтизма на славянофилов сразу же бросается в глаза, что они были захвачены не столько отдельными учениями романтиков, сколько всем стилем и духом романтического философствования. Так, например, Шеллинг оказал решающее влияние на русскую мысль, прежде всего, кривой своего развития: пройденным им путем от натурфилософии через трансцендентальный идеализм к философии мифологии и откровения. Этот путь был славянофилами воспринят как тот путь, по которому должна будет пойти вся европейская философия.

Возврат Шеллинга к Богу окрылял их надеждою, что, быть может, в Европе уже назревает сознание возможности такого возврата. С интересом и сочувствием прислушивались они потому к критическим голосам романтиков, занятых вопросом кризиса европейского сознания.

«Полное разведение и обособление человеческих сил», которые могут оставаться здоровыми только в свободном единстве, представлялся Фридриху Шлегелю, как и всем его единомышленникам, главным грехом современной культуры.

Ради преодоления его романялки ожидают и пребуют «любовного воссоединения всех противоречий», «синтетического воскресения всех разведенных областей науки» и обретения того святого средоточия души, без которого невозможно никакое подлинное творчество.

Идея «святого средоточия» — любимое детище романтического философствования и как таковое имеет много имен. В религиозной сфере средоточием является «Бог», в этической — «идеал», в искусстве романтики называют его «душой», в стихах — «сердцем». В философии оно является «иррациональным единением системы и фрагмента». Но всегда и везде оно — «окрыленная полнота», «гармония внутренней полноты», цветение «любви к невыразимому», «влюбленность в микроданное». Как же, однако, дошла Европа до «атомистического распада ювоних душевных сил» и как должно произойти их синтетическое воскресение? На это Новалис дает совершенно ясный ответ. «Полное разъединение всех человеческих сил» произошло потому, что в Европе «Бог стал праздным созерцателем той великой и тропательной игры, которую при свете своего разума затеяли ученые и художники». Если так, то не может быть никакого сомнения в том, что лишь возрождение религиозной жизни может привести к новому расцвету культуры. И романтики не устают провозглашать религию ее «центром», ее «первым и высшим триадинтом», ее «изначальной» сущностью. По мнению романтиков, сила поэзии заключается в том, впитав религию, она возвращается к себе насыщенной ее правдой и силой. Так же обстоит дело и с философией. От возрождения целостного сознания романтики ожидают появления в Европе нового человека и нового общества, обновления культуры и возрождения церкви. Этот романтический идеал, подчиняющий все области культуры, если и не церкви, то все же религиозному началу и представляющий собою полную противоположность идеалу независимых друг от друга автономных областей творчества, теснее всех остальных построений связывает романтизм со славянофильством. Структура его явно иерархична. Всякая область культуры вращается не вокруг собственного, ей одной принадлежащего центра, но вокруг центра, находящегося парадоксальным образом на границе между нею и ближайшей высшей областью. Так, наука обретает свой центр в философии, философия — в искусстве, искусство — в религии, религия — в жизни. Эта «яросость синтеза», в соединении с чувством тождественности религии и жизни, обуславливает весьма сложное отношение романтизма к западным церквям. С одной стороны, можно с правом защищать мысль, что романтики влеклись к сверхконфессиональному христианству и не признавали полноты правды ни за католицизмом, ни за протестантизмом. Так, Фридрих Шлегель определял католицизм как христианство односторонне наивное, а протестантизм — как односторонне «сентиментальное (оба термина в смысле шиллеровской эстетики)». А Новалис высказывал мысль, что папство лежит в пробу, что Рим во второй раз превратился в развалины, но что и протестантизму пора поставить себе вопрос, «не пора ли ему уступить место новой устойчивой религии»? Все это верно, и тем не менее вряд ли можно утверждать, что романтическое христианство было принципиально бесцерковным. Наряду с отрицанием церковности, в романтизме звучит и тема соединения церквей, требование устойчивой церкви, основанной на «подлинной свободе», против которой никто не сможет уже протестовать.

Таково романтическое учение о святом средоточии души и сознания, что легло в основу антропологии и историософии Ивана Киреевского. Впоследствии оно было, не без влияния его жены, углублено знакомством со святоотеческой литературой.

Киреевский был воспитан поэтом-романтиком Жуковским и своим отчимом Влгдичным, знатоком и последователем Шеллинга. По его собственным словам, он рос в то время, когда каждый десятилетний мальчик говорил о «конкретной объ-

ективности». С Шеллингом он познакомился в Московском университете на лекциях известных русских натурфилософов. Осенью 1830 года он выехал в Германию, где слушал Гегеля в Берлине и Шеллинга в Мюнхене, с которыми и лично познакомился. Вернувшись в Россию, он стал издавать журнал с характерным названием «Европеец». Перед лицом всех этих фактов вряд ли правильно отрицать решающее влияние романтиков на Киреевского и связывать его учение, как это делает Гершензон, исключительно с восточными отцами церкви. Эмоциональным центром философской активности Киреевского является борьба с рационализмом, этим исконным врагом целостного сознания. Борясь с ним, Киреевский все же дает себе отчет в том, что современному человеку невозможно вполне освободиться из-под власти отвлеченных начал. Но и признавая это, он требует, чтобы временно неизбежные уступки этим началам кончались бы победою сверхрационалистического познания. Оприщание ratio заходит у Киреевского так далеко, что он решается утверждать, будто бы «мысль ясная для разума и доступная слову не способна действовать на душу и волю. Лишь развившись до невыразимости она приходит в полную зрелость». Отсюда вывод Киреевского: «чем больше человек найдет в душе неразгаданного, тем он глубже постигнет себя, и чем он глубже научится молчанию, тем скорее созреет для действия. Действующая душа должна кипеть, а язык простуживает душу». Так освобождение от рационалистического раздвоения способствует возврату нашей воли в глубину религиозного молчания, таинственно объединяющего все силы человека в святом средоточии души.

Таково учение Киреевского о «святом средоточии» Бытия и Сознания. Остается лишь добавить несколько характерных для него размышлений о стиле и духе живого, творческого философствования. «Слово, — учит Киреевский, — должно быть прозрачным телом мысли и соответствовать всем ее движениям... В его звучании должен живо отражаться каждый вздох рассудка». Этой тайны познания не знает наука: «всякое школьно-закостенелое понятие так же бессильно выразить дух, как груб отразить жизнь». Живое, даже и научное «слово никогда не должно быть ящичком, в который запирается мысль: оно всегда должно быть проводом, передающим ее; слово не должно быть погребом, в котором хранятся сокровища знания, оно должно быть дверью, сквозь которую эти сокровища выносятся наружу». Говоря это, Киреевский верит, что чем больше будет вынесено сокровищ, тем большее количество их скроется в душе: рука дающего не оскудевает.

Но вернемся к главной мысли учения Киреевского. Мало расходясь с немецкими романтиками в своей философской антропологии и историософии, он резко отошел от них в своем понимании сущности и закона западноевропейской культуры. Противоположность религиозно-целостного и агностицистски-рационалистического сознания имела для романтиков внутривосточное значение, совпадавшее до некоторой степени с противоположностью средневековой и просвещенческой культур. Киреевский лишает эту противоположность ее внутривосточного характера. Обвиняя всю Европу, ее жизнь и культуру в лодыристности рационализму, он малокритически противопоставляет ей Россию как изначально живущий религиозно-целостным сознанием мир.

Мотивы такого превращения русской романтической мысли в славянофильскую доктрину, а позднее и в славянофильское доктринерство, были, конечно, весьма различны по своему характеру. Одним из них, быть может, самым главным, надо считать то, что славянофилы появились на свет двадцатью пятью, тридцатью годами позднее романтиков. Расцвет русского романтизма совпал с

угасанием романтического движения в Германии. Сначала восстал Гегель против гениального философствования, а вскоре и Фейербах — против философии вообще. Отношение между королем и народом всюду становилось все менее похожим на отношение юнца к планетной системе, ни о какой европейской конституции уже потому нельзя было сказать, что она есть брак, что всего только 3 года спустя после смерти Августа Шлегеля в Германии появился Коммунистический манифест.

Что славянофилы, ввиду такого развития Европы, должны были разочароваться в ней и, отвернувшись от нее, сосредоточить все свои упования на России, более чем естественно, особенно если принять во внимание мессиански повышенное настроение того времени, когда боялись «умереть, не подав руки Вселенной, не запечатлев на невидимом лике ее страстного поцелуя». Превращение русских романтиков в славянофилов произошло, конечно, не сразу.

В своих «Русских ночах», классической книге русского романтизма, князь Одоевский сознательно и патетично провозглашает молодую Россию преемницей Европы. О будущих резких противоположностях западноевропейской и русско-восточной духовности еще и речи нет. «Углубитесь в православный Восток, — обращается Одоевский к народам Европы, — и вы поймете, отчего лучшие ваши умы (в примечаниях названы Шеллинг, Вагнер, Кёниг и Балланш) неожиданно для самих себя выносят из последних глубин своей души совершенно те же верования, которые издавна сияют на славянских окрижелях, им неведомых».

Этот характерный для тридцатых годов универсализм с его положительной оценкой Европы, в сущности, окончательно никогда не угасал. Даже и по мнению весьма националистически настроенного председателя Славянского комитета Поподина «обе культуры — западная и восточная, односторонни в своей изоляции, почему для создания новой всеобъемлющей западно-восточной европейской культуры и необходимо их дополняющее друг друга объединение». «Провидение, — пишет он дальше, — поставило перед Западом одну задачу, перед Востоком — другую. В высшей мировой экономике Запад так же незаменим, как и Восток». У Поподина такие западнические высказывания, конечно, сравнительно редки; что же касается Киреевского и Хомякова, то оба они, резко и остро критикуя европейскую культуру, никогда не переставали верить в непреходящее значение Запада. Известны стихи Хомякова, в которых он изливает свою печаль о том, что на далекий Запад, на землю «святых чудес» ложатся черные тени. Известен и страх Киреевского, что Россия, оторвавшись от Запада, может потерять свое опорное значение для человечества... В его ранней статье «Деятнадцатый век» встречаются еще более западнические слова: «искать у нас национального — значит искать необразованного; развивать его на счет европейских нововведений — значит изгонять просвещение».

Для того, чтобы правильно понять позднейшую, явно не лишённую некоторой насильственной стилизации славянофильскую критику западной культуры, надо не упускать из виду, что проблема Запада была для славянофилов, прежде всего, религиозной проблемой. И что их критика западнического рационализма и агностицизма была с самого начала исполнена заботы об исторических судьбах христианского человечества. Только в связи с этой заботой становится понятной их острая критика западноевропейской, прежде всего, немецкой философии. Если бы они оценивали эту философию не с религиозной, а с чисто научной точки зре-

ния, они были бы, конечно, благосклоннее к ней. Но их учение о «святом средоточии и о целостной культуре отрицало беспредпосылочную автономную философию, которую жил Запад. Что славянофилы, при осуществлении своего замысла подчинить всю европейскую культуру рационализму, должны были наголкунуться на почти непреодолимые трудности, становится ясным даже при самом поверхностном знакомстве с западной культурой и западной философией. Христианская культура средневековья, история мистики, восстание Лютера против рационалистической схоластики, борьба романтизма против просвещенства и, наконец, развитие немецкого идеализма от анализа к синтезу, от Канта к Шеллингу, — все это явно опаривало славянофильский тезис, что вся культура Запада представляет собою атомистический распад жизни, еле удерживаемой оковами отвлеченного рационализма. Смелый жест, которым славянофилы устранили эти препятствия со своего пути, заключался в подмене романтически-немецкой полярности рационалистически-атомистического просвещения и органически-синтетической культуры полярностью католицизма и восточного христианства. Противопоставив католицизм, этот корень общеевропейской культуры, как рационализм, восточному христианству как опытно целостному религиозному сознанию, они обрели легкую возможность стилизации как Запада, так и России в желательном для них направлении.

Сущность европейской культуры покоилась, по Киреевскому, на трех элементах: на влиянии христианской религии, на характере всех варваров, которые разрушили Рим, и на развалинах древнего мира. Эта, заимствованная у Гизо мысль остается у Киреевского не разработанной. В конце концов он объясняет все особенности западной культуры «насилием» римского ума над новорожденной душой христианства. Характерной чертой этого ума является владычество внешней рассудочности над всем, что внутренне существенно и значительно. Вся частная и общественная жизнь римлян представляется славянофилам рационалистическим искажением всех нормально-этических взаимоотношений между людьми. Римское искусство — только формалистическое оттачивание плодов чуждого вдохновения. Римский язык — надуманная гармония драматических построений, которые искажают и поработают всякую естественную свободу и живую непосредственность душевных эмоций. Религия римлян — ни в коем случае не римская религия: это музейная коллекция чужестранных богов, которых Риму удалось соединить в одно символически-философское целое только потому, что он никогда поистине не переживал тайны веры. Даже известный римский патриотизм кажется славянофилам сомнительным: римлянин любил не свое отечество, а только себя самого в одежде блистательного и мощного Рима. Совместимость этого формально-юридического и абстрактно-логического духа Рима с христианством как желало славянофилам абсолютно невозможным. Исполведуя непостижимую отвлеченному разуму тайну богочеловека Иисуса Христа и грядущее единение во Нем всего человечества, они всем своим существом борются против расчленяющего «святого средоточия души» богословствующего разума. По их мнению, между Римом и христианством должна была неминуемо вспыхнуть борьба. Так оно и случилось. Для Киреевского римский католицизм — доказательство того, что на Западе Рим одержал победу над Голгофой. Он согласен, что многие обстоятельства повлияли на разделение Церквей, но он не сомневается в том, что главной причиной этого разделения послужило изобретение Римом чуждого как церковной традиции, так и юбортной душе христианства нового догмата, оправдываемого лишь логической дедукцией западных богословов. Большую роль в разделении церквей сыграло и то, что бездушное, дисциплинированное и центроостремитель-

ные римское сознание видело единство церкви только во внешнем единстве епископа. Таковы причины, приведшие к разделению церкви. Христианское человечество распалось на две христианские партии. В результате этого распада для повинного в нем Рима немедленно же создавалась необходимость защищать свое партийное мнение и свою партийную истину. Схоластика — это логическое оправдание, меч церковного государства, самозащита католицизма. Силлогизмы и мечи работали совместно над одной и той же задачей: вознесение римско-католической партийной истины до достоинства и значительности универсально-христианского католицизма.

Брошенное западными богословами в святую нощь откровенного верования семя рационалистических вопросов и рационалистических сомнений должно было дать печальные всходы. «Религиозная истина, раз уже поставленная всею историею схоластики на острие отточенного силлогизма, должна была и дальше развиваться в вечной суете философских построений. Лишь исторической справедливостью было потому то, что римская церковь в XVI столетии была призвана пред судилище того же отвлеченного разума, который она в IX веке своею личною волею поставила выше общего сознания вселенской церкви. Так должен был подняться протестантизм, как правомерный наследник католической церкви. Ибо раз уже она признала верховенство разума над божественным откровением, право критики должно было быть отдано не временной римской иерархии, а всему современному христианству. Так с необходимостью выросла на почве ложного, ибо только внешнею, единства римской церкви безусловный религиозный атомизм протестантского мира». Но выросло и нечто более опасное. Реформация, не убоявшись отдать последние вопросы человеческой мысли и жизни на произвол личных мнений и случайной критики, должна была неминуемо стать разрушительницей собственного своего дела, что вскоре и обнаружилось: протестантизм, как положительная религия, стал быстро терять почву под ногами, а выросшая на его же почве идеалистическая философия, особенно в протестантских странах, начала быстро захватывать власть над жизнью. Искать утраченное единство в тех глубинах, которыми изначально жило христианство, она, конечно, не могла. Она надеялась найти его в чем-либо более внешнем, общедоступном, римском на путях подмены подлинного единства фиктивным обобщением. Оба условия вполне удовлетворялись «негативным сознанием формальных отношений». Это сознание новая европейская философия и возвысился до значения абсолютного принципа. С той же необходимостью, с какой разделение церковью вызвало к жизни средневековую схоластику, реформация повлекла за собой схоластику современной философии.

Исходя из этого положения, И. Киреевский вкратце набрасывает историю развития европейской философии от Декарта до Гегеля. Его схема была в конце 70-х годов с большим диалектическим талантом использована Соловьевым в его «Кризисе западной философии» и оказала немалое влияние на наших значительнейших современных философов: Бердяева, Булгакова и Карсавина. Более или менее серьезного опровержения основных принципов западноевропейской философии со стороны славянофилов, включая даже и Соловьева, так и не последовало, да, ввиду основных философских установок и свойств русского ума, вряд ли и могло бы последовать. Конечно, и Киреевский не опровергает, а лишь религиозно отрицает все построения западноевропейской мысли, сосредоточивая свое внимание на том болезненном состоянии духа, которым, по его мнению, только и объясняется великая, гениальная, но и неблагоприятная западная философия. Ему непонятно, что родоначальник западной философии Декарт до тех пор сом-

невался в своем собственном бытии, пока не вывел его из отвлеченного силлогизма; что Спиноза, несмотря на глубину и искренность своей религиозности, не сумел сквозь отканную им самим сеть бескровных силлогизмов рассмотреть живого Создателя и постичь истину человеческой свободы. И, наконец, Лейбниц, как мог великий Лейбниц, спрашивает Киреевский, за тканью своих отвлеченных понятий не постичь очевидной связи между причиной и следствием и почтень необходимым изобрести для ее объяснения свою сложную tesserae предустановленной гармонии, лишь отчасти восполняющую поэзией основную мысль свою мертвящую односторонность?

Быть может, характернее всего для славянофильского понимания истории западной философии то, что Киреевский даже и Канта, явного противника рационализма XVIII века, превратил не только в его защитника, но даже и в его основоположника. Правда, Киреевский признает, что у Канта во власти познающего сознания вовлекаются лишь формальные элементы действительности, лишь ее распорядок, а тем самым и смысл, в то время как в пограничной крепости «вещи в себе» действительность еще защищается против абстракций. Но защищалась она недолго. Уже у Фихте энергия мирополагающего сознания вбирает в себя не только смысл, но и бытие, не только форму, но и содержание. «Фихте, — пишет Хомяков, — выраженный рационалист». «Строго и определенно, без возможности какого-либо примирения отделяется у него понятие как положительный принцип, от предмета как принципа отрицательного; с исчерпывающей строгостью развивает он в своей системе положительный принцип, низводя предметный мир до роли призрачной тени».

Но все же Фихте еще не последняя вершина рационалистического уничтожения мира. Его рационализм еще целомудренно прикрыт волюнтаристической окраской его системы и антропологизмом его терминологии. Этими особенностями объясняется то, что мирополагающее «Я» фихтевской конструкции часто понималось не как пустая абстракция, а как конкретный дух. Гегель (крайне парадоксальный оборот) уничтожает и эту последнюю возможность. Своим грандиозным завершением немецкого идеализма он истолковывает его сущность как борьбу против опиртуализма. Глубочайшее стремление гегелевской философии состоит, по мнению Хомякова, в попытке бесубстратного построения мира, построения его из глубины абсолютного ничто. Ведь сам Гегель, подчеркивает Хомяков, определяя свою задачу как искание духообразующего процесса, доказывал тем самым, что высший принцип его философии — не конкретное бытие, но абстрактное понятие, одинаково отрешенное как от мыслящего субъекта, так и от мыслимого объекта. Из него проистекает все действительное, а в конце концов — и сам Дух. Дальше этой рассудочной философии, заносчиво считающей себя философией конкретного разума, идти было нельзя. В Гегеле, заоспиряет Киреевский свою мысль, завершилось разделение Церкви. Сначала родилась схоластическая философия внутри веры, затем философская реформация веры и, наконец, философия, враждебная всякой вере. Первыми рационалистами были схоласты, их потомками являются гегелианцы.

Параллельно с этим истончением и даже уничтожением реального бытия в Европе происходит и атомизация всей социально-политической жизни.

Начавшись насильем, утверждает Киреевский, государства Европы должны были развиваться переворотами. Борьба между победителями и побежденными превратилась в основной закон европейской как внешне-политической, так и внутренней-социальной жизни. Бесправие побежденных постепенно извращало и



разлагало правосознание победителей. В конце концов, эта борьба — борьба всевозможных партий друг с другом переродилась из средства в самоцель. «Перманентная революция» представляется славянофилам неизбежной судьбой Западной Европы. Преклонение перед правом, правовым государством и равенством всех граждан перед законом славянофилы в качестве противопоставления не признают. По их мысли, увлечение правом есть лишнее доказательство того, что справедливость умерла. Равенство граждан перед законом может считаться высшим идеалом только там, где утрачено чувство укрьтости всех людей как Божьих детей в лоне церкви.

Если Гегель — последнее слово религиозного и метафизического развития Европы, то Макс Штирнер, с его идеалом «одиночества» и «собственности», — последнее слово социально-политического развития. Гегель — завершитель рационализма; Штирнер — завершитель атомизма. Но рационализм и атомизм тесно связаны друг с другом: оба одинаково свидетельствуют о том, что «святое средоточие» европейской души находится под угрозой, что духовная и творческая жизнь Европы лишены веры в Бога. Но как ни страшен Штирнер, он еще не последнее слово распыления западной жизни, процесс атомизации идет еще дальше. Он не только изолирует каждую личность в обществе, он изолирует также отдельные душевные силы и способности человека. Теоретическое мышление европейца расслабляет его волю, снижает его дар художественного созерцания мира. Постоянно рвущаяся вперед, но и постоянно раздражаемая междоусобной борьбой между разумом, волею и художественно интуитивной душой европейца бесплодно мечется и топчется на месте. Все движения ее — лишь предчувствие гибели и возрождения. «Разум превращается в ней в умную хитрость, сердечное чувство — в слепую страсть, красота — в мечту, истина — в мнение и наука — в силлогизм». Повсюду «напряженное кипение общественного организма» при «внутреннем умирании человека», повсюду «отлив души», ее трагическая гибель. Таков обвинительный акт, предъявленный славянофилами Европе.

Но перейдем к защите России. Различие между Европой и Россией и явное преимущество России над Европой славянофилы усматривали в том, что Россия благополучно избегла римского влияния. Живая правда христианства на Востоке никогда не подвергалась искажению со стороны мертвящего римского формализма. Восточные отцы Церкви значительно отличаются от западных учителей Церкви. «Достоинно замечания, — читаем мы у Киреевского, — что духовная философия восточных отцов — философия прямо и чисто христианская, глубокая, живая, возвышающая разум от рассудочного механизма к высшему нравственно-свободному умозрению». Этой философии, которая «даже и для неверующего мыслителя может быть поучительною, по удивительному богатству и глубине, и тонкости своих психологических наблюдений», совершенно чужда тенденция западноевропейской схоластики балансировать «свое убеждение о бытии Божиим на острие какого-нибудь искусно выточенного силлогизма». У восточных отцов на первом плане никогда не стоит забота о «логической связи понятий», для них гораздо важнее «внутреннее состояние мыслящего духа». Большое значение Киреевский придает также тому, что западные богословы, поскольку они философы, в первую очередь — аристотелики, восточные же — последователи Платона, философия которого теплее и гармоничнее аристотелевой и уже исполнена того всеобъемлющего единства и той духовной свободы умозрения, которые были впоследствии осуществлены христианством. Развиваясь под влиянием этой восточно-христианской традиции, русская мысль естественно должна была пойти иными путями, чем западноевропейская. Она никогда не знала борьбы между знанием и

верой, никогда не превозносила «слепую веру» над «неверующим разумом» или, наоборот, «неверующий разум» над «слепой верой». Русскому уму было всегда естественным — верить, потому что он никогда не опускался ниже уровня своего религиозного естества. Русская мысль никогда не увлекалась механически-рационалистической аппаратурой понятий, систематической обработкой опвлеченных понятий. Свою задачу она всегда видела в логической транскрипции религиозного опыта. Для нее характерно не автономное познание, но теонормное постижение.

Вместе с этим духовным развитием идет в России и социально-политическое устройство жизни. Российское государство создано не вследствие чужеродного завоевателя, но по смиренной просьбе русского народа к норманнам: «Придите княжить нами». Это начало обусловило стиль всей дальнейшей социально-политической жизни России. Русский народ никогда не знал, как это было на западе, разделения на два лагеря — победителей и побежденных. В России никогда не было враждебного крестьянству дворянского класса; при царе никогда не было типичной для истории Западной Европы борьбы «папистских, царских, городовских, религиозных, политических, гражданских и даже метафизических партий». Отношения между царем и народом были простые, ясные и глубокие, как отношения между отцом и детьми. Царизм — это совсем иное, чем западный абсолютизм. Царизм — отрицание абсолютизма. Самодержавный русский государь никогда не был абсолютным монархом; тем не менее, он всегда был свободен в своих действиях. В своей свободе он был ограничен только верой и мировоззрениями своего народа. А народ верил, что царь в трудных своих решениях думает и молится вместе с ним; русский народ никогда не протестовал против самодержавия, потому что никогда не стремился к власти. Поэтому в России никогда не было необходимости отделения государства от церкви, права и правды. Не будет этой необходимости и в будущем. Идеалы парламентарного правового государства русскому народу совершенно чужды. Ибо идея свободы для христианской России связана не с мыслью о самоутверждении, но с подвигом самоотречения. Концепцию идеала личности без связи с идеалом самоотречения Самарин считает типично западно-европейской, чуждой и враждебной русскому Востоку.

Социальной клеткой русской хозяйственной и общественной жизни славянофилы считали общину, «мир». Им казалось, что в «мире» таинственно зреет и подготавливается к своей грядущей миссии божественная душа русского крестьянина, чуждая как западному идеализму, так и механическому коллективизму.

Более 100 лет отделяет нас от горячих, вдохновенных юлавянофильских бесед в московских особняках и подмосковных дачах. За прошедшее время историческая наука сделала большие успехи и почти совершенно разрушила историческую концепцию русских романтиков.

Мы давно знаем, что община выросла не из религиозных корней, а была создана правительством по фискальным соображениям. Знаем мы и то, что славянофильский образ святой Руси мало соответствует действительности. Если бы он был верен, то нам нельзя было бы понять и правильно оценить петровскую реформу, выход на историческую сцену порожденной им западной интеллигенции и победу марксистской революции над русским народом, отнюдь не без участия его самого.

Славянофильский поэт Тютчев еще в 50-х годах писал, что Европа жива только двумя вопросами: революцией и Россией, т. е. надеждою, что Россия спасет Европу от дальнейшего развития революции. Все вышло не только иначе, но почти что наоборот. Социалистическая революция превратилась к концу XIX века

в столь агрессивную тему русской мысли и воли, что Западу приходится защищать христианскую свободу от большевистского атеизма.

Утопически идеализируя Россию, славянофилы были явно несправедливы по отношению к Европе, главным образом, к католической Церкви. Уж очень просто отождествили они католичество со схоластическим богословием, а православие — с религиозно-мистическим опытом. Таких и научных, и эмоциональных неувязок очень много в исторических и историософских высказываниях славянофилов. Заниматься их критикой не входит в задачу моей статьи. Меня интересуют ошибки славянофильских учений не как таковые, а в их связи с романтизмом. Многие неправильные взгляды славянофилов объясняются, конечно, тем, что в их распоряжении еще не было того исследовательски проработанного материала, которым располагаем мы, но плавные их ошибки объясняются все же стилем и духом их романтического мышления. Немецкий язык определяет этот стиль словом «deuten». Deuten — значит разгадывать или истолковывать. Романтики были не исследователями истории, а ее истолкователями. В основе их гаданий и истолкований лежало триединство интуиции, интеллектуальной фантазии (Шеллинг) и художественного созерцания. Всего этого много и у славянофилов. Образ православной Руси Киреевского, Хомякова и Аксакова своим творческим почерком весьма напоминает образ средневековой Европы, набросанный Новалисом. С научно-исследовательской точки зрения, оба образа не только по состоянию современной науки не выдерживают никакой критики, но не выдержали бы ее даже и в те времена, когда они писались. Все это так. Все же остается вопрос: правильно ли с числом методологической точки зрения подвергать художественные образы, исполненные в обоих случаях глубокого религиозного и этически-нормативного значения, научной критике, особенно если они созданы столь талантливыми людьми, какими были и Новалис и русские славянофилы. Ведь научная объективность представляет собою нечто совсем иное, чем объективность в искусстве. Всякое подлинное произведение искусства всегда точнее портретирует душу и мирозерцание своего творца, чем изображаемые им предметы. Конечно, славянофилы не были поэтами или чистыми художниками, но нельзя не видеть, что они не были и учеными-исследователями. Они были интуитивными созерцателями и истолкователями образов и судеб своего народа.

Подчеркивая стилистическую связь между романтизмом и славянофильством, я не отрицаю бросающейся в глаза психологической разницы между представителями обоих течений. Она заключается в том, что романтики и сами себя чувствовали и большинством своих современников воспринимались как люди особого склада, далекие, несмотря на то, что они много занимались народной поэзией, не только от народа, но и от большинства своих высококультурных современников. Славянофилы же с полным основанием чувствовали себя плотно от плоти и костью от кости как помещичье дворянство, так и народа. В романтиках было, пожалуй, даже некое экзотическое цветение; в некоторых из их творений чувствуется порой даже тонкий яд. Ничего подобного о славянофилах сказать нельзя. Несмотря на свой романтизм, они скорее напоминают ржаные поля в русских просторах, чем искусно разделанные цветники... Этим они обязаны своей укorenенностью в церкви, близостью к народу и своим духовным здоровьем. Отказываться от их наследия нам не приходится. Раскалявшееся в своей романтической мечтательности, религиозно-пропрезвленное в своем отношении к России, но по-старому близкое своему народу и Европе, твердо помнящее, что национализм так же разлагает нацию, как эгоизм личность (Вл. Соловьев), славянофильство, надо надеяться, еще сыграет значительную роль в создании будущей России.

## Природа и человек в философских воззрениях русской литературы

### I Вводные замечания

Мы, русские, имели до сих пор две формы выражения наших философских и богословских мнений — учебно-официальную или так называемую философию и теологию на кафедре; и свободное размышление о божественных вещах, как оно имело место в нашей изящной литературе и у отдельных ищущих истины и мыслящих людей — у тех, кого известный русский религиозный мыслитель и литературный критик В. В. Розанов называл однажды «сектантами». К этим последним нужно отнести Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского, Н. Ф. Федорова и др. Приобретший в настоящее время мировую известность Н. А. Бердяев сознательно относил себя к этой последней группе русских философов и всегда любил подчеркивать, что он не академик. Эту группу отличают следующие особенности, которые придают изучению ее воззрений преимущественный интерес сравнительно с взглядами так называемой академической и научной русской философии. Все без исключения представители ее, прежде всего, являются свободными теософами (в отличие от академического русского богословия), размышляющими без связи с какой-нибудь теологической догмой о мире, человеке и Боге. Воззрения этих свободных теософов не испытывали на себе в той мере влияния новой западной так называемой «научной» философии, в какой испытывали академические наши философия и богословие; они являются, стало быть, более оригинальными, чем соответствующие воззрения академиков. И, наконец, многие из взглядов названной группы находятся в прямой связи или стремятся поставить себя в связь с религиозными течениями русских народных масс — с народным православием или с возникшими на его почве различными сектами; такова, например, связь учения Л. Толстого с «духоборами», так же, как известное стремление Достоевского связать свои религиозные воззрения с русским «старчеством». С этой последней стороны взгляды названной группы нужно признать более «народными», чем теории академиков, которые ни бессознательно, ни сознательно не стремились формулировать оригинальные черты русской народной мысли.

Настоящая статья является опытом характеристики воззрений русских «свободных теософов» на природу и на мир. По теме своей она относится к философской космологии или, точнее, стремится выделить ряд вопросов, связанных с космологией, в той форме, в какой они опрашивались в сочинениях названной группы. Но так как космологическая проблема, особенно в ее свободном толковании у русских «философствующих сектантов», не отделима от антропологической, настоящая статья не может не касаться и вопроса о человеке. Избранная тема, по

нашему убеждению, оправдывает себя прежде всего тем, что одной из отличительных черт русского человека и русской мысли (мы говорим, разумеется, о периоде, до Октябрьской революции) является особая, не чуждая некоторой мистицики, установка по отношению к природе, далеко не свойственная среднему человеку новейшей европейской культуры. Мы не хотим сказать, что здесь мы находим черту, резко отличающую Запад и Восток вообще. Западный человек *докапиталистической культуры* в своем отношении к природе, вероятно, стоял гораздо ближе к русскому человеку, чем современный средний европеец, т. е. сын того культурного мира, который через естествознание и технику невольно потерял непосредственную связь с природой и стал ее воспринимать иначе, чем человек тех обществ, хозяйство которых, правильно или неправильно, именуют «натуральным». У этого последнего есть в отношении к природе некий людлинный «примитивизм» — мы применяем это понятие не в смысле отрицательного суждения о так называемых «дикарях», но в смысле того особого донаучного, на глубоких инстинктах покоящегося и открывающего в себе некую особую правду, воззрения на природу и на мир, о котором так много говорят современные социологи. В мироощущении русского человека дореволюционной эпохи было много остатков и пережитков такого «примитивизма». С точки зрения радикалов XIX века то были лишь проявления некультурности, невежества. С точки зрения философской здесь можно видеть выражение того особого целостно-интуитивного, религиозно-символического мировоззрения, которое если и не заключало в себе полной истины, то во всяком случае открывало в природе такие блики, которые исчезли из поля зрения точной науки и, основанного на ее общем духе, научно разжиженного, популярного мирозерцания наших дней.

В то же время то специфически русское ощущение природы, о котором мы говорим, является особо интересным потому, что оно не просто существовало как факт, — нет, именно оно было доведено представителями русской интеллигенции до «стадии самосознания», было ими сублимировано и своеобразно теоретизировано. У русских «свободных теософов» находим мы некоторую особую философскую природу, которая не приведена в цельную систему, однако обнаруживает некоторую внутреннюю логику, раскрывает своеобразную диалектику природы, формулирует своеобразные антинормы. На примере их мы видим, как могла бы строиться философия природы и какое место она занимала бы в общем философском мирозерцании в том случае, если бы современный человек исходил не из предпосылок точного естествознания, но из непосредственно примитивного взгляда на мир. Из него, правда, исходили в своих взглядах на природу и все древние натурфилософы докапиталистической культуры — потому, может быть, в натурфилософии русских свободных философов встретим мы не мало общих черт со старой космологией и натурфилософией; однако же русские религиозные мыслители, с одной стороны, не чужды были новейшего просвещения, с другой же — вносили в практикование философских проблем свой особый национальный дух. Это и придает их взглядам особую оригинальность, заслуживающую того, чтобы на ней более подробно остановиться.

## II Власть земли

В эпоху, в которую формировалась русская неакадемическая теософия, — мы говорим главным образом о XIX веке и только отчасти будем касаться конца XVIII и начала XX — русский народ еще жил в условиях первоначальной стадии капитализма. Техника была слаба и примитивна, производительные силы ма-

ло развиты, производство экспансивно. Россия была страной значительно отсталой по сравнению с Западом. И тогдашний Запад, технически и экономически очень элементарный по сравнению с нынешним, производил на русского интеллигентного путешественника неоправдываемое впечатление огромной технической мощью. Глядя на Запад с точки зрения своей патриархальной, «отсталой» культуры, русский наблюдатель, каким был, например, славянофил И. Киреевский, после своего путешествия в Западную Европу получил впечатление, что западной жизнью управляет индустрия — она определяет все основные элементы западной жизни, определяет политику, нравы, искусство, литературу, философию. Приблизительно те же впечатления от Запада получил и Достоевский после своего посещения Лондонской выставки в 70 годах прошлого века<sup>1</sup>). Когда русский писатель из «свободных тессофов» ставил вопрос, что же является определяющим моментом русской жизни, он отвечал: таким моментом не является ни промышленность, ни торговля, ни деньги, ни техника. Есть одна посподствующая над русским миром сила, это — власть природы, *власть земли*. Тайна русской народной жизни, писал Глеб Успенский, в том, что опромнейшая масса русского народа до тех пор терпелива и могуча в несчастьях, .. молода душой, мужественно-сильна и детски-кротка ... покуда над ним царит *власть земли*, .. в самом корне его существования лежит невозможность ослушания ее *повелений* (курсив здесь и дальше автора)<sup>2</sup>). Оторвите крестьянина от земли, от тех забот, которые она налагает на него — и нет этого народа, нет народного мирозерцания, нет тепла, которое идет от него». Остается один аппарат пустого человеческого организма. Настает душевная пустота, «полная воля», т. е. невидимая пустая даль, безграничная пустая ширь, страшное «иди, куда хошь»...

Ошибочно думать, что мы изложили здесь специфические идеи, свойственные только одному литературному направлению. Идея «власти земли» и обусловленной ею совершенной человеческой жизни встречается у целого ряда русских писателей совершенно различных направлений. Чуждый идеалам демократического и плебейского народничества Лев Толстой считал, что русский крестьянин живет совершенной жизнью и умирает спокойно потому, что его религия — природа, с которой он жил. Он сам рубил деревья, сажал рожь и косил ее, убивал баранов, и рождались у него бараны, и дети рождались, и старели, и умирали, и он знал твердо этот закон, от которого он никогда не отворачивался, как барыня, и прямо, просто смотрел ему в глаза<sup>3</sup>). Тесно она связана с культурой — культурой преимущественно капиталистическую и городскую — которые мы встречаем так часто в русской литературе. Религиозный мыслитель В. Розанов, столь далекий от народнических идеалов Успенского и в то же время менее всего «толстовец», высказывает мысли, направленные против потребности человека в «культуре»: Человек не только страдает и развратен сам, он вводит разврат и муки всюду, где может, во всю природу. Приравливая к себе, он искажал самые инстинкты животных (Байрон справедливо и глубоко называет домашних животных «развращенными»), он вымучил у них и у растений небывалые формы, принуждая к противоестественным скрещиваниям, которым не знали бы границ, если бы не встретили упорного сопротивления в таинственных законах природы. Гнусный беззаконник, он стоит перед этими законами, все еще усиливаясь приду-

<sup>1</sup>) П. Киреевский. Сочинения под ред. Гершензона, Москва, 1911, том 2, стр. 246.

<sup>2</sup>) Взято из предисловия Н. К. Михайловского к Сочинениям Глеба Успенского, изд. Маркса, том 1.

<sup>3</sup>) Письмо к А. А. Толстой от 1 мая 1858 года.

мать, как бы нарушить их, как бы раздвинуть все прани и переступить через них своим развратом и злом. Он торопливо хватается в природе всякое уродство, каждую болезнь — и хранит, бережет все это, — увеличивает еще. Он перемешал климаты, изменил все условия жизни, смешал несмешивающееся и разделил сродненное, снял с природы лик Божий и наложил на нее свой искаженный лик. И среди всего этого разрушения сидит сам, ее властелин и мучитель, и, мучаясь, слагает поэзию о делах рук своих<sup>4</sup>). Другой русский религиозный мыслитель, Н. Ф. Федоров, проектировал полное подчинение природы человеку, «регуляцию всей природы» — человеческими силами. Он менее всего был поклонником идеалов в стиле Руссо и Толстого — и в то же время беспощадно нападал на городскую и капиталистическую культуру: Для сынов человеческих, читаем мы у него, земля, хранящая прах отеческий, есть вещь священная, предмет священнодействия... Пути блаженства; пути к царству Божьему, ведут от суетной, торгово-промышленной городской жизни, от порядой вышней сословности к сельской простоте и смирению, а через него к объединению... Наоборот, пути в царство земное, пути горести, идут в противоположном направлении, от сел к городам, от окраин к центрам, забывая праведную, образумляющую угрозу: «горе городам», горе городам древним (Каппернауму, Хоразину, а ранее Тиру и Сидону и Гоморе, Ниневии и Вавилону, горе даже Иерусалиму), и сторицею горше горе нынешним, за умножение греха и бедствий и за нераскаянность...<sup>5</sup>).

Русский народ был преимущественно народом земледельческим и стоял, таким образом, благодаря своим особым условиям жизни, ближе к земле, чем промышленные народы. Русская природа поражала безбрежностью своих просторств, своего девственной силой, мощью своих стихий. Природа во всей непосредственности своей гораздо более ощущалась в России, чем на европейском Западе — и это все может объяснить описанные нами русские воззрения на «власть земли», власть природы. Но особенно достойно внимания, что русские писатели понимали и отрицательные стороны этой «власти земли» над человеком. Замечательные мысли на этот предмет можем мы встретить у выщепленного Г. Успенского. Когда Успенский говорит о «правде» крестьянской жизни, он отлично сознает, что «правда» эта есть «зоологическая», «лесная», «звериная» правда. Гармония жизни крестьянина есть только «зоологическое равновесие». В ней нет никакой мысли, нет духа. Поэтому она так легко может быть разрушена культурой. Вынуть из этой гармонической, но подчиняющей жизни хоть капельку, хоть одну песчинку, говорит он, и уже образуется пустота, которую нужно заменить своею, человеческой волей, своим человеческим умом, — а ведь как это трудно, как мучительно. При этой чисто зоологической «правде» нельзя все же человеку оставаться. И возникает мучительный вопрос: Как сохранить гармонию мужицкого состояния, но вместе с тем поднять зоологическую лесную правду до степени правды человеческой и, тем самым, создать равновесие устойчивое. По мнению Успенского в старину задачу эту решали святые угодники. Не отрывая человека от земледельческого труда, не нарушая его многосторонних связей с землей, они старались поднять зоологическую правду на степень божественной справедливости. Ныне, думает Успенский, эта высокая обязанность лежит на интеллигенции. Она должна угодников взять за образец. Нужно оставить неприкосновенной «гармонию земледельческого труда», но в то же время внести в нее свет разума, свет истины, лучшей, высшей, какую мы знаем и можем знать...

<sup>4</sup>) В. Розанов. О легенде «Великий Инквизитор», Берлин, 1924, стр. 101.

<sup>5</sup>) Н. Федоров. Философия общего дела, том 2, стр. 4.

Но беда в том, что, независимо от недостаточности нашего сходства со святыми угодуниками в смысле самоотверженности и преданности идее, мы еще роемся в каком-то старом национальном и европейском хламе, в европейских и национальных мусорных ямах...<sup>6)</sup>

### III Два взгляда на природу

Описанному особому фактическому отношению к природе должен соответствовать и особый познавательный взгляд на нее, особая ее интуиция, отличная от отвлеченного познания природы, свойственного оторванной от природы, рассудочной культуре. В русской литературе встречаем мы весьма рано сложившийся взгляд на возможность двух различных способов познания природы — одного математического и механического, изучающего природу с точки зрения величины и меры — и другого мистический-интуитивного, символического и религиозного. В замечательном стихотворении, написанном в 1839 г., поэт Пушкинской эпохи Баратынский выразил это противопоставление с исключительной силой:

Пока человек естества не пытал  
Горнилом, весами и мерой;  
Но детски вещаньям природы внимал,  
Ловил ее знаменья с верой;

Покуда природу любил он, она  
Любовью ему отвечала:  
О нем дружжелюбной заботы полна,  
Язык для него обретала...

Но человек потерял связь с природой и, тем самым, утратил непосредственную ее интуицию:

Но чувство презрев, он доверил уму;  
Вдался в счеты изысканий...  
И сердце природы закрылось ему,  
И нет на земле прорицаний.

В мыслях Баратынского, а также в известном стихотворении Тютчева: «Не то, что мните вы, природа, — Не слепок, не бездушный лик» можно видеть влияние натурфилософии Шеллинга. Но наряду с этими влияниями можно говорить о некотором русском изначальном обожествлении природы, об изначальном, самостоятельном пантеизме. Киреевский, которого можно считать одним из родоначальников русской философии, считал, что целостное знание о природе предшествует даже Богопознанию, интуитивная космология — теология. Сознание всепроникающей связанности и единства вселенной, читаем мы у него, предшествует понятию о единой причине бытия и возбуждает разумное сознание единства Творца. Неизмеримость, гармония и премудрость мироздания наводит разум на сознание всемогущества и премудрости Создателя<sup>7)</sup>. Принадлежащий к более поздней ли-

<sup>6)</sup> Г. Успенский. Сочинения, СПб, 1897, том 1, стр. 279.

<sup>7)</sup> В. Розанов. Природа и история. Сборник статей, СПб, 1903, стр. 125.



тературной эпохе Розанов так характеризовал два противоположные взгляда на природу: Довольно знать общеустановившиеся воззрения нового человека на мир, чтобы понять, до какой степени действительность во всем, что есть в ней ценного и значащего, ускользнула давно из этих пруд о ней нагроможденных слов, которые однако, будучи произнесенными с достаточной серьезностью, принимаются робкими и неуверенным в себе человечеством за что-то более истинное, нежели идущие из темноты времен воззрения его на мир и на себя. Но, в сущности говоря, эти воззрения более глубоки и истинны; они безотчетны только, не доказаны; они — плод более инстинктов ума, нежели его отчетливой работы. И однако, как в природе мы не знаем вовсе инстинктов, которые без цели были бы даны и ничему реальному в окружающих обстоятельствах не отвечали бы, так и эти умственные инстинкты человека не для обмана были даны ему и не обманно говорят ему о мире. Наука, если бы велась она вперед умами более тонкими и возвышенными, пользовалась указаниями этих инстинктов в той совершенно темной области, в которую она вступает<sup>8)</sup>. С тонкой иронией отзывается Розанов об одном из корифеев новейшей науки, Ч. Дарвине, который весь был проникнут этой рассудочной отвлеченной научностью и мало чувствовал действительную природу, слыша за величайшего естествоиспытателя: Объехав весь мир на корабле, увидев его, созерцав от высших граней и до самых низших, Дарвин, возвратившись в свое отечество, и еще очень долго затем размышляя о виденном, высказал гипотезу, центр которой состоит в том, что мир этот никак вовсе не построен, что строя не было и в самом происхождении его, но что черта к черте, он вытепился как огромная и очевидно безжизненная и бессмысленная мозаика из случайно появившихся на ней наростов: что-то вроде работы слабоумного или маляка, в узор которого, иногда красивый, всматриваясь, мы содрогаемся, не видя в нем никакой мысли... *Работа не гения, не Демидурга, — а идиота*<sup>9)</sup>.

Согласно первому, чисто «научному» взгляду — природа есть поле действия имманентных законов, согласно второму — арена для вмешательства трансцендентных сил. Силы эти, по взглядам русских писателей, могут быть добрыми, благостными и злыми, демоническими. Нет ничего удивительного, если существование таких сил допускали русские писатели, не отрицающие религии и склонные к мистике. Но более удивительно то, что, как мы увидимся, предчувствие и даже прямое опознание таких сил было присуще по отношению к природе даже некоторым позитивистам и людям не религиозным. Мистическое ощущение природы у русских писателей превосходило их философские убеждения и сознательные философские склонности.

Чувство благостной мощи природы и интуитивное присутствие в ней какой-то высшей, чем она сама, силы, не раз было выражено с поразительной яркостью Л. Толстым. В июле 1857 г. в Швейцарии, весь под влиянием природы и своей молодости, Толстой ощущает, что один, только один есть у нас непогрешимый руководитель: Всемирный Дух, пронизывающий нас всех вместе и каждого, как единицу, влагающий в каждого стремление к тому, что должно; тот самый Дух, который в дереве велит ему расти к солнцу, в цветке велит ему бросить семя к осени и в нас велит нам бессознательно жаться друг к другу. Подобная же мысль о присутствии высшей силы в природе выражается и Розановым: *Есть мысль, держащая вселенную*, к ней, собственно, имеет каждая вещь прямое отношение; и лишь через нее, в которой содержится и всякая иная вещь,

<sup>8)</sup> В. Розанов. Природа и история. Сборник статей, СПб, 1903, стр. 243.

<sup>9)</sup> Из «Дневников» 1857 года.

она с этой иной вещью соприкасается. Отсюда «телепатия» явлений природы; эта предустановленность, эти соотношения разбросанного мироздания. В темных инстинктах своих, зная это, человек тянется к природе, более ищет в ней помощи; или же он обращается с молитвой к Посредствующему, когда бесцелен сам отыскать эту помощь.

Достоевский, как известно, был очень окуп на описание природы — в этом его огромное отличие от Толстого. Пейзаж вообще отсутствует в его произведениях, действие у него происходит в комнате, в городе, на улице. Но в то же время Достоевский вложил в уста многих своих героев целую философию природы. В беседах старца Зосимы философия природы у Достоевского более всего напоминает платонизм. Природа есть постороннее отображение высшего порнего мира, мира божественных вещей. Многое, поучает старец, на земле у нас скрыто, но взамен того даровано нам тайное, сокровенное *ощущение живой связи с миром иным*, с миром горным и высоким. Да и корни наших мыслей и чувств не здесь, а в *мирах иных*. Вот почему и сущности вещей нельзя постичь на земле. Бог взял семена *из миров иных* и посеял на нашей земле и возросли сад свой и возшло все, что могло взойти, но возвращенное живет и живо лишь *только чувством соприкосновения своего с таинственным миром иным*. Если ослабевает или уничтожается в тебе это чувство, то умирает и взращенное в небе. Тогда станешь к жизни равнодушен и даже возненавидишь ее. Потому благосным какутся старцу отдельные близки этого мира, отдельные существа, животные и растения. В них во всех как бы светит свет божественного замысла и божественной правды.

Особое значение приобретает у Достоевского мать-земля. Земля, — говорит он в «Дневнике писателя», — *горнее существо, в почве есть нечто сакральное*. Дмитрий Карамазов, декламируя Шиллера, ставит вопрос, как же можно человеку «вступить в союз с землей». И формулирует дилемму: или стать мужиком, или совершать обряд лобызания земли. О первом пути мы уже отчасти говорили: его рекомендовали русские народники, вроде Успенского, к нему звал и Толстой. Второй путь есть мистическое обожание земли. Его мы встречаем уже у некоторых русских сектантов, считавших землю существом живым и отождествлявших ее с Богородицей. Самородный русско-украинский философ XVIII столетия Григорий Сковорода также учил, что земля есть мать Божия, существо высшее и святое<sup>10</sup>). Отсюда и обряд лобызания земли, о котором говорят некоторые герои романов Достоевского. «Богородица что есть», говорит странница Марья в романе «Бесы». «Великая мать, отвечаю, упование рода человеческого... Так Богородица — великая мать сыра-земля есть, и великая в том для человека заключается радость». Отсюда у Марьи Лебядкиной, к которой обращены эти слова, зарождается мысль об особом культе земли: «Запало мне... это слово, говорит она. — Стала я с тех пор на молитве, творя земной поклон, каждый раз *землю целовать*, ... Уйду я, бывало, на берег к озеру: с одной стороны наш монастырь, а с другой — наша острая гора, так и зовут ее горою Острою. Взойду я на эту гору, обращусь я лицом к востоку, припаду к земле, плачу, .. и не помню я тогда, и не знаю я тогда ничего. Встану потом, обращусь назад, а солнце заходит, да такое большое, да пышное, да славное... Хорошо да грустно...» «У Богородицы и земли есть много общего», — говорит один новейший исследователь воззрений Достоевского на природу, — желая по-видимому выразить мысль, что земля есть мать всех существ, на земле живших — и, следовательно, даже и существ бо-

<sup>10</sup>) «Природа и история», стр. 118.

жественных. Он ссылается при этом на идеи своих философских предшественников — отца Павла Флоренского, автора известной теософской книги «Столп и утверждение истины», философа А. Аскольцова, отца С. Булгакова и др.

Менее объяснимо, сказали мы выше, когда юннодь не религиозные русские писатели переживали особую мистику природы. К числу них нужно прежде всего отнести И. С. Тургенева. Он был, как известно, совершенно чужд религии и не чувствовал русской религиозности. Философски он исповедывал самый вульгарный позитивизм, считал Липтре самым выдающимся философом своего времени. По убеждениям своим был заядлый западник, считающий, что русский народ нужно излечить от его предрассудков путем постепенного привития ему западной культуры. А между тем, «нутром своим» он был всецело в России, в русской природе. И когда он с нею соприкасался, ее изображал, чувствовалось ему в ней присутствие какой-то тайны. Только тайна эта была не светлая, не благостная. Природа открывала ему свое жуткое, темное, демоническое лицо. Нельзя сказать, чтобы величайший из наших поэтов А. С. Пушкин был совершенно чужд религии, но по общему своему умунастроению был он явлением в русской жизни совершенно исключительным и не принадлежал к типу позднейшей интеллигенции XIX века. В его мироотношении и в восприятии природы было много античного спокойствия, которое скорее подходило бы к эллину, чем к скифу. Но и он написал стихотворение «Весы», которое Достоевский оделал эпиграфом своего столь известного романа. Едва ли есть другое стихотворение в мировой литературе, где бы демонический лик природы был выражен с такой поразительной художественностью и силой.

#### IV Пантеизм и различные опыты его преодоления

Если в основе природы лежит само Божество, то не должно ли бы это мнение привести русскую теософию к своеобразной формулировке тезиса Спинозы: «Deus sive natura»<sup>\*)</sup>. И не является ли правильным тот упрек, который мы иногда слышим у представителей западного богословия по отношению к восточному христианству: что, в конце концов, восточные представления о Боге ведут к пантеизму.

У одного наиболее раннего представителя русской теософии, у Григория Сквороды, имя которого нами упоминалось ранее, мы находим целиком эту спинозовскую формулу: «Deus sive natura». Видимый мир и вообще все возможные миры для Сквороды являются только тенью Божества, только его ризой. Тень эта — смертная, преходящая, бессмертен и вечен только образец, от которого эта тень отпаянется. Скинется риза — и останется подлинная «адамантова» основа мира. Однако же и по тени мы можем судить о его основе, поэтому видимый мир может быть путем для познания Бога. В отдельных творениях природы видел Скворода символы, знаки, следы Божии. Один из религиозных русских философов, принадлежащий к академическим сферам, В. Эрн, ставит вопрос по отношению к Сквороде: «Пантеизм ли это»? И отвечает отрицательно. Для Сквороды, говорит он, Бог является не просто деревом в дереве и травой в траве, а и в дереве истинным деревом и в траве истинной травой, и в человеке внешнем — человеком внутренним. Бог есть природа для Сквороды, но не природа вторая, тварная, несовершенная, а природа творящая, вечная, т. е. мир в ее вечной идее.

<sup>\*)</sup> Бог — природа. (лат.)

Однако ведь и Спиноза не считал, что его Бог есть «дерево в дереве», а он различал «*natura naturans*» и «*natura naturata*»<sup>\*</sup>). И все же был пантеистом. Против обвинения Сковороды в пантеизме можно было бы выставить другое возражение, которое Эрих не приводит: именно то, что Сковорода не истолковывал «вечную природу» монистически, что для него она была совокупностью автономных существ, которые не являются просто атрибутами единой субстанции, а свободными личностями. Но этот вопрос требует отдельного исследования и выходит из рамок нашей темы.

Однако, элементарный пантеизм у некоторых представителей русской религиозной мысли был выражен еще более определенно, чем у Сковороды. Здесь уже действительно можно говорить о Боге, как «дерево в дереве» и «траве в траве». Природа, писал юный Толстой, больше всего дает это высшее наслаждение жизни — забвение своей несносной личности. Не слышишь, как живешь, нет ни прошлого, ни будущего; только одно настоящее, как клубок, плавно разматывается и исчезает. Поэтому Толстой признается, что наиболее счастливо чувствовал себя, когда думал, что я — растение, которое, вместе с другими растениями, станет просто, спокойно и радостно расти на ювете Божьем. Это ли не пантеизм? Или другое рассуждение из юношеских дневников Толстого: Я люблю природу, когда со всех сторон окружает меня и потом развивается бесконечно вдаль, и потом, когда я нахожусь в ней. Я люблю, когда со всех сторон окружает меня жаркий воздух, и этот же воздух, клубясь, уходит в бесконечную даль; когда те самые сочные листья травы, которые я раздавил, сидя на них, делают зеленые бесконечных лугов; когда те самые листья, которые, шевелились от ветра, двигают тень по моему лицу, составляют линию далекого леса; когда тот самый воздух, которым вы дышите, делает глубокую голубизну бесконечного неба, и вы не одни ликуете и радуетесь природой, когда около вас жужжат и вьются мириады насекомых, сдвинувшись ползают коровки, везде кругом заливаются птицы. Здесь изображено пантеистическое чувство полного слияния с природой, растворения в ее бесконечности, отождествления себя с ней. «Все во мне и я во всем», — как говорил русский поэт Тютчев. Толстой действительно прикоснулся к Элевзинским таинствам природы, как правильно однажды заметил Розанов, и слушает глухие голоса, и всматривается в неясные тени, прижав к матери земле, из которой прорастет все живое. И сам Розанов, во всяком случае в раннем периоде своего литературного творчества, был полон этого пантеистического ощущения природы. Природа, восклицает он, есть великое, живое, святое «всё»; уже преки считали ее «богом», мы же отступили от них в сторону готтентотов и кафров, говоря, что она есть только набор физических тел, есть некоторая связка химических процессов — ряд фетишей, из которых каждому мы поклоняемся<sup>11</sup>).

Исходя из этой мысли, Розанов и приходит к противопоставлению, непосредственной интуиции природы теоретическому знанию о ней. Но в то же время никто так художественно не изобразил всех опасностей элементарного пантеизма, как русские писатели, ищущие Бога, и из них прежде всего Толстой. В своем раннем рассказе «Казакки» рисует он нам настоящего практического пантеиста в лице своего соловарища по кавказским охотам, Ерощки. Человек этот действительно слился с природой, изведal всю ее власть — «власть земли». Но, по признанию Толстого, жизнь Ерощки есть жизнь чистого зверя, а философия его — чистый бестиализм. По словам Ерощки, зверь есть такая же тварь Божия, что и человек,

\* «Творящая природа» (субстанция) и «современная природа» (мир модусов). (лат.)

<sup>11</sup> В. Розанов. О чудесном в мире, стр. 118.

только умнее его. Зверь более, чем человек, знает законы природы и лучше, чем человек, применяется к ним. Поэтому наилучшее для человека это угодиться зверю. И Ерощка начинает проповедовать чисто звериную мораль. «Все Бог сделал на радость человеку. Ни в чем преграда нет. Хоть с зверя пример возьми. Он и в татарском камыше, и в нашем живет. Куда придет, там и дом... А наши говорят, что за это будем сковороды лизать... всё одна фальшь...» одни выдумки тех, кто законы писал. Надо жить так, чтобы быть счастливым, так как Бог сделал все на радость человеку. Человек — такое же животное, как и все другие, из него так же трава вырастет, когда умрет, как и из любого зверя. *Человек, как и зверь, есть та индивидуальная вещь, в которую вставилась часть единого Божества — Природы.*

Здесь мы присутствуем при завязке основной драмы всей жизни Толстого, — драмы его художественного творчества. Как художника его постоянно влекло к природе, толкало к восхищению ею, к элементарному пантеизму, к отождествлению себя с природой, к принятию ее во всей ее конкретной полноте и прелести. А как религиозного учителя, искателя добра и правды, его отталкивало от природы. Природа внушала ему отвращение и страх, и изображение ее, во всей ее непосредственности, простое общение с нею, казалось переходом. И вот он начал убивать в себе многое «природное», «естественное» — и в частности самое гениальное, что ему природой было дано: свою способность вторить природе, воспроизводить ее чудесные образы и ими восторгаться, внушая восторг этот другим, соблазняя их ее прелестями. Он стал налагать на себя аскезу во имя религии, стал воздерживаться от природы, начал подавлять в себе природные склонности. Он возжелал убить в себе художника во имя религии и нравственности. Ему хочется художественной работы, пишет о нем жена (2-го марта 1891 г.), — а приступить трудно. *Там резонерство уж не годится.* Как попрет на него поток правдивого художественного творчества — он уже потом его не остановит, *а там вдруг непротивление окажется неудобным, а остановить потока невозможно, — и вот и страшно его пустить, душа тоскует.*

Философский исход нашла эта борьба в том отрицании природы, в том чисто буддийском акосмизме, к которому Толстой пришел в конце своей жизни. Природа у него превратилась из великого, всеобщего, благого духа в покрывало Майи, которое должен с себя скинуть всякий честный мыслитель и верный Богу человек. *Отврати твое зрение от мира юбмана и не доверяй своим чувствам, читаем мы в «Круте Чтениях» — книге, где собраны любимые мысли Толстого «на каждый день».* «Они лгут, но в тебе самом, во *внеличном* ящиче вечного человека». Ведь это уже чистый буддизм, который и подкреплен цитатами различных буддийских изречений и мыслями из Шопенгауэра. Взгляни на небо и на землю и подумай: все это преходяще, все эти горы, и реки, и различные формы жизни, и произведения природы. Все это преходит. Как только ты ясно поймешь это, тотчас же явится просветление, и ты узнаешь, что *есть и не преходит*... Куда мы идем после смерти? Туда, откуда пришли. Там, откуда мы пришли, не было того, что мы называем своим «Я» — вот это-то мы и не помним того, где мы были, долго ли мы там были и что там было. Если мы после смерти приддем туда, откуда вышли, то и после смерти не будет того, что мы называем своим «Я». От этого мы никак не можем понять, какая будет наша жизнь после смерти... Если жизнь есть сон, а смерть пробуждение, то тогда то, что я вижу себя отдельным от всего существом, есть «сновидение».

Это уже более, чем пантеизм. Это — выход из пантеизма, который сделали

индусы, эфеаты и мыслители вроде Шопенгауэра. Это отрицание природы, во имя единого всеобщего сущего, единого абсолютного. Это — чистый акосмизм, к которому пришел Толстой в результате размышления над своим эстетическим культом природы, над своим восторженным участием в Элевзинских мистериях.

Не менее остро разворачивается внутренняя антиномика обожания природы и в сочинениях Достоевского. Только автор рисует нам ее не как свое внутреннее драматическое переживание, а как живую диалектику мнений, высказываемых и защищаемых пероями его произведений. Если за тезис принять то обожание природы, о котором мы говорили ранее, то новой ему антитезой, принципиально отличной от буддийского акосмизма, являются взгляды, высказанные Иваном Карамазовым. Иван Карамазов — отнюдь не субъективный идеалист, рассматривающий физический мир как простую «космическую иллюзию». Во всех его рассуждениях нет следов сомнения в реальности физических вещей. Душою его владеет не онтологическое сомнение в реальности природы, но нравственное сомнение в ценностном смысле физического мира. Он является продолжателем той линии идей, которая была сформулирована героем «Записок из подполья»: да что мне за дело до законов природы и арифметики, когда мне почему-либо эти законы  $2 \times 2 = 4$  не нравятся. Разумеется, я не пробью такой стены лбом, если в самом деле сил не будет пробить, но я и не примирюсь потому только, что тут каменная стена, что у меня сил не хватает. Как будто такая каменная стена и вправду есть успокоение, и вправду включает в себе хотя какое-нибудь слово о мире, единственно потому, что она  $2 \times 2 = 4$ . Почему не нравится человеку эта стена, — изложил нам подробно Иван Карамазов. Его потрясла мысль, что весь этот стройный порядок природы, все это божественное ее установление, никак не оправдывает человеческих страданий и человеческой крови. И он поставил нравственный, телеологический, а не онтологический вопрос: для чего нужна вся эта ахиня и создана? Без нее, говорят, и пробить бы человек не мог на земле, ибо не познал бы добра и зла. Для чего познавать это чёртово добро и зло, когда это столько стоит. Иван Карамазов вовсе не сомневается в существовании Бога и созданной Им природы, онтологически он не хочет их отрицать, не хочет впадать в акосмизм. Но он просто морально их отрицает, и потому, как он говорит, почтительнейше возвращает свой входной билет. Мысль его состоит в том, как правильно заметил Розанов, что есть *дисгармония между законами внешней действительности*, по которым все течет в природе и в жизни человека, и *между законами нравственного суждения*, скрытыми в человеке. Вследствие этой дисгармонии, человеку предстоит или, отказавшись от последних, и с ними от своей личности, от искры Божьей в себе — *слиться с внешней природой*, слепо подчинившись ее законам, или, сохраняя свободу своего нравственного суждения, стать в *противоречие с природой, в вечный и бесцельный разлад с нею*.

Мысли, высказанные подпольным человеком и потом развитые Иваном Карамазовым, переносят центр тяжести из космологии в своеобразно сформулированную антропологию. Мир человека не только исключается из мира природы, но природа объявляется плавным врагом человека. Освобождение от физического мира — однако не с целью слияния с нечеловеческим и сверхчеловеческим абсолютным, а в целях самоутверждения самого человека — становится основной задачей человеческого бытия. Мотив этот, брошенный в некоторых произведениях Достоевского, не развит им в цельную философскую систему, но выражен в ряде художественных образов, которые не могут быть истолкованы иначе, как в смысле последовательного антропологизма. Таково, например, мрачное мироощущение Кириллова в «Бесах», который хочет своим физическим самоуничтожением

доказать последнюю человеческую свободу — не слиться с Абсолютным, к чему стремится кончающий жизнь самоубийством буддист (а мы знаем, что таковые среди буддистов были), — но самому стать абсолютным существом, человекобогом.

Пропест против космологии во имя антропологии оставил явой след в последующем развитии русской религиозно-философской мысли. Он явился отправной точкой для первоначальных философских идей Н. А. Бердяева, явился истоком его мировоззрения, которое он в позднейших формулировках дополнил различными другими философскими влияниями. Достоевский, говорит Бердяев, имел определяющее значение в моей духовной жизни... Он потряс мою душу более, чем кто-либо другой из писателей и мыслителей<sup>12</sup>). Бердяева, прежде всего, поразили исключительный антропологизм и антропоцентризм Достоевского. У Достоевского, говорит он, нет ничего кроме человека, нет природы, нет мира вещей, нет в самом человеке того, что связывает его с природным миром, с миром вещей, с бытием, с объективным строем жизни... Человек не принадлежит уже тому объективному космическому порядку, которому принадлежит человек Данте... Человек для Достоевского не есть явление природного мира, не есть одно из явлений в ряду других, хотя бы и высшее. Человек-микрокосм, центр бытия, солнце, вокруг которого все вращается. Все в человеке и для человека. В человеке загадка мировой жизни. Решить вопрос о человеке, значит решить вопрос о Боге. В этих характеристиках заложены все основные моменты последующей философии Бердяева — его учение о свободе, его отрицание мира объектов и объективации, его теория духа и т. п. Метафизика Бердяева — глубоко дуалистична, но дуализм этот — неонтологической природы, он не построен на противоположении двух внечеловеческих и сверхчеловеческих начал — материи, скажем, и духа, доброго и злого начала, Ормузда и Аримана. Метафизика эта возводит в основной метафизический принцип самого человека и из него уже выводит все последующие антиномии мира. Поэтому метафизика эта имманентна, а не трансцендентна. Путь Достоевского, говорит Бердяев, есть путь духовного имманентизма, а не трансцендентности. Если продумать ее до конца, то придется признать полярность самой божественной сущности. Трагедия полярности входит как бы в самую глубину Божественной жизни, — говорит Бердяев. Здесь Бердяев видит особенность русской философии и отличие ее не только от философии античной, но и европейской.

Драматическая борьба с пантеизмом открывается нам и в произведениях Розанова — борьба, из которой он не выходит победителем, которая давит его своею тяжестью. Уверенность в благодати природы, о которой он говорил не раз в начале своей литературной деятельности, сменяется на склоне лет непреодолимым сомнением. Эти сомнения выразил он в одном из писем, написанных незадолго до своей смерти. Иду я по улице — и вдруг пришло на ум: природа, что это «жена» или так «девчонка»... И меня так обняла красота и одного, — Вы знаете это, строгая, целомудренная «жена», с особым величием, с особым ее достоинством, и — другого: что я заколебался, «застеснялся в душе», и почти стонал — «не знаю, не знаю» — и в тот миг (когда шел по улице) — склонился к красоте «всеобъемлющей девчонки». Вообще можно мир и так думать, и так...<sup>13</sup>) Читая его более поздние произведения, убеждаемся, что он природу мыслит именно и так и так — то как чудное существо, слияние с которым очищает, то как великую блудницу. Розанов, как известно, восстал против Ново-

<sup>12</sup>) Н. Бердяев. Мирозерцание Достоевского, Париж, 1923.

<sup>13</sup>) Письма Розанова к Э. Геллербаху, Берлин, 1927.

го Завета именно потому, что в христианстве боль мира победила радость мира. Вообще из текста Евангелия совершенно естественно вытекает монастырь — говорит он. Монастырь же авитализм. Нет, жизни не нужно. Скорбь и скорбь заливают все. В Христе поэтому видит он темный лик, даже нечто демоническое. Чтобы победить этот авитализм, зовет он возвратиться к Ветхому Завету, к юдаизму, так как там с немислимым для христианства сознанием покорности естественным процессам природы человек жил и множился, дабы в конце концов размножившись «приложиться к отцам». «Древние храмы были полны тельцов, овец, голубей, — здоровья еще до человеческого». Здесь все попружено в природу, в стихию настоящей витальности. Но в то же время Розанов не может от себя скрыть, что и в юдаизме имеется некоторая авитальность, даже акосмическая струя. Он считает, что язычество, спрессованное до невозможности, до потери всех форм, скульптур — это юдаизм. Но в христианстве этот процесс спрессования продолжается, доходит до апогея — так что «материи совсем нет, она обращена в ноль». С другой стороны и одновременно с тем, еврейский Бог, Адонай, представляется ему также страшным демоном, египетским Аписом с его основной способностью производить, производить и производить. В этой способности видит он основную силу природы, которую считает силой сексуальной. Получается тот пансексуализм, который закрывает все, образуя существо Бога, религии и природы. Электричество, вулканы, свет, прозы — все есть порождение этой сексуальности, плоды этого вселенского Аписа, Аписа, превращенного в бесконечность<sup>14</sup>).

Розанов оставляет нас без решения этой «запутанности мира», — перед этой, разрывающей его душу, живой его антиномией.

## V ВОЗЗРЕНИЯ Н. Ф. ФЕДОРОВА

Совершенно исключительные по своей оригинальности идеи, отрывочно и без всякой системы набросанные русским мыслителем Н. Ф. Федоровым, можно считать своеобразным синтезом той диалектики, которая, как мы видели, развивалась в русских религиозных воззрениях на природу. Федоров принадлежал к числу типичных «сектантов в философии». К академическому философствованию относился он с нескрываемым презрением и всячески изобличал его одностороннюю теоретичность и чуждость потребностям действительной жизни. Хотя он и считал себя истинно православным, юднако же с точки зрения церковных догм был несомненным еретиком. В отдельных взглядах его проявлялось свойственное многим сектантам истинное чудачество, вследствие которого люди позитивистически настроенные склонны считать его просто маньяком. В жизни своей был он, поистине, святым человеком, чем и производил неизгладимое впечатление на всех своих современников...

Мы видели уже, что подобно многим другим русским теософам Федоров восставал против городской культуры и звал человека к сельской жизни, где только и ощущается истинная близость к земле. Федоров в своих сочинениях прямо указывает на Глеба Успенского, говоря, что его проповедь о возвращении к селу, к земледельческому труду, есть несомненная истина. Напрасно стали бы мы искать у Федорова художественных описаний природы и того эстетического к ней отношения, который мы наблюдали у русских балетмейстеров-художников. По ду-

<sup>14</sup>) Э. Геллербах. В. В. Розанов, Личность и творчество, СПб, 1918.



ху своему — он рассуждающий философ и стилистически — довольно сухой, менее всего склонный к эстетике. Но нет сомнения, что он внутренне любил природу, жил в ней и чувствовал ее, как главного друга человека. Природа для него — враг только в теперешнем ее хаотическом состоянии. Она есть — Враг временный, а может быть Другом вечным. В особенности же враждебность природы проявляется тогда, когда она истощается культурой. Так что, — поворит Федоров, — христианское и арийское человечество вступают ныне в область открытой вражды в природе.

Присутствующий в природе хаотический момент Федоров ощущал прежде всего в той физической силе, которую он считал основной, — именно в электричестве. Высказанные по этому поводу мысли Федорова не лишены интереса и содержат некоторое удивительное прозрение современных взглядов на природу, выраженное в форме чисто мифологической. Прозрение это можно уподобить не менее странной мысли Гераклита, в которой как бы содержится идея современной электромагнитической теории материи: «Миром правит молния». Электричество для Федорова не есть особая сила природы, существующая наряду с другими как теплота, звук, притяжение, отталкивание. Электричество есть источник всех сил. Вся жизнь вселенной есть непрерывная упрота и буря разной напряженности, все тела способны переходить в прозовые состояния. Жизнь всей вселенной нужно считать проявлением бурь и гроз. Но сила эта не есть сила упорядоченная, созидательная. Она все разрушает и способна разрушиться самой себя. Само солнце и все солнце есть грозное облако, которое разрушится вместе с последней молнией. Солнечный шар, существующий целый ряд веков, есть как бы кратковременная искра в бесконечности времени и пространства. Сила эта требует регулирования — и только в своем упорядоченном состоянии потеряет свою разрушительную силу и не погубит всего мира<sup>15</sup>.

Мифологически-символическим выражением учения об электрическом характере физических процессов Федоров считал свойственное русскому народу особое поклонение пророку Илье. Илья был ревностный противник моления языческим богам, бывшим олицетворением грозы и бури. Но сам Илья часто появляется в прозе, низводит на землю и огонь и дождь. В этом народном веровании заключен, по мнению Федорова, двойной смысл. У Ильи, прежде всего, мы научаемся, что Бог «не в грозе», как это думали язычники. Мы научаемся далее, что Бог отдаст ложных богов, олицетворяющих грозу, во власть своему пророку и тем самым человеческому роду. Илья, по народным верованиям, сам низводит на землю огонь и дождь, показывая этим, «что не поклоняться этой силе, а управлять ею должен человек».

По всему этому утверждение безусловного порядка, царствующего в природе, кажется Федорову просто нелепостью. Пантеизм, говорит он, вопреки всему, что мы видим и ощущаем, — и не мы одни, а вся тварь, «томлящаяся и жаждущая избавления от страдания» — тем не менее с безжалостным благодушием отвлеченного мышления продолжает утверждать, что в мире все-таки есть порядок и высшая целесообразность. Это, по мнению Федорова, есть уже *прямая недобросовестность, непозволительная для предполагаемого достоинства философии*. Пантеизм для Федорова есть преимущественная религия Индии и Германии. Для этой религии зло составляет необходимое условие бытия и жизни

<sup>15</sup> «Философия общего дела», том 2, стр. 255–57. Интересно сравнить с суждениями современных ученых: J. Thibaud, *Vie et transmutations des atomes*, 1937, p. 22: «la matière sereduit bien à des constituants électriques».

ни. Поэтому единственное средство уничтожения зла здесь есть уничтожение самой жизни, самого бытия. Так и решают, и к этому должны прийти, в конечном выводе, как восточный буддизм, так и западный пантеизм<sup>16</sup>).

Отвергая воззрение на мир как на абсолютный и совершенный порядок, Федоров в то же время не был целиком с теми, кто видел в природе сплошной хаос, сплошную бессмыслицу. Если в природе все — беспорядок, «тогда о какой целесообразности можно толковать иначе, как в насмешку». А между тем целесообразность природы тоже есть несомненный факт. Не правы поэтому «губители мира», как Федоров называет, очевидно, людей, возненавидевших природное бытие, вроде Ивана Карамазова или Кириллова. Мир должен быть не уничтожен, а преобразен, переделан волей и силой человека. Разрушающий бунт, который составляет основное направление души многих героев Достоевского, Федоров хочет обратить в организованный творческий процесс. И в то же время здесь намечается у Федорова новое расхождение с пантеизмом, связанное с практическими выводами из пантеистического мирозерцания. Пантеист всегда склонен к пассивности, к бездеятельной интуиции, он не любит деятельности. В особенности же к отрицанию творчества склонен последний, крайний вывод из пантеизма — философия акосмизма и отрицания всякого бытия вообще. Толстой, как известно, защищал принцип «неделания», противоположая его мнению Эмиля Золя, который всякий человеческий труд, даже безцельный, считал высшей моральной ценностью. Розанов также говорит в одном из своих произведений: «Я пришел в мир, чтобы видеть, а не совершать». Против этого Федоров выставляет свой принцип «общего дела». Нужно, чтобы все стали деятелями и чтобы все стало делом, делом единого внесения мира в мир. Творить мы не можем, а воссоздавать сотворенное не нами — мы должны, иначе мы не будем подобием Творца, и все созданное должно погибнуть, разрушиться. Этот процесс воссоздания вовсе не противоположен познанию мира. Напротив, все должны быть познающими и все должно быть предметом знания, но так, чтобы знание не отделялось от дела. Воссоздавать человек должен в совокупности, человеческое творчество должно быть «общим делом». Тогда совокупность (цельность) познающих разумных существ, относясь к полноте всего создаваемого, неразумного, будет воссоздавать его, управлять им. Таким образом мир или природа придет к самосознанию и самоуправлению через объединившиеся в общей цели и в общем деле существа, ныне в розни и бездействии находящиеся.

Процесс человеческого творчества не есть, таким образом, нечто чуждое природе, ломающее ее извне. Он — внутренний, имманентный ей процесс, если только его правильно понимать и осуществлять. Противопоставлять природу человеку, гнуть его посредством, это значит забывать, что сама природа сознает себя в человеке и силится, стремится управлять собой. Однако и высшая степень управления есть не создание, а лишь воссоздание. Но в нас природа достигает своего совершенства или такого состояния, достигнув которого, она ничего уже разрушать не будет, а все в эпоху темноты разрушенное восстановит, воскресит. Тогда она и станет «другом вечным» человеку. Это сознание природы самой себя через всех людей «есть путь для достижения миром подобия Троиственному существу или Богу».

Через принцип творчества дается содержание человеческой свободе, проблема которой была поставлена, как мы видели, в произведениях Достоевского. Свобода

<sup>16</sup> Там же, стр. 48-51.

сама по себе есть пустое, часто, разрушительное понятие. Чтобы осмыслить его, нужно поставить вопрос: свобода «от чего» и «для чего»?

Федоров называет нынешнюю философию свободы философией горожан, веривших в свободу, но не заметивших господства и гнета природы над собою. «Крестьяне более разумны, чем горожане, не понимают свободы без земли»... «Горожане же не понимают, что без власти над слепотою силою природы, нельзя называть себя просвещенными и уже совсем нехорошо звать себя свободными». Современный культ свободы заключается в том, чтобы «проповедовать рабство слепой силе и свободу от разума, чтобы обрекать людей на терпимость и рознь, на обоготворение пороков и нелепостей». Мы переживаем критическое время, восклицает Федоров. Нам надо решить вопрос о свободе. Неужели мы поймем свободу в смысле ограничения власти — той власти, которая должна бы объединить всех в борьбе со слепотою силою природы. Ужели не поймем, что свобода без власти над природой и без управления ею — то же, что освобождение крестьян без земли.

Теософия Федорова призывает, таким образом, к преображению природы силами человека, — к установлению в природе того совершенного состояния, которое было испытано тремя апостолами на горе. Описывается оно, как состояние особого *просияния* природы и *просветление* ее риз, которые стали как бы солнечными (Мат. 17,1; Мр. 9,2; Лк. 9,28). Присутствие при этом пророка Ильи (Ср. выше) имеет для Федорова особо символический смысл. Эта преображенная природа и есть постоянный друг человека: «Господи, хорошо нам здесь быть»... В таком толковании, совершенно противоположном толкованию Розанова, христианство обнаруживает предельно космический и витальный смысл: по Федорову, это есть учение о преображении жизни, а не авитализм, как думал Розанов. И так как враждебность природы для человека выражается более всего в факте смерти, то идея преображения природы приводит нас к вопросу о преодолении смерти, о борьбе с нею человеческими средствами. Преодоление смерти есть в то же время проблема Воскрешения — дело воскрешения «умерших отцов» является центральным пунктом всего федоровского учения.

Мы подходим, таким образом, к самому рискованному пункту этой теософии, который более всего может внушить сомнение и привести к нареканиям. Федоров подметил верно, что учение о воскрешении есть наиболее характерная тайна христианства, символически выделенная и подчеркнутая с особой силой восточным православием, для которого праздник Воскресения Христова есть самый важный из всех других. Однако все христиане до сих пор считали, что воскрешение есть дело божественной благодати, а не рук человеческих. Мысль же Федорова состоит в том, что так как христианский Бог всех хочет спасти, то *нужно исполнять Его хотение, нужно искать путей человеческих для исполнения Его воли*. Если пути эти не будут найдены, то последует неминуемо Страшный Суд, воскрешение вечного наказания, горение космоса в огне, растерзание его в прозе и буре (ср. выше).

Дерзновенность этой задачи граничит с безумием, тем более, что никаких реальных путей для ее осуществления не указал ни сам Федоров, ни его позднейшие последователи. Но на это последователи Федорова могли бы возразить: «А мы проповедуем Христа распятого, для Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие» (1 Кор., 1,23). «Вера двигает горами». Не христианину, стало быть, апеллировать к невозможности. Однако остается и другое возражение, которое, по-видимому, не было предусмотрено Федоровым и его последователями. Они не предвидели,

что воскрешение всех людей силами человеческими предполагает, что люди воскреснут и укрепятся во всех своих несовершенствах, в которых они пребывали до своего воскресения и до своего бессмертия. Воскреснет и укрепится в бессмертии не только совершенный, но и злодей, убийца, преступник, негодяй. Не останется ли мир оттого еще хуже? Не будет ли он и в своем новом состоянии нести яд первоначального греха? Полное бесчувствие к этой последней проблеме составляет особенность теософии Федорова. Розанов, очень глубоко чувствовавший эту проблему, говорил по поводу рассуждений Ивана Карамазова о неприятии мира: Так ли уж невинен тот младенец, страдания которого приводят к мысли о необходимости «возвратить входной билет в мир Богу?! Федорову же можно возразить: так ли уж непорочен человек, который берется не только преобразить мир, но и воскресить отцов в состоянии безгрешности и совершенства. А если шадшесть коренится и в том, который берется за дело преобразования, и в тех, которым он дает жизнь вечную, то вряд ли из этого дела выйдет какой-либо действительный прок. Прешный человек не может брать на себя дела нравственного перерождения других существ. Это есть явное присвоение себе божественных функций.



Статья наша дает материал для нового решения вопроса о сущности и характере русской философии, по сравнению с тем взглядом, который не раз высказывался ранее. Согласно этому последнему взгляду, характерной чертой русской философии является ее связь с эллинизмом и с византийским христианством. Оттого не существует никакой специально русской философии, как утверждают сторонники названного воззрения. «Эллинико-христианская традиция глубоко соединяет нас с мировой философией, которая восходит в конце концов к Сократу и диалогам Платона» (Б. П. Вышеславцев, «Вечное в русской философии», 1955).

Взгляд этот справедлив, если иметь в виду нашу академическую философию, светскую и духовную, вышедшую из русских университетов и духовных академий. Но его едва ли можно оправдать, если принять во внимание наших «свободных теософов» и если не упускать из вида материалистической струи русской философской мысли, истоки которой нужно искать не у Платона и византийских христиан, а скорее у Эпикура и Лукреция, то есть у определенных антиплатоников и атеистов.

Сакраментальное поклонение земле мы отметили у различных русских писателей, которых нельзя считать представителями «академической» науки — у Глеба Успенского, Достоевского, Толстого, Федорова. Трудно утверждать, что оно было эллинического происхождения. Сами эллины имели древнее ощущение святости земли, о чем — с уверенностью можно сказать — не были осведомлены русские писатели, так как впервые это в нашей литературе отметил в 1917 году Павел Флоренский в маленькой книжечке, изданной в Сергиевском Посаде («Первые шаги философии», Сергиев Посад, стр. 54-69). В немецкой литературе об этом впервые написал А. Дитерих, «Мать-земля», Лейпциг, 1905. Воззрений Дитериха цитированные нами «свободные теософы» не могли знать. У наших «свободных теософов» так же, как и у древних греков, культ земли был продуктом первоначального мироощущения, о котором не учат людей в университетах и духовных академиях; родился он совершенно спонтанно и не был продуктом влияния философских сочинений и продуманных философских систем.

Русский пантеизм, о котором мы говорили в нашей статье, мог родиться под влиянием Джорджано Бруно или Спинозы у Сковороды, у Тютчева, у которого

нельзя не подметить мотивов, заимствованных в философии Шеллинга. Но у Л. Н. Толстого юношеский его пантеизм имеет столь явный характер непосредственно первоощущения природы, что сводить его к философским заимствованиям просто не стоит. Тем более, что когда Толстой начал свое философское чтение, первоначальный пантеизм он упрatil и заменил Шопенгауэром и даже буддизмом. Первоначальный пантеизм у Толстого родился из той религиозно-мистической интуиции природы, из которой у древних греков произошел бог «Пан», бывший предметом преклонения раньше, чем родилась преческая философия. И уже во всяком случае не из древней эллинской мистики заимствована та критика пантеизма, которую мы подмечаем у Розанова и Федорова (природа — великая блудница, «уличная девка», в теперешнем хаотическом состоянии «враг», а не друг человека). Отсюда происходит идея «регуляции природы» силами человека, иначе «все созданное должно полизнуть, разрушиться» — идея, совершенно чуждая древнему эллинскому мышлению и не слишком одобряемая древнееврейской, библейской мыслью (сказание о Вавилонской башне).

Не у преческих философов, а разве только у европейских социалистов, заимствована федоровская мысль: нужно, чтобы все стали деятелями, и все стало делом — делом единого внесения мира в мир. Древние преческие философы с презрением относились к труду и деятельности. Аристотель говорил, что порядочный человек передает управление своим именем управляющему, а сам занимается политикой и философией. Цицерон считал ручной труд занятием низменным и презренным. У Федорова же главное, чтобы «знание не отделялось от дела» и философию свою он называл «философией общего дела».

Идея одностороннего величия человека изображена в нашей литературе раньше, чем к нам пришло увлечение «сверхчеловеком» Фридриха Ницше — вспомним Ставрогина у Достоевского, чем он не «сверхчеловек», стоящий «по ту сторону добра и зла»? Ничтожество человека во всех его видах никакая философия и никакая литература не изображала со столь поразительной силой, как это сделал в своих романах Достоевский. И тема эта навеяна не Паскалем, которого у нас мало знали, а собственной интуицией противоречивости человеческого существа.

Опытный, народно-религиозный смысл имело у древнейших греков то, что у позднейших преческих философов называлось «силой», «энергией» или «потенцией». Гераклит считал, что силой, управляющей миром, является «мошния», то есть в научном выражении «электричество». Едва ли у Гераклита заимствовал Федоров мысль, что весь мир есть «гроза и буря» разной степени напряженности. У Федорова, как мы видели, опождествление основной силы, управляющей миром, с электричеством имеет религиозно-мифологическое происхождение, не эллинское, но библейско-христианское, выражающееся в особом почитании русскими пророка Ильи.

После изложенного можно с некоторым основанием защищать нашу тезу, что существовала «специфически русская философия», которую игнорировали историки русской философии, русские и иностранные. Если нашу академическую философию можно упрекнуть в зависимости от Запада, в подражательности, то упреки эти едва ли можно сделать нашим «свободным теософам», в мыслях которых проявился духовный остаток тех сил, из которых на заре человеческой культуры возник дар речи, миф, религия, первобытная мистика и, философски одаренных народов, первоначальная, «народная», философия.

## Заживо погребенный Век

Ни для кого не тайна, что история русской культуры представлена в советских материалах нередко в превратном виде и в ложном освещении. При этом необходимо признать, что дезинформация эта проводится довольно искусно — путем лжи и замалчивания в главном и подбора правдивых деталей в частности. Есть, конечно, области безопасные с точки зрения внутренней политики, где дезинформация эта сведена к минимуму. Например, пушкиноведение, литература XVIII века, древняя литература представлены достаточно объективно. Ибо в них и в ряде иных «нейтральных» областей советские бенкендорфы не особенно вмешиваются в работу честных историков, которые, слава Богу, не переводятся на Руси и в советские времена. Есть, однако, ряд важных областей, где дезинформация и искажения достигают крайней, иногда вопиющей степени. К их числу относятся, прежде всего, религиозная философия. Поскольку религиозные искания определяюще-характерны для русского духа, дезинформация в этой области особенно зловредна.

Так, в советских руководствах почти не упоминаются славянофилы — Киреевский, Хомяков, Юрий Самарин, в чем не так давно признавался журнал «Вопросы философии».

До недавнего времени неформальному посмертному гонению подвергалась тень великого Достоевского. Да и теперь, с «уравнием» Достоевского в правах полноценного великого писателя, всё его религиозно-философское наследие объявляется смесью реакции с патологией, хотя трудно вникнуть в Достоевского-писателя без, по крайней мере, серьезного принятия во внимание его религиозно-философских прозрений.

Но Достоевского все-таки никогда нельзя было полностью замолчать. Зато почти полной фигуре умолчания, подобно славянофилам, подвергается русский религиозно-философский Ренессанс начала XX века, давший русской культуре и всему миру целую плеяду высококачественных мыслителей. В то время как весь культурный мир знает и ценит Вл. Соловьева и Бердяева и имеет понятие о Н. Лосском и С. Франке, на родине этих мыслителей делается все возможное, чтобы замолчать эти имена. А о философах, которым менее «повезло» на Западе — о Розанове, о гце Павле Флоренском, Аскольдове-Алексееве, Льве Шестове — в советских руководствах «ни полслова».

Где возможно, умолчанию, а где невозможно, искажающей дезинформации подвергается и творчество русских поэтов «Серебряного Века». Блока, конечно, чтят за его «Двенадцать» и за патристические стихи. Но из песни русской поэзии

Блока не выкинешь, хотя и были попытки умаления его поэтических заслуг. Однако, всячески стараются умалить значение Андрея Белого. А о Бальмонте, Соллогубе, Анненском и других замечательных поэтах-символистах, если и упоминается вкратце, то как о «гнилых и реакционных декадентах». Мандельштам и Клюев преданы почти полному забвению. О Гумилеве не говорят, как в доме посвященного ю веревке. Этот список можно было бы продолжить.

Остается несомненным, что «Серебряный Век», славный своими достижениями в области поэтической культуры, искажается и умаляется. Русский же религиозно-философский Ренессанс почти совершенно замалчивается.

Однако, не только природа, но и история не терпят пустоты. Вот данные полагают, что полузамолчанный период «Серебряного Века» и религиозно-философского Ренессанса все более привлекает к себе внимание мыслящей советской интеллигенции. Так, появление за границей «Истории русской философии» отца Василия Зеньковского и одноименной книги Н. Лосского вызвало ряд пневных отповедей в советских журналах, — после того, как в западной печати были помещены лестные рецензии на эти книги.

В советских отзывах подчеркивалось, что Лосский и Зеньковский принадлежат к «реакционному» крылу русской философии начала XX века. Так, во время «оттепели», судя по негодующим разоблачениям «Литературной газеты», среди советской литературной молодежи был замечен интерес к поэзии Андрея Белого. В связи с появлением книги С. Франка «П. В. Струве», журнал «Вопросы философии» сделал ряд выпадов против сборника «Вехи». На пленуме советских писателей неизвестный Н. Прибачев заявил, касаясь «уклонов» в области эстетики: «На многих внешних эстетических программах, завуалированно излагаемых, наглядно проступают черты почивших в бозе пророков и апостолов декадентства». Наиболее вдумчивые иностранные наблюдатели, недавно посетившие Советский Союз (напр., профессор Рэймонд), говорят о повышенном интересе к религии в среде советской молодежи, — именно молодежи, а не воспитанников сталинского периода. Все эти (и иные) признаки свидетельствуют о тяге значительной части советской интеллигенции к высшим религиозно-моральным и эстетическим ценностям, находящимся под официальным запретом уже в течение тридцати с лишним лет.

Этот духовный голод, стимулируемый гресыщением гнилой духовной пищей марксизма-ленинизма, может быть насыщен лишь в атмосфере свободы творческих исканий. Но как раз русский религиозно-философский Ренессанс и шедший с ним попутно расцвет «Серебряного Века» являли собой пример напряженности таких исканий.

О том, насколько глубоки и напряженны были искания той эпохи, свидетельствуют хотя бы знаменитые религиозно-философские собрания у Мережковских, в начале века, в которых принимали участие не только философы и поэты, но и духовные лица, и представители общественности.

Молодым религиозным философам приходилось тогда вести борьбу на два фронта — против идолов секуляризма левой общественности и против консерватизма «правых».

Обращаясь к «консерваторам», молодой тогда Мережковский вопрошал: «Для нас христианство в высшей степени неожиданно, празднично. Вот мы именно эти неприкаянные, непритлаженные, непритлащенные на пир, прохожие с большой дороги, — мытари, прешники, бродяги, разбойники, босяки, анархисты, вытилисты. Мы еще в темноте нашей ночи, но уже услышали второй зов Жениха... Мы

ослеплены сиянием праздника, а мертвая академическая схоластика, эта старая, верная прислуга Хозяина, — не пускает нас».

Другой участник этих собраний, Тернавцев, поворил:

«Наступает время, когда вопрос о Христе станет для нас вопросом жизни и смерти, источником бесконечной надежды, или бесконечного ужаса». Тернавцев же был одним из первых, заговоривших о необходимости «оцерковления общест-венности».

Отметим многообразие проявлений русского религиозного Ренессанса у различных его представителей. Тут был и пафос религиозно-осознанной свободы в духовно-волнующих писаниях Бердяева, и облеченные в какую-то иконописную стилистику прозрения Флоренского, и всеразъедающий «скепсис во имя Божие» Льва Шестова, закованный в афористически-логическую броню, и тяжело-добротная поступь мысли отца Сергия Булгакова.

В области чистой философии к христианскому миропониманию шли и в эмиграции пришли Н. Лосский и С. Франк. Весь этот период представляется каким-то пррщесвом мысли, — не без вредных излишеств, но редкий по своему богатству и по своей культурной «элитности».

Идейными «крестными отцами» русского религиозно-философского Ренессанса нужно считать Достоевского и Владимира Соловьева. Все выдающиеся представители этого движения (Бердяев, Булгаков, Мережковский, Розанов, Вячеслав Иванов, Лосский, Франк, Лев Шестов) прошли через период увлечения Достоевским или Соловьевым, или ими обоими вместе. Что касается Достоевского, то должен был пройти период целого поколения со дня его смерти, чтобы он был глубоко оценен как религиозный мыслитель. Первой книгой, в которой философское наследие Достоевского было оценено по существу, явилась замечательная книга Розанова, с которой началась его известность — «Легенда о Великом Инквизиторе» Достоевского». За ней вскоре последовал монументальный труд Мережковского «Толстой и Достоевский».

В свою очередь, идеи Соловьева о синтезе христианства и гуманизма оказали сильное влияние на построения Бердяева и Булгакова.

Вообще говоря, в русском религиозно-философском Ренессансе можно различить две главные «формации» мыслителей — одну, вышедшую более из литературы, и не чуждую символизму, — и другую, родившуюся под знаком преодоления марксизма.

К первой «формации» принадлежат, прежде всего, Мережковский и Розанов, Вячеслав Иванов и Андрей Белый, к другой — Бердяев, Булгаков, отчасти Франк и Лев Шестов.

В построениях и идеях «литературной» группы, как и естественно было ожидать, содержалось более интуиции, размаха, но и вещательства и литературной позы.

В философской же деятельности группы «кающихся марксистов» — было больше философской культуры, сдержанности, трезвости духа, — хотя и здесь намечалось вначале немало ницшеанствующих «дерзаний».

Во всяком случае, если Мережковский и Розанов задали тон увертюре религиозно-философского Ренессанса, то «кающиеся марксисты» сообщили этому «движению» определенную форму, облик, выкристаллизовали его в целые философемы.

Но сейчас нас интересуют не отдельные мыслители этого периода, а сам период, в целом.

Русский религиозно-философский Ренессанс проходил под знаком великой



переоценки ценностей русской интеллигенции, под знаком реабилитации религии, литературных исканий и цветения эстетической культуры. Флоровский называет этот период «душевым ледоходом» и «перевалом сознания». В этот период «душа молилась неведомым богам». Для него характерна новая жажда вечности, когда «открылось, что человек есть существо метафизическое». Профессор Степун пишет в своих «Воспоминаниях» («Бывшее и несбывшееся»), что по напряженности духовного порения и исканий мысли период этот имел мало precedентов не только в истории русской, но и западной мысли.

Проповедникам «нового религиозного сознания» вначале был оказан оппор как слева, где их обвиняли в «ретроградстве» и «мистицизме», так и справа, где их считали «дерзкими еретиками».

Тем не менее, подобно тому, как символисты сломали, в конце концов, сопротивление литературных староверов, так и молодым религиозным философам, ученикам Вл. Сомовьева, удалось, в конце концов, получить отклик со стороны значительной части русской общественности. Журнал «Вопросы жизни», основанный Н. Бердяевым и С. Булгаковым, имел успех. Даже в марксистской среде спали появляться свои «богосудокатели» и «богостроители», которым столь резко оппведь должен был дать сам Ленин.

Этот отклик был, правда, недостаточен. Голосу религиозных философов внимало меньшинство, в то время как большинство русской интеллигенции все еще поклонялось Чернышевскому, Добролюбову, Писареву, в лучшем случае Герцену или Михайловскому.

По этому поводу Бердяев отмечал: «Трагедия и слабость русского религиозно-философского Ренессанса была в отсутствии широкой социальной базы. Он происходил в культурной элите».

Этот диагноз приблизительно верен, с той существенной оговоркой, что влияние религиозной философии имело сильную тенденцию к распространению на все более широкие круги интеллигенции. Не будь революции, этот процесс, вероятно, приобрел бы свою общественную базу, ибо он уже начинал приобретать ее.

Профессор Степун пишет по этому поводу в своих «Воспоминаниях» («Бывшее и несбывшееся»):

«Еще десять-двадцать лет дружной, упорной работы, и Россия, бесспорно, вышла бы на дорогу окончательного преодоления того разрыва между «необразованностью народа и ненародностью образования», в котором славянофилы правильно видели основной грех русской жизни. Но, — добавляет он, — этих десяти-двадцати лет не было дано... и эти оздоровительные процессы были сорваны большевистской революцией».

Возвращаясь к той напряженности духовных исканий, о которой мы говорили, хочется процитировать свидетеля религиозно-философских собраний в Москве в те годы, — того же Федора Степуна:

«Читал я много в венских и берлинских литературных салонах, где собирались образованнейшие и умнейшие люди Европы... и часто спрашивал себя... не являет ли описанная мною московская жизнь, на фоне европейской культуры, скорее образ духовной скудости, чем богатства... Мой ответ, — и да простят мне мои европейские друзья, вполне определенен: отнюдь нет. Конечно, русская духовная жизнь была менее разветвленной, чем европейская, но мне кажется, что она в некотором смысле была более напряженной».

Характерно, что если в русском религиозно-философском Ренессансе был духовный максимализм, то в его социально-политической проекции он обернулся

своего рода «реформизмом», а отнюдь не революционностью (и, конечно, не контрреволюционностью). В этом, впрочем, есть своя логика. Ибо молодые религиозные философы понимали, что от общественной перестройки нельзя ждать чудес, что в этой области возможно и необходимо создать лишь социальные предпосылки для общественного блага и для построения духовной культуры, но что сама духовная культура создается личным подвигом и почином.

Нужно добавить также, что перед Первой мировой войной период *Sturm und Drang*'а в русском религиозном Ренессансе, с его крайностями, уже проходил и наступал период духовной зрелости.

Наилучшим показателем этой зрелости религиозно-философского умонастроения, освободившегося от крайностей романтических увлечений, может служить ставший знаменитым сборник «Вехи». Сборник этот явился как бы «самокритической» русской интеллигенции, подведением итогов ее исконным идеологическим прехам — нездоровому идолопоклонству, примату утилитарно-моральных критериев над исторической и жизненной правдой, духовному максимализму, требующему «всего или ничего», и оборачивавшемуся поэтому нередко «ничем» — nihilизмом.

Авторы этого сборника были едины в своем общем диагнозе — что корень всех прехов русской интеллигенции заключался в ее отрыве от религии, в ее наивном убеждении, будто культура, прогресс и наука — естественные враги религии, что защищать в «наше время» религиозные ценности — значит быть духовным ретроградом. Но, в то же время, как на это особенно указывал Сергей Булгаков, русская интеллигенция, как и русский народ, от природы религиозна, поэтому свое духовное горение она стала отдавать ложным идолам. Авторы сборника — Бердяев, Булгаков, Франк, Кистяковский, Гершензон стремились, в противоположность этим идеалам, выдвинуть идею религиозной культуры, примирить «безбожную цивилизацию» и «чуждающуюся культуры религию».

В предисловии к сборнику говорится, что «общая платформа его участников — признание примата теоретического и практического первенства духовной жизни над внешними формами общезжития... Идеология русской интеллигенции, говорилось далее в сборнике, покоящаяся на противоположном принципе, — на признании безусловного примата общественных форм — представляется участникам внутренне-ошибочной».

Н. Бердяев в своей блестящей статье «Философская истина и интеллигентская правда», осуждал «кружковщину» русской интеллигенции, ее отрыв от потока мировой культуры. Обличал автор и «господство утилитарно-морального критерия», прозякающего оскудением целостной духовной жизни, сужением горизонта сознания. «У нас считалось чуть ли не безнравственным отдаваться философскому творчеству... Интеллигенция готова была, замечает он далее, принять на веру всякую философию, под тем условием, чтобы она санкционировала ее социальные идеалы». Именно этим «прагматическим» образом мышления объясняется, по автору, увлечение большей части русской интеллигенции философски малозначительными идеями материализма и атеизма.

«Отказ от истины ради (проектируемого) счастья человечества», — так характеризовал Бердяев эту подмену «философской истины» «интеллигентской правдой».

В противоположность этому социальному идолопоклонству, к которому была примешана неоправданная духовная гордыня, Бердяев утверждал: «Сейчас мы духовно нуждаемся в признании самоценности истины, в смиренности перед истиной и в готовности отречения во имя ее».

Отец Сергей Булгаков в своей статье «Героизм и подвижничество» дал сатирическую пародию на представления большинства русской интеллигенции о ходе человеческого прогресса:

«Вначале было варварство, а затем возсияла «цивилизация», то есть, просвещение, — материализм, атеизм, социализм — вот настоящая философия истории среднего русского интеллигента».

Забывалось при этом, отмечал далее Булгаков, «что западноевропейская культура имеет религиозные корни, что эпоха «Просвещения» явилась лишь одним из звеньев в цепи ее сложного развития».

Однако, Булгаков отметил и ряд положительных черт русской интеллигенции: ее готовность к самопожертвованию, ее внутреннюю моральную чистоту, высоту ее горения, ее готовность служить народу. Все эти драгоценные качества, по Булгакову, нуждаются лишь в направлении их на подлинные ценности, а не на ложные идолы. В связи с этим он противопоставляет героизм, с его духовным дерзанием, стремящийся к спасению человечества своими собственными, притом внешними средствами — *подвижничеству*, предполагающему смирение перед божественной истиной, и идущему по пути внутреннего преобразования духа.

«В спрдавальческом облике русской интеллигенции просвечивают черты духовной красоты, делающей ее похожей на какой-то совсем особый, дорогой и нежный цветок, взращенный нашей суровой историей».

В сборнике «Вехи» теперь, после епо пятидесятилетнего юбилея, найдется много такого, что в свете опыта последних десятилетий будет звучать в высшей степени актуально. Так, после десятилетия юртий бесправия новой русской интеллигенции, вероятно, придутся по сердцу и слова Кистяковского, написавшего в сборнике яркую статью в защиту права:

«Путем горьких испытаний русская интеллигенция должна будет прийти к признанию, наряду с абсолютными ценностями, также и ценностей относительных — самого обобщенного, но прочного и нерушимого правопорядка».

Авторы сборника «Вехи» вскрыли также противоречие между «религиозно-абсолютнистским характером интеллигентской веры» — и «нигилистически-бесприщипным ее содержанием — культом материализма и атеизма» (С. Франк). Тот же С. Франк характеризовал, в связи с этим, тип жертвенного русского интеллигента как «воинствующего монаха нигилистической религии земного благополучия».

В наше время, когда насильственно насаждаемый атеизм выдрал из культурно-душевного юбихода многие религиозные понятия, именно догматический атеизм способен заронить зерна сомнения относительно своей истинности. Современные духовные искания молодой русской интеллигенции, вероятно, будут идти скорее в направлении оправданности религиозной веры, чем в направлении утверждения религиозного нигилизма.

В наше время по-новому актуально звучат слова Достоевского, обращенные к догматикам-атеистам: «Ну, не верь, но хоть подумай». Ибо свободная мысль в условиях нашего времени более не враг религии, а скорее естественный ее союзник. Врагом же свободной мысли оказывается догматический атеизм.

В наше время, устав от всякого рода «социальных заказов», и от пресловутого «примата политики», в русской новой интеллигенции скорее проснется стремление к чистой науке, к чистому искусству, к чистой философии. После засилия общепязательного марксистского мировоззрения и применения только белых и черных красок в малевании иллюстраций к этому мировоззрению, вероятно, проснется новая воля к объективности. Несчастливая любовь к народу, ради которой

былая левая интеллигенция готова была искажать объективную истину, также не будет больше нуждаться в ее культивировании. Ибо теперь, волей-неволей, все стало «народом», хотя и не в том смысле, в котором этого хотелось бы коммунистам. Исчезнет мазохистическое чувство «вины перед народом» по той простой причине, что угнетение народа происходит в советский период якобы во имя народа.

Слова из сборника «Вехи» — «Мы освободимся от внешнего гнета лишь тогда, когда освободимся от внутреннего рабства» — также звучат весьма актуально в нынешних советских условиях.



В наследии русского религиозно-философского Ренессанса имеется много золотых кладов, которые — рано или поздно — должны будут сделаться достоянием русской общественности и обогатить сознание живых духом русских людей.

Конечно, на новых исторических этапах культурное наследие русского Ренессанса будет освоено по-новому. В него будет внесено много коррективов и дополнений. Конечно, многое в этом наследии недостойно подражания или просто устарело. Но в нем есть зерна непреходящих ценностей, которые могут дать новые всходы.

Русская история, прежде всего, духовная культура, полна расколов и переживов. В ней нередко распадалась «связь времен». В ней часто происходил полный разрыв с прошлым. Но связи эти, в конце концов, восстанавливались. Так, слишком резкий разрыв с Московской Русью при Петре вызвал через столетие как реакцию славянофильское движение, связанное с повышением интереса к русской старине. Так, отрицание славного петербургского периода нашей истории в первые годы революции выявилось затем (пусть по конъюнктурным соображениям власти) в частичной реабилитации многих исторических ценностей. Думается поэтому, что реабилитирован будет — рано или поздно — и «Серебряный Век», и русский религиозно-философский Ренессанс. Конечно, преодоление советской власти — первое к этому условие.

Есть основания надеяться, что в будущем русский Ренессанс будет цвести не только на «башне из слоновой кости», не только в тонком слое элиты, но найдет отклик у более широких кругов интеллигенции, что новый русский Ренессанс будет «соборным». «Заживо погребенный Век» возродится тогда в новой славе.

---

Сборник «Вехи» вышел в 1909 году, и выход его явился большим литературно-общественным событием. «Вехи» выдержали 5 изданий; о них было написано несколько сот отзывов, а в 1957 году журнал «История СССР» посвятил им большую статью. Главные участники «Вех»: Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков, М. О. Гершензон, А. С. Изгоев, Б. А. Ключевский, П. Б. Струве, С. Л. Франк. — Ред.

## «Педагогическая поэма» коммунизма

Перестройка системы народного образования продолжает оставаться одним из важнейших вопросов внутренней жизни страны. Реформа средней и высшей школы близко затрагивает не только интересы всего общества в данное время, но и судьбы самой российской культуры вообще. Предложения Хрущева, сформулированные в его известной «записке» и одобренные президиумом ЦК КПСС, а также «тезисы ЦК КПСС» по вопросу перестройки школы и, наконец, сам закон с длинным и все же туманным заглавием «об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в СССР», принятый на сессии Верховного Совета СССР 24 декабря 1958 г., нельзя рассматривать только как вынужденный маневр власти по изысканию новых «трудовых резервов», но они нацелены и на ряд других важных для режима политических задач.

Смысл новой реформы, равно как причины и ее следствия, требуют некоторого освещения «предистории» новой перестройки школы.

### *ШКОЛА КАК ОБЪЕКТ ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ*

Одним из первых законов советской власти был декрет от 16 октября 1918 года «Об единой трудовой школе». В законе говорилось, что советская школа должна быть «единой, всем доступной, бесплатной, светской», а образование в ней должно «носить общий и политехнический характер, где физическое и эстетическое развитие должно занимать первое место».

На старой школе, с ее традициями и проверенными методами, был поставлен крест. «Гимназический учитель» стал синонимом отсталости, обидной кличкой, направляемой в адрес наиболее требовательных учителей.

Никто из учителей, естественно, не хотел играть далее роль «вымирающих зубров», и наша школа покапталась вниз. Этому «движению» помогли не только новые организационные формы школы, но и новые педагогические идеи, порой фантастические, которые должны были формировать «создателей коммунизма».

Среди «комплексных методов», «дальтон-планов», «проект-методов», в «атмосфере полной свободы» (без наказаний и экзаменов) и школьного «демократизма» успешно шло... «отмирание школы», а вместе с ним ужасающий рост малограмотности и невежества...

Вредные «пробы», недопустимые в школе эксперименты с детьми, сменили одна другую.

Через десять лет Крупская сама призналась, что «многие наши начинания теперь кажутся нам наивными».

Не кончились они и по сей день...

А сколько раз менялись предметы преподавания! Вспомним хотя бы пресловутое «обществоведение»! Сколько раз менялись учебники! А учебные программы!

То вводится в школы профессионализм (в конце 20 годов), то вновь восстанавливается в своих правах общеобразовательная школа и создается тип трехступенчатой десятилетки. Но и в ней нет стабильности: то вводится «совместное обучение, то раздельное, то, наконец, снова совместное...

Дело доходит до курьезов...

Так, в труде академика, профессора Медынского «Народное образование в СССР», изданном в 1952 году, на 85 странице говорится:

«Введение раздельного обучения... себя оправдало: повысилась успеваемость... *улучшилась дисциплина*».

Но спустя лишь два года, в «Комсомольской правде» от 22 июля 1954 года, в большой статье секретаря ЦК ВЛКСМ Тумановой, посвященной той же теме о совместном обучении, находим такие строки:

«Жизнь доказала, что раздельное обучение... среди учеников... *привело к снижению дисциплины*, и потому, учитывая пожелания родителей и мнение учителей, Совет министров принял постановление «О введении совместного обучения...»

Таким образом, одно и то же раздельное обучение от Академии педагогических наук получило отметку «отлично», а от ЦК ВЛКСМ — «неудовлетворительно».

В школе, задуманной как «всем доступная» и «бесплатная», вводится (с 1940 года) плата в 8—10 классах за правоучение (вопреки к тому же еще и конституции), которая вновь (с 1956 года) отменяется.

### ПОЛИТЕХНИЧЕСКАЯ ЧЕХАРДА

На XX съезде КПСС Хрущев заявил, что

«...несмотря на то, что в директивах партсъезда по пятой пятилетке (1952) предусматривались мероприятия по политехнизации школы, дело это движется очень медленно... Надо быстрее переходить от слов к делу... Необходимо систематически приобщать учащихся к труду на предприятиях, в колхозах и совхозах, на опытных участках и в школьных мастерских... Надо пересмотреть учебные программы средней школы в сторону большей производственной специализации».

Хрущев в этом месте доклада лишь «поднял архивы» по поводу политехнизации и одновременно намекнул, что ЦК КПСС понимает под политехнизацией.

Проблема политехнизации образования — не новый вопрос. Уже в течение почти сорока лет у нас говорят, спорят и пишут по поводу политехнизации, а в то же время содержание и сущность этого понятия, как это ни странно, продолжает оставаться неясным. Есть такие понятия в советской действительности, которые живут только на бумаге, но в жизни их нет.

Руководство КПСС в своих попытках политехнизации школы пытается опираться на поддержку «классиков марксизма». Но эта поддержка очень шаткая. И

скорее она показывает, как марксисты-«дети» уклонились от заветов марксистов-«отцов»...

Собственно ни Маркс, ни Энгельс на вопросах политехнического образования не останавливались. Они лишь повторили взгляды Роберта Оуэна и некоторых других «утопических социалистов».

Но, справедливости ради, нужно сказать, в защиту Маркса и Энгельса и даже Ленина, что под системой политехнического образования они понимали систему широкого образования, воспитывающую людей с широким кругозором.

Маркс осуждал, например, ремесленную односторонность образования молодежи.

«Сапожник, знай свои колодки!» — эта вершина ремесленной мудрости, — говорил Маркс, — превратилась в ужасную глупость, с того момента, когда часовщик Уатт изобрел паровую машину, цирюльник Арикрайт — прядильную машину, ювелирный рабочий Фултон — пароход».

На тех же позициях стоял и Энгельс (в «Принципах коммунизма»), утверждавший, что «жизнь нуждается в людях со всесторонне развитыми способностями, в людях, способных ориентироваться во всей системе производства».

В «Заметках на тезисы Н. К. Крупской» Ленин предлагал: «1. Избегать ранней специализации, разработать инструкцию об этом. 2. Расширить во всех профессиональных школах общеобразовательные предметы».

Отстаивая политехнизацию, Крупская указывала, что труд детей должен соответствовать их возрасту и жизненному опыту. Знакомство школьников с техникой, — говорила она, — надо осуществлять на основе приобретенных ими общеобразовательных знаний.

Политехнизация образования, правильно понимаемая, по своей идее направлена на то, чтобы устранить противоречия между умственным и физическим трудом и облегчить людям взаимный переход от одного вида труда к другому.

Расплывчатую формулу политехнизации, с ее все еще загадочным содержанием, очередной «классик марксизма» — Хрущев — расшифровал просто: «даешь новые трудовые резервы!»

Под воздействием нового корифея от педагогики, педагогические и гуманистические идеи политехнизации отходят на задний план, и *политехническое обучение выливается в эксплуатацию молодежи по заданиям партии.*

Во исполнение директив XX съезда и началось «творчество мест» по усилению политехнизации.

Внутренне не разделяя мнения Хрущева о необходимости новой ломки с таким трудом отстоявшейся системы нашей школы, руководители Министерства просвещения как в РСФСР, так и в других республиках предпочитали (во избежание срыва *всей* школьной системы) не торопиться. В министерствах просвещения и в Академии педагогических наук разрабатывались проекты осторожной, «эволюционной» политехнизации, чуждой крайностей и авантюризма. Были изменены старые программы десятилетней школы. Появились так называемые «новая» или «переходная» и «экспериментальная» программы.

При первой сохранялось десятилетнее обучение, но в учебный план вводились некоторые «политехнические» дисциплины в курс старших классов (машиноведение, электротехника, основы сельского хозяйства и некоторые другие) и практикумы (от двух недель до месяца) на производстве или в сельском хозяйстве.

Второй, «экспериментальный», план предусматривал *производственное обучение* на заводах, в РТС и других местах с сохранением старого учебного плана де-

сятилетки. Срок обучения в таких школах с производственным обучением увеличивается зато до 11 лет.

В результате, в полной средней школе появился «лес» одновременно действующих планов: *старый, новый* (или переходный) и *экспериментальный*.

Все эти планы, однако, не устраивали Хрущева. Ему требовались «трудовые резервы» — немедленно!

В его представлении тридцатимиллионная армия школьников была золотой жилой, лежащей без использования... Отсюда и родилась его идея эксплуатации детского труда под удобной формулой... «воспитать у школьников уважение к физическому труду».

### НОВАЯ ЛОМКА

Предложение Хрущева об ускорении «политехнизации» вызвало прилив «энтузиазма» у... секретарей разных обкомов. Засучив рукава, они бодро стали создавать «производственную специализацию» среди школьников. Появился так называемый «ставропольский опыт» — ученические производственные бригады в колхозах и совхозах, рязанский «вариант» — учебно-опытные поля при школах. В городах «дикая» (то есть без участия представителей министерства просвещения) политехнизация, осуществляемая по почину тех же секретарей обкомов, тоже вылилась в свои «варианты» — в строительные «онтресты» Прокопьевска, в «строительские ученические бригады» Кемеровской области, в «учебные цехи» на предприятиях Куйбышева... Родился, таким образом, и *четвертый учебный план* для этих школ, названный «*опытным*» *планом*.

«Единая советская школа» превратилась в многоликий организационный хаос!

Увлечение секретарей парткомов «политехнизацией» приняло уже буквально опасные для здоровья и жизни школьников формы. ... В Балашове создана школьная строительная бригада. Она производит ремонт школ и даже... строительство новых школ.

Очень понравился руководству КПСС «Опыт школы № 18 в Прокопьевске», создавшей из своих учеников строительный трест «Юнстрой», построивших в летние каникулы 1957 года политехническую мастерскую, овощехранилище и омшаник.

Прозрачно намекнув на то, что «трудовые дела прокопьевских школьников не были бы столь успешными без поддержки старших товарищей из партийного комитета», «Правда» восторженно описывала организацию «соцсоревнования среди детей-строителей».

«Вначале первенство держал 8 класс «А». Он за четыре часа закладывал в фундамент 8 ящиков раствора. Через три дня 9 «Б» поставил рекорд — 11 ящиков. Такого результата никому превзойти не удалось...»

Впрочем, в Пятигорске превзойден уже и «опыт» прокопчан. Как сообщала «Учительская газета» от 17 июля 1958 г., — в Пятигорске городская школьная бригада строит уже *трехэтажный жилой дом* по заданию треста «Кавминпромстрой»...

На газетных столбцах появляется, например, такое «социалистическое обязательство»: ... «В целях расширения жилой площади в Ставрополе силами членов строительной межшкольной бригады закончить строительство восьмиквартирного жилого дома...» (Из социалистического обязательства Ставропольской 5 средней школы. «Учительская газета» от 7 октября 1958 г.).



Еще дальше шагнула «политехнизация» в сельских школах. Школьники здесь «полностью обслуживают» уже не школьные участки, а крупные массивы колхозной земли.

В 1958-59 учебном году лишь в одном Ставропольском крае организовано 314 школьных бригад, объединяющих 25.000 «юных энтузиастов земледелия», за которыми закреплено 9.021 га земли («Учительская газета», 18 октября 1958 г.).

Секретарь Краснодарского крайкома КПСС Черныков отмечает (в «Комсомольской правде» от 20 ноября 1958 г.), например, такой «вход в коммунизм» в школе при колхозе им. Шевченко:

«Нынче колхоз имени Шевченко расширил участок ученической бригады до ста тринадцати гектаров, выделил школьникам два трактора с полным набором прицепных орудий, а также двенадцать лошадей. Правление артели решило построить в ближайшее время на стане бригады капитальное кирпичное общежитие для школьников с хорошей столовой, спальными комнатами, красным уголком. Мы стремимся, чтобы такую же заботу об ученических бригадах проявили и другие сельхозартели».

«Забота», что и говорить, драгоценная...

Но тот же партийный вельможа в своей статье не может скрыть и того, что жизнь ставит перед учителями «сельских школ десятки вопросов, как лучше сочетать учение и труд ребят, какими должны быть организация и оплата труда в ученических бригадах, кого принимать в бригады, сколько работать в поле и в какое время? На все эти вопросы до сих пор нет обстоятельного и научно обоснованного ответа».

Науке, действительно, до сих пор никогда и нигде не приходилось заниматься с этими вопросами:

Не было надобности!

Но пока «передовая социалистическая наука» разрешит эти вопросы, сам же Черныков отмечает, что «в некоторых колхозах учащихся используют как рабочую силу».

Впрочем, это его не очень смущает.

«На состоявшемся недавно третьем традиционном слете комсомольцев школьников Кубани, — пишет он, — делегаты Платнировской, Отрадо-Ольгинской и Старо-Деревянковской средних школ в своих рапортах привели интересные данные: каждая из ученических бригад этих школ сдала колхозу различной продукции более чем на миллион рублей!» (выделено нами. — Л. Ф.).

Вот в этом «позд» всей политехнизации.

Писатель Георгий Радов, поместивший в журнале «Огонек» очерк «Рязанский вариант», очень верно подметил, что «двухсторонний двор Шилловской десятилетки напоминает полево́й стан трактористов». У школы свои тракторы разных марок, две автомашины, сеялка, плуги, бороны, карбофелесажалки...

Такой набор «учебных пособий» не может не говорить, что в этой школе учение существует лишь как привесок к «производительному труду» школьников.

В Курской области организовано 127 ученических бригад с «охватом» 80.000 школьников. В Ростовской области насчитывается 188 ученических бригад и 202 звена, в которых занято 27.000 школьников 5—10 классов.

Сорок школьников Матвеево-Курганской школы Ростовской области сдали, по отчету директора, колхозу «Октябрьская Революция» осенью 1958 года 84.000 уток, весом около 200.000 килограммов.

«Но это еще не все, — добавил директор школы. — В колхозе наши полеводческие звенья вырастили 119 гектаров озимой пшеницы при урожайности 22 центнера с гектара, 57 гектаров кукурузы при урожайности 60 центнеров с гектара, 20 гектаров подсолнечника при урожайности 23 центнера с гектара и 5 гектаров огородных культур при урожайности 250—290 центнеров с гектара. По предварительным подсчетам, доход бригады составит около двух миллионов рублей» («Учительская газета» от 18 октября 1958 г.).

Чем отличается этот доклад директора школы от отчета какого-либо директора совхоза?!

«Производительный эффект», действительно, подпрыгающий: *дети догнали взрослых американских фермеров из Айовы...*

*А педагогический эффект?!*

Вместо ответа на этот вопрос, приведем выдержку из «Учительской газеты» от 4 октября 1958 г.:

«В Черныяновской средней школе Лысогорского района Тамбовской области производственная практика учащихся велась в течение всего лета. Немало сделано руками учащихся на колхозных полях, животноводческих фермах, на строительстве. Всего школьники выработали около 5 тысяч трудодней».

Что же дети почерпнули?

На этот вопрос сама газета отвечает: «Дети много трудились, но мало что познали. Учащиеся вырастили кукурузу на 15 гектарах, но никто из них не был ознакомлен с такими работами, как доопыление, пастеризация, борьба с болезнями и вредителями, не говоря уже о гибридизации этой культуры».

Мало что извлекли школьники и на других полевых работах, потому что выполняли их механически. *На учащихся в колхозе смотрели только как на рабочую силу.* (Выделено нами. — Л. Ф.).

Еще один характерный пример. Одно из звеньев ученической производственной бригады в этом же колхозе выращивало помидоры. Школьные помидоры в колхозе оказались лучшими. Но когда надо было определить их урожайность и установить влияние на развитие растений проведенных агротехнических мероприятий, школьникам... запретили бывать на этом участке».

Почему? — «Чтоб не покрали»...

### ШКОЛА ПРИБЛИЗИЛАСЬ К ЖИЗНИ

«Приближение школы к жизни» уже практически ощущается... Так, в Тамбовской области «стремление учащейся молодежи включиться в народное движение» — догнать и перегнать США «по мясу», наполнилось на крупное препятствие: на отсутствие помещений для выращивания цыплят и кроликов.

Выход, однако, в той же Тамбовской области был скоро найден: «цыплят и кроликов, — как сообщает «Учительская газета» (от 11 апреля 1959 г.), — разместили в школьных классах, пионерских комнатах и т. д.».

Кролики и цыплята почувствовали себя здесь привольно. Они оправдали доверие и стали быстро нагонять... США. Из классов они перекочевали уже и в коридоры. Как пишет дальше газета, — «Врач областной санитарно-эпидемиологической станции И. И. Лепская обнаружила, что в Старо-Юрьевской средней школе клетки с кроликами директор И. Н. Крицкий установил прямо в коридоре, в который выходят двери пяти классов и учительской. В другом помещении этой

же школы размещены 2.600 цыплят. Такие же факты наблюдаются и в других школах Старо-Юрьевского района...

... По настоянию секретаря Лысоторского райкома КПСС А. Титовой, — «две классные комнаты Лысоторской семилетней школы были заняты цыплятами, и учащимся пришлось заниматься во вторую смену. В Платоновской средней школе три тысячи цыплят поместили в пионерской комнате, заняты «под цыплят» классы в Кобязовской средней школе Кирсановского района, в Верхне-Ярославской средней школе Ламского района и т. д.»

В целях «всемерного приближения школы к жизни» учащиеся даже в областных центрах — в Тамбове и Белгороде, — а в Бобруйске даже и учителя, — были обложены данью — купить на рынке несколько десятков яиц и «одать» в школу для выращивания цыплят...

Но и это еще не рекорды! Вот школьники Дона «взяли обязательство» вырастить к осени этого года два миллиона уток... Два миллиона!

Многие учителя во время занятий часто слышат теперь стук в дверь и вежливую просьбу: «Разрешите взять с вашего урока...», дальше идут имена Коли, Пели, Вани... Конечно, ребята с удовольствием бегут из класса: ведь урок истории — всего-навсего урок, а тут — новый станок и интересно помочь его установить. А иной раз случается, что и вежливой просьбы не бывает. Приходит учитель на урок, например, русского языка, а половина класса отсутствует.

— Где же остальные?

— Они за кирпичом для теплицы поехали!

Теплица — это очень важно, особенно если она строится руками учеников. Но ведь и русскому языку ребят тоже надо учить.

### ОХРАНА ТРУДА — НЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ

В погоне за показателями «трудового энтузиазма» у детей, — часто в непосильном для них труде, — репетыле политехнизаторы совершенно «забывают» даже о соблюдении обязательных советских законов о труде.

До сих пор нет руководящих материалов по технике безопасности. Здесь — подлинная «целина».

Касаясь этого вопроса, «Учительская газета» от 23 сентября 1958 г., писала:

«Даже там, где имеются попытки создать какие-то нормативы для безопасной работы школьников, они до сих пор не доведены до конца. Это касается размера инструментов, которыми работают дети, продолжительности рабочего дня, допустимого веса грузов, которые они могут переносить. Тут много еще противоречивых рекомендаций, нарушающих даже установленные у нас законы. Согласно нашему законодательству, нельзя заставлять подростков от 16 до 18 лет переносить тяжести свыше 16,4 кг. (для юношей) и свыше 10,25 кг. (для девушек). Мальчикам от 14 до 16 лет разрешается переносить тяжести весом не более 5 килограммов, да и то лишь в течение двух часов».

Какими «нормативами», спрашивается, пользовались в Прокопьевске те, кто устанавливал соревнование школьников классов «8а» и «9б» в переноске ящиков с цементным раствором для заливки фундамента жилого дома?!

Что думал о «нормативах» директор Матвеево-Курганской средней школы, когда шесть четырнадцатилетних школьников-«птичниц» овыми телами, залегши в холодную воду, задерживали во время наводнения стадо уток через пролом в заборе?

Заведующая кафедрой детства в Одесском Медицинском институте Н. Железнякова совершенно справедливо пишет в «Труде» (от 3 декабря 1958 г.):

«Как известно, на заводе или на стройке никто не может быть допущен к работе без инструктора по технике безопасности. Между тем школьников ставят к станкам без соблюдения этого обязательного правила».

Ряд московских и ленинградских академиков и профессоров — врачей уже в течение ряда лет с тревогой указывают на перегрузку школьников школьными заданиями, вредно влияющую на неокрепшие детские организмы. В проектах новых учебных планов это зло, в связи с усилением «трудового обучения», грозит превратиться уже в катастрофическое бедствие для школьников. Так, учителя школ г. Иванова подсчитали: «что если иметь в виду участие детей в самообслуживании и других видах общественно-полезного труда, в разнообразной внеклассной и внешкольной деятельности, а также выполнении домашних заданий, не говоря уже о помощи родителям, то даже малыши будут иметь трудовую нагрузку минимум 7—8, ученики 5—8-х классов — 8—10, а старшеклассники — до 12—14 часов в день».

Правда, авторы проекта новых учебных планов сделали попытку кое-что предпринять для сокращения ежедневной нагрузки. С этой целью они, например, увеличили... продолжительность учебного года в 1—4 классах до 7-го, в 5—7-х — до 20-го и в 8—11-х — до 26 июня, пересмотрели сроки летних и других каникул, увеличили большую перемену. Но все это вызывает ряд возражений.

В самом деле, как можно растягивать учебный год до первой трети июня, если уже к началу мая дети 8—11 лет устают и не могут сосредоточиться на уроках! Увеличение большой перемены до 45—50 минут вызовет, на наш взгляд, лишь еще большую утомляемость детей.

Новый закон о перестройке школы таким образом уже в стадии предварительного осуществления наталкивается на труднейший барьер: учебные планы и программы.

### ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАГИБЫ

Смысл политехнизации школы заключается вовсе не в ранней профессионализации, а в том, что нужно определять склонности каждого учащегося и стараться развивать их. Один увлекается механикой, другой любит музыку, у третьего обнаруживаются способности к живописи. И нельзя пренебрегать этими склонностями, глумиться природные дарования. Школа должна готовить учащихся к жизни, различным видам трудовой деятельности. И было бы неправильно всех учить работать только на машинах, станках.

А как обстоит на практике?

... «Я спросил однажды свою соседку Галю Кузнецову, ученицу шестого класса Мылтшинской средней школы № 11:

— Что вы делаете на уроках труда?

— Какие-то железки долбит молотком, — отвечала мне Галя и добавила: — Не любим мы эти уроки, не интересны на них». («Труд» от 17 октября 1958 г.).

Есть, впрочем, еще один вид политехнизации. Он, пожалуй, самый безобидный. Это — политехнизация взгляду.

Идет урок по физике в неполной средней школе.

... «Возьмем колбу, закрытую пробкой, сквозь которую проходит стеклянная трубка, изогнутая под прямым углом. В трубку введена подкрашенная капля во-

ды. Подогреем колбу руками. Капля воды подвинется влево, объем воздуха при нагревании увеличился»...

Никакой колбы девочка в руках не держит. Никакой подкрашенной и двигающейся капли воды сидящие за партами не видят... Ученица навизусть доводит то, что написано в учебнике по теме «Теплота»...

— Что за смоластика?! — окажет недоумевающий читатель.

— Нет, это — жизнь! — поправит его любой учитель физики в провинции. — Попробуйте-ка у нас достать колбы или изолнутые стеклянные трубочки?!

Да что провинция! Много или лучше в Москве?!

Или вот еще один пример «практикума... без практики». Идет урок по машиноведению в 15 Помельской средней школе: «девятиклассница, стоя у плаката, на котором нарисованы бензонасос и другие приборы системы питания, отвечает урок. Она смотрит на таблицу, находит детали и говорит:

— 9 — выпускной клапан бензонасоса, 10 — шайба диафрагмы бензонасоса, 11 — шток диафрагмы бензонасоса...

— А четырнадцатое, что это? — перебивает ее учитель Алексей Онуфриевич Сергеев.

Ученица молчит, ищет на плакате указанный номер, а затем подпись, которая ему соответствует. Не дожидаясь, пока она разберется самостоятельно, учитель спешит подсказать ответ.

Неуверенно, примитивно, путано отвечали учащиеся.

Нетрудно было видеть, что многое осталось непонятым для учащихся.

... Чувствовалось, что занятия надоели ученикам, вызывают тягостную скуку. И это на уроке по предмету, который, как правило, увлекает ребят! («Учительская газета» от 3 февраля 1959 г.).

Фальшь «политехнизации» видят лучше всего учителя. И этим объясняется их отрицательное отношение к хрущевским экспериментам. Один из учителей 545 московской школы пишет в «Молодом коммунисте» (№ 12, 1958 г.):

*«В погоне за ложной политехнизацией»* (выделено здесь и ниже нами. — Л. Ф.) учеников знакомили и со столярным, и со слесарным делом, и с устройством автомобиля, и с электротехникой, проводили с ними работы на пришкольном участке. И все это без достаточной системы, без прочного закрепления навыков. При таком обучении мудро привить учащемуся трудолюбие, зато *легко сделать из него «всезнайку», который «все умеет», за все может взяться, но ничего не доводит до конца»*. Вот еще один отзыв:

«Учащиеся нашей области, — пишет заведующий Калининским облоно в «Учительской газете» от 2 июля 1959 г., — обязались за лето вырастить 300 тысяч голов птицы, 100 тысяч кроликов, получить высокий урожай кукурузы на площади 1500 гектаров, льна — на площади 500 гектаров, построить для школ десятки учебных мастерских и спортивных залов. Мы не сомневаемся, что эти обязательства будут выполнены. нас беспокоит другое. *Может оказаться, что труд школьников будет проводиться вне связи с их обучением и воспитанием*. В прошлом году за лето многие ребята, работая в полевых бригадах по месту жительства, выработали по 180—200 трудодней. Но никакого педагогического руководства трудом школьников не было.

Видимо, следует не увлекаться размахом производительного труда, иногда даже непосильного для школьников, а больше думать о педагогическом руководстве трудовой деятельностью детей.

В этих словах нельзя не видеть осторожного протеста против массовой эксплуатации детского труда.

## СНИЖЕНИЕ ИНТЕРЕСА К УЧЕНИЮ

Вместе с появлением «заработков» у школьников стала расти еще сильнее их неуспеваемость. Так, завуч 705 Московской школы Савчук отмечает в «Учительской газете» от 5 марта 1958 г. *резкое падение числа отличников*. Член-корреспондент АПН, профессор Н. Верзилин в «Литературной газете» от 26 июня 1958 г. констатирует: «увеличение часов на профессиональную подготовку значительно снизило общее образование»... Наконец, заместитель министра просвещения РСФСР М. Каплин в «Учительской газете» от 26 августа 1958 г. вынужден также признать, что «уменьшение перспективы поступления в вузы, неподготовленность к жизни, к трудовой деятельности у некоторых из школьников вызывали чувство недовольства и разочарование, проявляющиеся в снижении интереса к учению и даже уходе из школы»...

Такова обратная сторона политехнической «медали». Молодежь практически убеждена, что политехнизация «по-хрущевски» это — отправка на узкое ремесленничество. Такая «политехнизированная» школа лишает школьников общеобразовательных основ (или уменьшает их объем), замыкает их кругозор рамками профессионального обучения и не только не содействует сознательному выбору профессии, но закабаляет людей на заранее указанных властью профессиях.

## ЗАТЯЯ СО ШКОЛАМИ-ИНТЕРНАТАМИ

На том же XX съезде было вынесено еще одно решение: создание школ «нового типа» — школ-интернатов. Эти школы «призваны на более высоком уровне решать задачи подготовки всесторонне развитых и образованных строителей коммунизма».

Этим решением партия косвенно указала на идейный крах коммунизма в школе. Коммунистические идеи утратили всякое свое очарование в глазах молодежи.

Коммунистическая диктатура явно неудовлетворена воспитанием детей в пионерских организациях, хотя пионерская организация и создана партией и работает под ее руководством.

Власть не удовлетворена работой пионерских организаций потому, что дети, входящие в них, больше общаются с родителями, а семья успешно нейтрализует тлетворное воздействие коммунистического воспитания.

Идея школ-интернатов заключается в изолировании молодого поколения от семьи. Начиная с семилетнего возраста, дети должны быть отняты от родителей, чтобы они «не разлапались в семейной среде»...

Другими словами: эта форма школы представляет попытку власти разбить семью. Этим шагом власть отнимает детей от родителей, лишает детей самого дорогого и ценного — родительской ласки, родительского душевного тепла, материнской любви и заботы... А это есть то, что дорого всякому ребенку и что навеки остается в памяти и сердце каждого человека...

Обращает на себя внимание поспешность в создании школ-интернатов.

К открытию их приступили раньше еще, чем они законодательно были оформлены. Никакого обсуждения и дискуссий по этому важнейшему вопросу в жизни страны не отрывалось. Вернее, они и не были допущены. Население страны было поставлено перед свершившимся фактом.

Этот тип школы, как известно, должен «постепенно заменить существующую систему советской школы».

Однако начатая перестройка школы, проводимая с целью «объединения общеобразовательного обучения с трудовой деятельностью», полностью отвлекла внимание от еще «теплой» системы школ-интернатов, спустя только два года после ее создания. Характерно, что в своих выступлениях по вопросам перестройки школ Хрущев ни разу не вспомнил о школах-интернатах. О них он упомянул на XXI съезде лишь вскользь. Пропал этот интерес, естественно, и у тех, кто за них, глядя на Хрущева, недавно ратовал... «Учительская газета» от 25 октября 1958 г. этот факт подтверждает убедительными примерами:

... «Некоторые совнархозы, при участии местных организаций, не только не проявляют должной заинтересованности в мобилизации всех ресурсов, но даже не исполняют государственные бюджеты и ассигнования, срывают планы капитального строительства. Это привело к тому, что в Горьком, Ярославле, Кирове, Омске и Саратове в 1958 году не было очередного приема в школы-интернаты. Совершенно нетерпимо, что совнархозы Алтайского, Воронежского, Сталинградского и Тульского экономических районов почти вдвое занизили план строительства общежитий для школ-интернатов, а Владимирский, Вологодский и Пермский совнархозы в текущем году вообще не собираются строить школы-интернаты. Самовольно снизил ассигнования на строительство школ-интернатов Свердловский совнархоз».

Общее количество школ-интернатов в 1959-60 учебном году «Учительская газета» определяет в 750 с числом воспитанников в 250.000. Президент АПН РСФСР И. Каилов в своем докладе на апрельской сессии (1959 г.) Верховного Совета РСФСР заявил, что за семилетку число школ-интернатов будет увеличено в 14 раз! Блажен, кто верует...

### СОПРОТИВЛЕНИЕ «ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДОКТРИНЕ» ХРУЩЕВА

Выступая еще на XIII съезде комсомола 18 апреля 1958 г., Хрущев бросил в адрес школы незаслуженное обвинение в том, что она воспитывает молодежь в духе «барского отношения к труду». Народ наш знает очень трудные будни. Слово «барство» зазвучало насмешкой над его лишениями и нуждой.

В «законе об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в СССР», всемерно подчеркивается важность физического труда при строительстве коммунистического общества и объявляется всенародная трудовая повинность — «участие в общественно полезном труде» — с 15-летнего возраста.

Во вступительной части закона в качестве главного недостатка теперешней школы указан «известный отрыв обучения от жизни, слабая подготовленность оканчивающих школы к практической деятельности».

Это так. Но разве это вина самой школы, что в *плановом* государстве воздвиглось «горе от образования»?!

Новый закон о школе внешне построен так же, как и «тезисы ЦК КПСС», опубликованные 16 ноября 1958 года и открывшие «всенародное обсуждение» их. Он имеет четыре раздела: «о средней школе», «о профессионально-техническом образовании», «о среднем специальном образовании» и «о высшей школе». Закон вошел в силу с 1 сентября 1959 года.

Обязательной школой становится теперь «8-летняя неполная средняя обще-

образовательная трудовая политехническая школа». Содержанием ее учебно-воспитательной работы будет «сочетание изучения основ науки, политехнического обучения и трудового воспитания», и, помимо этого, «доступные в возрасте школьников формы общественно-полезного труда». То есть, открывающаяся неисчерпаемые источники по искоренению у школьников «барства» путем принудительного привлечения детей к строительству мастерских и жилых зданий, к «световым дням» на полях и прочим разновидностям «трудового энтузиазма».

Закон устанавливает следующие «основные типы учебных заведений, дающих полное среднее образование»: а) школы рабочей и сельской молодежи со сроком обучения в три года; б) средние общеобразовательные трудовые политехнические школы с производственным обучением, дающие в течение трех лет среднее образование и профессиональную подготовку (к ним же относятся и школы-интернаты); в) техникумы и другие средние специальные учебные заведения, в которых лица, окончившие 8-летнюю школу, получают среднее общее и среднее специальное образование.

В этом разделе закона власть вынуждена была под напором общественного мнения сильно сдвинуть свои позиции. В «записке» Хрущева («Правда» от 21 сентября 1958 г.) поворилось совершенно иное:

*«По моему мнению, в общественно полезный труд на предприятиях, в колхозах и т. д. следовало бы включить всех учащихся без исключения после окончания ими семи-восьми классов... Ни положение родителей, ни их ходатайства не будут освобождать кого бы то ни было от производственного труда... При такой организации труда общеобразовательной школы нам придется ежегодно определять на работу в ближайший период времени от 2 до 3,5 миллионов подростков, причем, примерно 40 процентов из них в городе и остальных в деревне».* (Подчеркнуто здесь и ниже нами. — Л. Ф.).

Другими словами, Хрущев намечал полную отмену десятилетки и замену ее восьмилетней школой. Общеобразовательной надстройкой над восьмилетней школой, по его мнению, не должно было быть. Это свое предположение Хрущев выразил еще точнее дальше: «Возникает вопрос, следует ли переходить на предлагаемую систему народного образования или целесообразно сохранить в известной части существующую среднюю школу, внося в ее работу нужные изменения? Есть мнение, что какое-то относительно небольшое число полных политехнических средних школ можно было бы оставить, но при обязательном условии увеличения в них удельного веса обучения трудовым навыкам и участия в производственном труде, а при поступлении в вуз требовать от окончивших эти школы производственного стажу в два года»...

Ряд академиков в АПН РСФСР выступил против этой хрущевской установки и положения «тезисов ЦК КПСС» о том, что «первым основным путем» получения среднего образования являются вечерние школы рабочей и сельской молодежи. Так, член-корреспондент АПН В. А. Сухомлиинский, он же директор одной из школ Кировоградской области, говорил в Академии:

*«По мнению учителей нашей школы и родителей, основным путем подготовки молодого поколения к труду должно быть обучение и воспитание всех детей в общеобразовательной средней политехнической школе с производственным обучением»* (выделено здесь и ниже нами. — Л. Ф.)...

Тот же академик осудил упор «тезисов» на вечернее и заочное образование. «Насколько мне кажется, — сказал он, — значение вечернего и заочного образования для подростков сильно преувеличивается. Ведь учение — это такой же



серьезный труд, как и работа на производстве. *Вечернее и заочное обучение допустимо только для взрослых, зрелых людей, но не для работающих подростков.*

Уже совсем прямым обвинением против Хрущева, увлеченного перспективой «вовлечения» в народное хозяйство «ежегодно в ближайший период времени от 2 до 3,5 миллионов подростков», явилось другое заявление академика В. А. Сухомлинского:

«Пятнадцатилетних подростков, по нашему мнению, еще нельзя включать в самостоятельный производительный труд наравне со взрослыми, даже при сокращенном рабочем дне. Данные анатомии и физиологии свидетельствуют о том, что именно в 14-17-летнем возрасте происходят интенсивные процессы формирования организма».

Не менее острым осуждением хрущевской «конкретной экономики» в области школы явилось высказывание члена-корреспондента АПН РСФСР М. Сантросяна:

«До сих пор необходимость реформы школы обосновывается преимущественно потребностями народного хозяйства и общими политико-воспитательными целями. Мало эта реформа обосновывается педагогическими соображениями. Мне кажется, что, перестраивая школу, мы должны опавить неизблемым положение о подчинении всего общественно полезного и производительного труда учеников воспитательным целям школы». («Учительская газета» от 29 ноября 1958 г.).

В «тезисах ЦК КПСС» установка Хрущева «на одмирание» десятилетки решительно отбрасывается и взамен предлагается создать *три типа* средней школы, но с указанием, что *основным путем* получения среднего образования должны быть школы рабочей или сельской молодежи.

Наконец, в принятом Верховным Советом законе *все три типа средней школы названы основными.*

Это — не пустой спор о словах или терминах. Это — принципиальные позиции. Практические выводы отсюда весьма ощутительны для молодежи. Поскольку все пути для получения среднего образования одинаково «основные», не может быть никакого ущемления в правах при поступлении в вузы молодежи, кончившей средние общеобразовательные школы с производственным обучением (дневные 11-летки). Требования трудового стажа от кончивших эти школы, естественно, должны опасть.

*Итак, хрущевский «вариант» оказался отвергнутым, что свидетельствует о большой победе российской общественности.*

Оказалась отвергнутой и мысль Хрущева в его «записке» о создании «школ» для особо одаренных детей, проявивших, например, наклонности к изучению физики, математики, биологии, черчению.

Академик Несмеянов, президент Академии наук СССР назвал эту хрущевскую антипедагогическую затею «антидемократической тенденцией» («Литературная газета» от 20 декабря 1958 г.). Эта хрущевская идея также не нашла своего отражения в законе...

Закон предусматривает переход на новую систему школьного обучения начать с 1959-60 учебного года и закончить в течение 3-5 лет. Учащимся нынешних VIII-X классов обеспечивается возможность окончания средней школы по действующим учебным планам, но с усилением их трудовой подготовки.

Новый закон уточняет также вопрос получения профессионально-технического образования. Все школы Управления трудовых резервов (железнодорожные, ремесленные, ФЗУ, технические и др.) преобразовываются в дневные и вечерние породковые и сельские профессионально-технические училища со сроком обучения в них от одного до трех лет.

В ходе «всенародного обсуждения» вскрылся один любопытнейший факт: «затраты на подготовку одного рабочего в ремесленном училище (в течение двух лет) — не ниже затрат на подготовку инженера в вузе» («Известия», № 293, 1958 г.). Возможно, что это заставило авторов закона внести в него пункт, явно ухудшающий положение учеников — «ремесленников»: прекращение выдачи им бесплатного обмундирования и питания, взамен чего они будут получать «ученическую заработную плату». Таким образом, «хозрасчет» будет подстегивать работу и учебу ребят!

Разделы, касающиеся среднего специального образования (техникумы, следучилища и др.) и высшей школы делают ударение на «расширение и улучшение заочного и вечернего образования, как основной формы подготовки специалистов» (выделено нами. — Л. Ф.).

В этом вопросе власть не уступила, и свою «линию» провела в законе в стиле стереотипной формулы: «партия и правительство считают»...

Причина этой болезненной партийной страсти к вечерней и заочной системе образования проста: боязнь утечки рабочей силы. Общеизвестно, что специалисты с дипломами заочных и вечерних вузов или средних специальных учебных заведений — это не полноценные специалисты. Как правило, по окончании курса они обычно остаются на своих старых должностях, получая лишь незначительные повышения.

Мы не говорим тут об отсеиве из этих учебных заведений. Он чудовищен, достигая 20-30% на каждом году обучения. К государственным экзаменам обычно доходят лишь единицы...

Второе, на что Хрущев особенно настаивал в своей «записке», но что ему лишь частично удалось сохранить в законе, — это вопрос об обучении студентов «на основе соединения обучения с общественно-полезным трудом».

... «Представляется целесообразным, — пишет Хрущев в «записке», — в большинстве вузов (выделено здесь и ниже нами. — Л. Ф.) первые 2-3 года проводить обучение без отрыва от производства. Это даст возможность из того огромного количества молодежи, которая захочет пойти учиться, отобрать таких, которые бы показали, что это не временный порыв, что у них действительно есть жажда к учебе, терпение и трудолюбие».

Станет ли медик лучше лечить, если у него будет навык токаря?! Поможет ли в чем-либо профессия штукатура литературоведу?! Целесообразность более, чем сомнительная. Но, требуя от студентов совмещения учения с общественно полезным трудом, Хрущев стремится к созданию барьеров и препяд против идейных поисков у молодежи путем... физической перепрузки.

Сумасбродность идей Хрущева находит лишь в этом аспекте свое «обоснование».

В новом законе говорится: «в большинстве технических вузов наиболее целесообразно сочетание обучения с работой на производстве по системе вечернего

или заочного образования на первых двух курсах». Однако, несомненно, под давлением общественности сделана тут же и такая оговорка: «для ряда специальностей, где студенты вначале изучают цикл сложных теоретических дисциплин, а также проходят большую лабораторную практику, целесообразно первые 2-3 года проводить обучение с отрывом от производства».

Спрашивается, в каком же техническом вузе начинается обучение не со сложных теоретических дисциплин, являющихся фундаментом всей дальнейшей инженерной науки?!

Характерно, что академик Несмеянов, почти накануне утверждения этого закона, в упомянутой выше статье в «Литературной газете» писал: «предварительная практика, производственный стаж *мало что дали бы в университетах*, и особенно на таком чисто теоретическом факультете, как механико-математический. На мой взгляд, здесь эта практика должна явиться завершением образования, а не предпосылкой к нему».

Наконец, в законе совершенно не отражена тенденция Хрущева, направленная на увеличение «возрастного ценза». Видимо, и она не нашла поддержки в правящих кругах. Хрущев в своей записке говорил: «теперь юноши и девушки в 17 лет кончают десятилетку. И сразу же после этого поступают в институт и заканчивают его в 22-23 года. Какой же при этом получается специалист?»

Несмеянов в своей статье опроверг Хрущева, не упоминая, разумеется, его имени: «...Для каждой стадии образования и для каждого предмета имеется свой наилучший возраст. Мой опыт показывает, что таким возрастом для занятий в вузе является возраст с 17 до 22-23 лет. Каждый год опоздания — потеря с физиологической точки зрения и громадная экономическая потеря для государства»...

### КАКОЙ ВАРИАНТ РЕФОРМЫ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ ЯВЛЯЕТСЯ ЛУЧШИМ

Таким вариантом является создание полной средней политехнизированной школы с дифференцированным обучением. Он был разработан АПН РСФСР и поддержан всей здоровой общественностью. *Власть вынуждена была принять этот вариант, хотя он и не был предусмотрен ни в «записке Хрущева», ни в «тезисах ЦК КПСС».*

Сущность его заключается в том, что школьники, начиная с 9 класса, могут выбирать по своим склонностям на втором этапе обучения в школе одно из нескольких направлений их дальнейшей подготовки. Так, в Московской экспериментальной 710 школе созданы направления — гуманитарное, физико-техническое и химико-техническое. Эти направления могут, конечно, варьироваться.

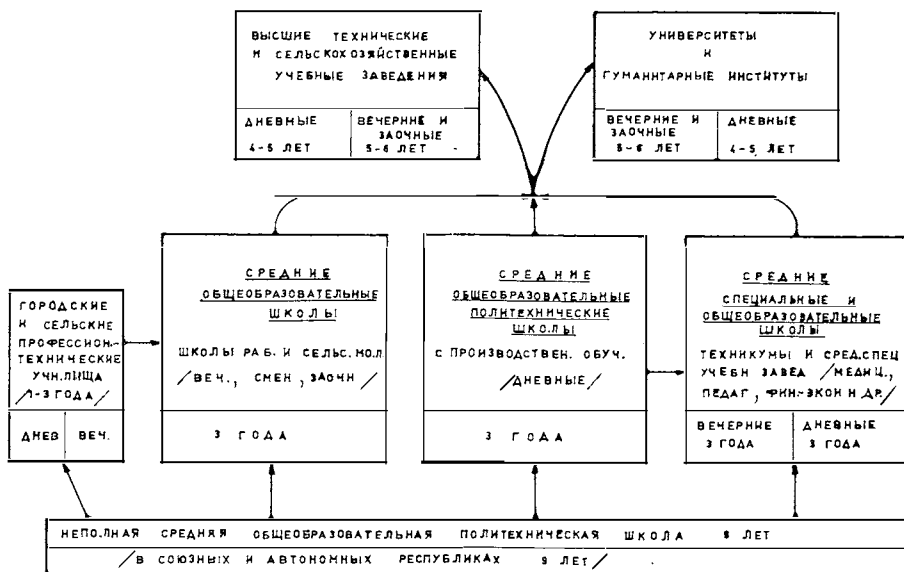
Этот вид полной (одинадцатилетней) политехнизированной школы является вполне приемлемым в современных условиях и, во всяком случае, лучшим из всех существующих вариантов, так как школьники продолжают в этих школах учебный процесс без вынужденного перерыва, находятся под воспитательным контролем своих учителей и могут приобретать необходимые им знания в тех областях науки и труда, которые им больше всего по сердцу. (См. схему системы народного образования).

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ РЕФОРМЫ ШКОЛЫ

Чем же продиктована реформа народного образования?

Главную причину полной ломки системы школы власть всё время скрывала и маскирует её и по сей день то «оторванностью школы от жизни», то своей «заботой» о молодежи, которая «оказалась неподготовленной к участию в общественно полезном труде», то желанием «помочь молодежи активно участвовать в производстве ценностей, необходимых для общества».

С Х Е М А  
СИСТЕМЫ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В СССР



От всей этой пышной «фразеологии» молодежи, разумеется, легче не становится...

Главная причина реформы — недостаток рабочих кадров.

Власть по-хлестаковски размахнулась новым семилетним планом народного хозяйства. А кадров для выполнения этого плана нет.

Отсюда — необходимость привлечения новых трудовых резервов — детского массового труда.

Первый заместитель предсовнархоза Эстонии Венделин в «Комсомольской правде» от 8 октября 1958 года писал:

«В настоящее время в государственных предприятиях и учреждениях Эстонской ССР занято около 35% всего взрослого населения, и это, не считая людей, работающих в колхозах, кооперативных организациях и промысловых артелях. Таким образом, отсутствуют сколько-нибудь серьезные резервы для пополнения рабочей силы предприятий за счет взрослого населения» (выделено нами. — Л. Ф.).

Семилетний план совпадает по времени с годами вступления в трудовую жизнь поколений, родившихся в годы резкого уменьшения рождаемости.

«Статистический справочник СССР» (1956 г.) приводит поправочные данные по поводу падения числа школьников, родившихся в кризисные годы войны, а именно:

*Учились в 1—4 классах (в миллионах):*

Годы	В городе	В деревне	Всего
1940/41	5.33	16.04	21.37
1950/51	6.14	13.53	19.67
1955/56	5.7	7.9	13.6

В 1950-1951 гг. в 1—4 классы ходили дети, родившиеся в 1939-1940 гг. и до 1942-1943 учебного года. Эти поколения уже были серьезно затронуты войной. В 1955-1956 гг. в 1—4 классы ходили школьники, рожденные в 1944-45 гг. и до 1947-48 учебного года. Здесь уменьшение контингента учащихся значительно больше. Особенно трагичным является положение в деревне. Если число школьников 1—4 классов в городе за период с 1950-1951 гг. до 1955-1956 уменьшилось на 80%, то в деревне оно сократилось почти на 40%.

Для внимательного глаза эта маленькая табличка скажет много не только о влиянии войны на падение рождаемости, но и о губительных процессах, происходящих под давлением политики партии в среде крестьянства (голод, массовое бегство в города и др.).

Недостаток в рабочих кадрах принуждает Хрущева, несомненно, к исключительным мероприятиям. Но, однако, свирепый радикализм его реформы преувеличивает во много раз степень ее необходимости. Это лишь подтверждает предположение, что не только один недостаток в рабочей силе принудил Хрущева выступить с планом полной перестройки всей системы школы. Основная причина лежит здесь в ином. Из специалистов, студентов, рядов образованной молодежи выходит новая интеллигенция. Критически мыслящая — она враждебна режиму. Каждый же год в ряды интеллигенции вливается 1-2 миллиона человек.

Сталин пытался расстрелами и ссылками уничтожить старую интеллигенцию. Это ему удалось. Удалось и создать новую, «пролетарскую» интеллигенцию. Но сделать эту интеллигенцию коммунистической, оказалось и ему не по силам.

Ныне Хрущев объявил войну новой интеллигенции. Но и его попытки создать коммунистическую интеллигенцию тоже потерпят провал... Насилием здесь много не возьмешь.

### ПЕРСПЕКТИВЫ РЕФОРМЫ И ПЕРВЫЕ ЕЕ СЛЕДСТВИЯ

Коренную ломку школы нетерпеливый Хрущев наметил осуществить в 3-4 года. Однако более презвые головы не согласились с Первым секретарем КПСС и добились указания в законе об удлинении срока перестройки — в течение 3-5 лет.

Но даже в условиях удлинненного срока реформа школы наталкивается на ряд огромных трудностей, ставящих вообще под вопрос выполнение всей перестройки. Глубоким скепсисом, хотя и прикритым, проникнуты, например, слова кандидата педагогических наук Болдырева в «Молодом коммунисте» (№ 9, 1958 г.):

«Перестройка народного образования — дело сложное, трудоемкое. Придется, конечно, создать новые типы школ, тесно связанные с производством, разработать новые учебные планы и программы, по-новому организовать учебный год, создать в каждой школе (подчеркнуто нами. — Л. Ф.) солидную материальную базу. Без этого все разговоры о соединении обучения и воспитания с производительным трудом останутся только разговорами. Надо во всех школах (а их — 214.000! — Л. Ф.) создать условия для обеспечения тесной связи обучения с общественно полезным трудом, укрепить содружество школ с промышленными предприятиями, колхозами и совхозами».

Рассчитывать на внеочередное выполнение нашей промышленностью заказов для школы нельзя. Заводы и фабрики и без того перепружены сверхочередными, «бронированными» правительственными заказами на нужды экспорта, армии, по созданию новых индустриальных центров, на выполнение крайне напряженного плана семилетки.

А ведь одних только парт потребуется для школ в российской Федерации в предстоящей семилетке на один миллиард рублей!

Министерство просвещения РСФСР, — как отмечается в «Правде» от 25 ноября 1958 г., — «может обеспечить потребности школ в оборудовании и наглядных пособиях лишь на одну треть». И это в пределах наиболее обеспеченной и богатой республики.

Не менее сложным вопросом перестройки школы является, конечно, вопрос о педагогических кадрах. Откуда набрать преподавателей общетехнических и специальных дисциплин для восьмилетней и одиннадцатилетней школы, для школ рабочей и сельской молодежи, для сети профессионально-технических школ, число которых должно уже в ближайшие годы, по меньшей мере, утроиться? Тем более, что значительная часть даже старых кадров должна переквалифицироваться и сама засесть за школьную скамью!

Недостаточность материальной базы и отсутствие необходимых педагогических кадров грозит сорвать осуществление реформы или в лучшем смысле затянуть перестройку на десятилетия.

Наконец, сама по себе реформа средней школы крайне непопулярна. Недаром ведь «всенародное обсуждение» смахивало больше на всенародное осуждение...

Даже в ее лучшем варианте она обладает многими недостатками. Реформа эта — не органична. Она — конъюнктурна.

Реформа, во-первых, подчинена политическим задачам и проводится в полном отрыве от педагогических принципов, при явном их пренебрежении.

Во-вторых, реформа сильно бьет по молодежи, затрудняя поступление в вузы, грозит искалечить будущее многих миллионов молодых жизней.

В-третьих, отношение к реформе большинства честных педагогов отрицательное. Учительство не скрывает своих сомнений в возможности совмещения общего, политехнического и профессионального образования в ходе школьного обучения...

Не успел еще «остыть» текст нового закона, как уже с «мест» понеслись «тревожные сигналы». «Учительская газета» от 10 января 1959 г. приводит некоторые из них:

«Необходимо сказать также о новом учебном плане. Прежде всего, он крайне перепружен программным материалом. Например, старшеклассники изучают 16

предметов, занимаясь ежедневно по 6 часов, а у учеников 9-10 классов один день в неделю бывает даже 7 уроков»...

«Сигнал» второй: «Но самое печальное, что мы улышались как от учащихся «10В» класса 1-ой средней школы в Ростове Ярославской области, так и от акти-ва родителей — это неправильное понимание учащимися и значительной частью родителей известных документов партии и правительства о перестройке школы и системы народного образования. Надо ли было после этого удивляться тому, что многие старшеклассники *при полном одобрении родителей* (выделено нами. — Л. Ф.) не хотят ни учиться, ни работать».

«В школах Киева в этом году в старших классах, — по сообщению «Учительской газеты» от 18 августа 1959 г., — не оказалось отличников». В Ярославской области... «каждый пятый ученик — двоечник». («Учительская газета» № 16, 1959 г.).

Широкие массы родителей и молодежи этим дают свою первую оценку «дальнейшему развитию системы народного образования в СССР»...

Кризис в области народного образования показал бездарность и порочность руководства КПСС.

В вопросе о школьной реформе резко выступило противоречие между интересами общества и целями коммунистической диктатуры. Широкое обсуждение нашей общественностью вопроса о реформе школы показывает стремление ее не отступаться от своих прав, самим решать судьбу и будущее нашего народа.

Прогтемпелеванием реформы на сессии Верховного Совета СССР *борьба за школу не кончилась*. Она станет приобретать новые формы. Тягу народа к знанию нельзя подменять трудом молодежи по разверстке. Вряд ли и сама наша молодежь отнесется равнодушно к превращению ее в «жертву вечернюю» во имя укрепления режима.

Вопрос о школьной реформе — это часть большого фронта наступления общественности на власть с конструктивными требованиями, из которых родится школа завтрашнего, некоммунистического дня.

## Библиография

### Участь страсти

Высокое литературное качество романа Владимира Набокова «Лолита» признано единогласно; но отношение американских издателей и прессы к книге, а также затруднения, которым книга подверглась с 1955 года, указывают, что общество не приемлет ее темы, и даже критики осторожно ступают по «опасному пути». Это повышает тираж, доказывая, что тайный аппетит к запрещенному велик.

Участь этой книги — участь Страсти в наши дни. Тема — неожиданная для современного читателя. Страсть как вид любви, как дар жизни, всегда побуждалась преградами, нища превзойти природные ограничения в экстазе, не «здесь» и «сейчас», а «дальше» и «потом». В наш век, когда ни религиозные, ни моральные преграды не стоят на пути к выражению половых инстинктов, а дезинфицированная наукой «любовь» возвращается к первичным инстинктам допробудурного века, который создал на смену герою — «охотнику и насильнику» героя — «любовника», позднее облеченного романтизмом в ткани творческого воображения, только запреты общества «нестественных» форм отношений остаются в силе, страсти умерены гигиеной.

Тристаны, Данте, Петрарки, Дон-Кихоты не считались с действительностью. Они преодолевали ее. Но в наш безэкстазный век, ограниченный реальностью, в котором боги царствуют извне (над «извневедомыми людьми»), а совести

просто нет случая выявиться, современный Тристан встречает только преграды бытовых установлений. Буйствовать «здесь» — его участь. Его трагедия — скандал.

Предисловие к «Лолите» написано якобы вымышленным доктором философии Джоном Реем младшим, получившим от приятеля-адвоката рукопись его клиента, озаглавленную «Исповедь вдовца белой расы»<sup>\*</sup>). Гумберг, автор рукописи, умер в заключении за несколько дней до суда и завещал свой материал для посмертного издания. С объективностью чистокровного интеллигента, во всеоружии современной научной терминологии, зорко, четко, справедливо и нравучительно Дж. Рей анализирует и освещает сущность «непристойной» темы, признавая, что автор рукописи — «отвратительный», «яркий пример моральной проказы» — всё же... «может заворочить до нежности и сострадания» к Лолите... «вопреки возмущению ее автором». Как верноподданный член общества он заключает предисловие нравучительным и оптимистическим выводом, что «Лолита» должна побудить родителей и педагогов с «еще большей прозорливостью и рвением отнестись к воспитанию лучшего поколения в более безопасном мире».

Это саркастическое, виртуозно написанное предисловие, обнаружившее как отменно орудует Набоков иронией и как досконально знает и воспринимает сов-

«Lolita». By Vladimir Nabokov, G. P. Putnam's Sons, New York, 1955, p. 316.

<sup>\*</sup> «Confession of a White Widowed Male».



ременную Америку, побудило многих американских критиков сосредоточить свои оценки на этих свойствах автора и обойти молчанием более опасные и чуждые англосаксонцам элементы и даже сущность книги. Так, например, Чарльз Карло (в «Атлантик Монтли») увидел только карикатуру на «анализы страсти à la française» в том, что «заворожило и тронуло» даже Дж. Роя (в предисловии).

Русские критики пока что воздерживаются от высказывания, отчасти потому, что «Лолита» требует не только полного знания английского языка, но и американского быта.

Зато французский известный эссеист Денис де Ружмон (в парижской газете «Экспресс» от 18 июня 1959 г.) поставил основной вопрос — «Может ли в нашем обществе Страсть найти себе выражение?» — в широко развернутом исследовании «Лолиты», «Доктора Живаго» В. Пастернака, «Человека без добродетели» (L'homme sans qualités) Музыля и двух фильмов высокого качества — «Хирошима, моя любовь» и «Черный Орфей» («l'Orfeu Negro») Камю.

В поисках ответа на вопрос Д. де Ружмон написал и настоящий этюд о «Лолите».



Словами «Лолита, свет моей жизни, опонь моих чресел» открывается роман. В них — яркое выражение двойственности человека, его основной и вечной драмы. Образ героя дан с раннего детства, когда рос он: «счастливым, здоровым ребенком в ярком мире иллюстрированных книг, чистого песка, апельсиновых деревьев, лаковых собак, морского пейзажа и улыбающихся лиц... Все любили меня, все ласкали меня.»<sup>1)</sup> (стр. 12).

Счастливый мальчик встречает девочку Аннабел, неказисто поросшую его. Этот первый, влекущий его к себе образ освещен идеализмом: Аннабел мечтает быть сестрой милосердия в какой-нибудь молодящейся азиатской деревне. Сам же мальчик хочет быть «знаменитым шпионом». Авантюриста влечет к миссионерке.

«И вдруг мы безумно и бесстыдно, мучительно влюбились друг в друга, добавлю, безнадежно, потому что бешенство

желания взаимного обладания могло быть утолено только актом слияния каждой частички и души и тела, тогда как мы не могли соединиться, что нашли бы возможным сделать беспризорные депти.»<sup>2)</sup> (стр. 14).

Неожиданная смерть унесла Аннабел. Но влечение осталось в душе и в плоти мальчика.

«Перелистывая снова и снова эти несчастные воспоминания, я настойчиво спрашивало себя, не тогда ли, в блеске дальнего лета, была надорвана моя жизнь; или чрезмерное желание было первым признаком моей врожденной особенности?.. Я убежден все же, что в некоем чудесном и роковом смысле, Лолита зародилась в Аннабел.»<sup>3)</sup> (стр. 15).

«Духовное и физическое совпадало в нас в совершенстве, которое останется непонятным для повседневной, скроенной по одному образцу сегодняшней молодежи... О, Лолита, если бы ты любила меня так!»<sup>4)</sup> (стр. 16).

Здесь уже надвигается образ «грубой, повседневной, скроенной по одному образцу современной молодежи», которую олицетворяет собой поколение Лолиты. В ней, когда иссякает «воробка» мечты, воплотится неосуществленная детская любовь.

«Когда я был ребенком, и она была ребенком. Моя маленькая Аннабел не была для меня «нимфочкой»»<sup>5)</sup> (стр. 19).

На дне его эмоциональной памяти остался образ умершей, который томил годы. «Открыто я имел так называемые сношения с многочисленными земными женщинами, с тьквами или грушами вместо груди: внутренне я сгорал в адском жару вожделения к каждой нимфочке, как блудущий закон прус...»<sup>6)</sup> (стр. 20).

Удивительно ли, что за двадцать четыре года этой чудовищной двойственности созрела извращенность, остановить которую законы не могли. Оставалось только обойти их, а мечту воплотить в живую молодость Лолиты, только возрастом совпадающей с Аннабел. Любовь мальчика осуществилась, когда мальчик был уже зрелым мужчиной, а новое поколение девочек утратило всякую мечтательность. С ними возможен был только блуд. Если точно читателю, то ясно и

то, что цель автора в этом и заключается: описать так, чтобы ему было тошно.

Все началось с Лолиты: мать умерла — дочь валяется на диване с «комиксами»; поживший мужчина, по возрасту годный ей в отцы, муж ее матери, жаждет от Лолиты утоления своей похоти, она идет и на это, раз он готов задаривать ее всем, чем гипнотизирует ее рекламой. Лолита — новая версия проститутки. Той, старозаветной, что продавала свое тело из нужды или отчаяния, а затем либо каялась, либо катилась под уклон и превращалась в отбросы общества, уже нет. Лолита — просто эмоционально опустошенная школьница, без всякого «во имя», очерствевшая в цинизме. Из любопытства узнать, «как это ощущается», она еще раньше предельно испытывает с первым встречным мальчишкой. Узнав же в чем дело, утолив любопытство и не испытывая отвращения, подкупленная мещурой нашей цивилизации, под гомон массового спроса, заглушающего личные желания, она не прочь испробовать свои чары на юнце, явно склонном к «греху с нимфочкой». Когда «потребление» — основная добродетель индустриального прогресса, а образ культуры — материальное благополучие, может ли человек совместить такое мировоззрение с целомудрием? Вполне естественно, что поколение, которое побуждают потакать своим инстинктам, обязательно будет искать убежища в удовлетворении низших инстинктов, как в доступных для всех временных наслаждениях и удовольствиях. Набоков не первый узрел это, но он убедительнее многих это изобразил. Не пытаясь ни судить, ни поучать, он прибегает к более верному и действительному оружию — сарказму, высмеивая даже то, что в существе своем трагично. Молодежь, не склонная к размышлениям, но падающая на зубоскальство, узнает себя гораздо лучше, когда с ней говорят на ее языке, не со стороны и без нравоучений. Нельзя устоять перед Набоковским «кривым зеркалом» нашей реальности, когда с запальчивым юмором он рисует современный быт и «достижения цивилизации», принявшей средства за цель, где в «образцовых школах» «девушки учатся не правильно писать, а приятно пахнуть», и

признается, что «положение звезды — важно, но найти целесообразное место для холодильника в кухне еще важнее.»

Классическое описание автором того, как играет в теннис Лолита, как нельзя лучше символизирует его собственную виртуозность игры словом, как мячом, — высшую передачу с «чистым звуком» и «изысканной ясностью». У Набокова тоже «цепкий прицел» и «осторожность в момент касанья». Эта сцена игры в теннис — брешь в тайну художественного мира автора. Здесь читатель, после назойливой яви, поправшей все заветы и запреты, чувствует, что окно открылось в другую реальность. Смерд и тяжкое дыхание плоти сменились легким вздохом, новым касаньем к жизни — «услаиванием красоты.» (стр. 233).

Следующий эмоциональный этап вызван неожиданной фразой Лолиты:

«Знаешь, что самое ужасное в смерти? Это то, что в ней ты совершенно оторван от всех».

Раскаяние просачивается в сознание жадного любовника: Гумберту открывается, что «Я просто ничего не знаю о том, что на уме у моей любимой; и возможно, что за всеми пошлостями в ней есть и сад, и сумерки, и калитка, ведущая в замок, и чарующие пространства, которые казались определенно и окончательно закрытыми для меня в моих прыжных лохмотьях... О, моя бедная изученная дедка... Я люблю тебя; я был и подлым, и грубым, и мерзким, но я люблю тебя! Бывало, что я знал, что ты чувствуешь, и знать это было адом. моя маленькая девчурка, Лолита... Я помню моменты, называем их плыбами льда в раю, когда насытившись ею (Лолитой. — Н. А.) я, наконец, брал ее на руки, с немим стоном человеческой нежности... и нежность эта утлублилась до стыда и отчаяния, и я баюкал и укачивал мою любимую светлую Лолиту, и стонал, зарывшись в теплоту ее волос, лаская ее ощупью, молча прося ее благословения. И на вершине этой человеческой мучительной бескорыстной нежности, с душой, прильнувшей к ее обнаженному телу, готовый каяться, вдруг кошачье отворачивающееся возжелание снова поднималось во мне; и Лолита с умоляющим вздохом шептала «О, нет!»

и тут же вся нежность и лазурность исчезали.»<sup>7)</sup> (стр. 286).

Эта вечная тляжба между духом и плотью — неизбежная участь человека. Одной такой страничкой достаточно, чтобы вся книга преобразилась, открывая оконные недра жизни, которые дело не рук человеческих.

С самого начала романа очевидно, что герой — современный Тристан без Исольты — приговорен законом и жизнью. Развязка начинается с того дня, в который Лолита сбегала неизвестно с кем и куда. Гумберт тщетно рыщет по следам, желая все узнать, готовый все встретить. Как подлинный беллетрист, Набоков не направляет читателя, не ввлекает никакой философии, а предоставляет событиям совершаться, действующим лицам говорить, а читателю переживать книгу как собственную жизнь.

Когда, натерпевшись всяких мытарств, Гумберт решает умереть или убить, он нападает на след Лолиты. Приходит от нее письмо, с просьбой о огромной сумме денег, в нем же она сообщает, что она замужем. Встречи с Гумбертом Лолита не хочет и домашнего адреса не дает. Но он находит ее и незванный приходит к ее дому, в грязном предместье города. Новая Лолита — Долли Шиллер, жена Дика, простого добродушного парня, открывает дверь:

«Она стала на два дюйма выше. Очки в розовой оправе. Новая высокая прическа, новые уши. Как просто!.. Она была откровенно и опромяно беременна. Ее головка казалась меньше... бледные веснучатые щеки осунулись, а с голых голеней и рук сошел запах, и стали заметны маленькие волоски. На ней было коричневое бумажное платье без рукавов и стогланные войлочные туфли... Я не мог убить ее, конечно, нет. Поймите, я любил ее. Это была любовь с первого взгляда, последнего взгляда, каждого, каждого взгляда...»<sup>8)</sup> (стр. 271).

Гумберт пришел, чтобы все узнать, готовый убить, но когда понял, что убить ее он не может, — «Его имя, моя падшая нимфа!» — потребовал Гумберт. После долгих колебаний Долли Шиллер открыла ему, что сбегала с автором пьесы, в которой она участвовала еще в школе; что он развращал молодежь и что она

не могла выносить этого дольше, но что «он был единственным, кто свел меня с ума.» ... «Дик? О, Дик — прогательный, они счастливы вместе, но это совсем другое...»

И тут Гумберт понял, что он «совершенно не в счет, конечно». Перед ним стояла морально здоровая Долли Шиллер, видимо, и не подозревая всей жестокости своего признания, которым она просто стерла свое прошлое с Гумбертом. Он был не в счет не только сейчас, но всегда. Как природа, равнодушная к участи человека, беременная Долли Шиллер ничем не отозвалась на муки Гумберта, сидящего перед ней; не жалела, но и не упрекала его. «Ты был хорошим отцом», признала она. Естественная, добродетельная, без малейшего изъяна после всей развращенности, которая прошла у нее бесследно, как проходит корь и скарлатина у детей, Долли Шиллер была теперь на верном пути. У поколения «политоподобных» развращенность — временная эпидемия, которой их подвергают обычаи наших дней. Не изнутри, а извне ведомые, во имя чего могут они сопротивляться инстинктам или общему влекущему их течению, пока не вступит закон природы?

Не торжество добродетели над злом, а закон жизни символизирует эта сцена, завершенная появлением Дика с приятелем, работавших во дворе. Они знакомятся, перекидываются шутками и в невзрачной тесноте пьют пиво. Гумберт уходит, оставив сумму денег, намного превосходящую ту, о которой просила Долли Шиллер, поняв, что это все, что он может дать ей, которую он любит; другого ей не нужно, и никогда не было нужно. *Добродетель бывает очень жестокой, а развратники не обязательно злодеи, понимаем читатель.*

Гумберт — не идеалистическая натура. Не блюсти, а нарушать законы рвется мука его любви, которой нет исхода. Но нельзя и умереть, не изжив ее. Изжить ее есть только одна возможность — дать любви ненависти и мести. И только убив того, кто «свел с ума» Лолиту, развратничал с нею, не любя, а забавы ради, — возможно умереть.

Как охотник за гадом, гоняется Гумберт за ним. Он приходит в его дом, ни-

чего не скрывая, а тот, как изворотливый гад, пытается подкупить убийцу шимпанками и увильзнуть от расправы. Даже невосприимчивый читатель ощущает с трепетным напряжением все движения прожегшего свою жизнь соблазнителя, заглаженного в тушик, и чувство непримиримой мести того, кто сам прешил, но и любил греша. Этот момент — вершина напряжения всей сути книги. Читатель ждет, что роман этим завершится и несколько удивлен последними строками, нарушающими строй всей книги. Но свойство большого таланта — быть неожиданным. После того, как весь реальный опыт любви прогорел до пла в скорби и мести, перед лицом казни (герой приговорен за убийство), на краю реальной жизни, в теплом прахе пережитого курится и мерцает еще живое чувство, зачатое в детстве — потребность любить и оставить след этой любви:

«Никого из нас не будет в живых, когда читатель откроет эту книгу. Но пока кровь все еще тепла и бьется в моей пишущей руке, ты все еще часть блаженной матери, как и я; и я могу говорить с тобой отсюда в Аляску. Будь верна Дикю. Не дай никому тронуть тебя. Не говори с посторонними. Я надеюсь, что ты полюбишь своего младенца; надеюсь, что он будет мальчишкой. Надеюсь, что муж двоя будет всегда хорош с тобой, иначе мой призрак явится ему, как черный дым, как безумный гигант и раздерет его, нерв за нервом. И не жалей С. К.» (Кузлти. — Н. А.) ... было бы желательнее, чтобы Г. Г. (Гумберт. — Н. А.) просуществовал на месяца два дольше, чтобы ты осталась жить в сознании людей следующих поколений... И это единственное бессмертие, которое ты и я можем разделить, моя Лолита.»<sup>8)</sup> (стр. 311).

Книга открылась словами «Лолита, свет моей жизни, огонь моих чресел». Огонь чресел догорел; свет жизни мерцает приговоренному. *Николай Армазов*

#### От редакции

По просьбе автора этой статьи, ниже приводятся цитаты, помеченные в тексте, в оригинале, поскольку Владимир Набоков считает, что русский язык не передает всех оттенков его английского языка в этом романе.

#### QUOTATIONS FROM THE ORIGINAL “LOLITA“

<sup>1)</sup> “I grew, a happy, healthy child in a bright world of illustrated books, clean sand, orange trees, friendly dogs, sea vistas and smiling faces... everybody liked me, everybody petted me“. (p. 12)

<sup>2)</sup> “All at once we were madly, clumsily, shamelessly, agonizingly in love with each other; hopelessly, I should add, because that frenzy of mutual possession might have been assuaged only by our actually imbibing and assimilating every particle of each other's soul and flesh; but we were unable even to mate as slum children would have so easily found an opportunity to do“. (p. 14).

<sup>3)</sup> “When I leaf again and again through these miserable memories, and keep asking myself, was it then in the glitter of that remote summer, that the rift in my life began; or was my excessive desire for that child only the first evidence of an inherent singularity? ... I am convinced, however, that in a certain magic fateful way Lolita began with Annabel“. (p. 15).

<sup>4)</sup> “The spiritual and the physical had been blended in us with a perfection that must remain incomprehensible to the matter-of-fact, crude, standard-brained youngsters of today... Oh, Lolita, had you loved me thus!“ (p. 16).

<sup>5)</sup> “When I was a child and she was a child, my little Annabel was no nymphet to me“. (p. 19).

<sup>6)</sup> “Overtly, I had so-called normal relationship with a number of terrestrial women having pumpkins or pears for breasts; inly, I was consumed by a hell furnace of localized lust for every passing nymphet whom as a law-abiding poltron I never dared approach“. (p. 20).

<sup>7)</sup> “... I simply did not know athing about my darling's mind, and that quite possibly, behind the awful jvenile clichés, there was in her a garden and a twilight, and a palace gate — dim and adorable regions which happened to be lucidly and absolutely forbidden to me, in my polluted rags... oh my poor, bruised child. I loved you... I was despicable

and brutal, and turpid... mais je t'aimais! And there were times when I knew how you felt and it was a hell to know it, my little one Lolita... I recall certain moments, let us call them icebergs in paradise, when after having had my fill of her... I would gather her in my arms with, at last, a mute moan of human tenderness... and the tenderness would deepen to shame and despair, and I would hulk and rock my lone light Lolita, and moan in her warm hair, and caress her at random, and mutely ask her blessing, and at the peak of this human agonized selfless tenderness (with my soul and ready to repent), all at once ironically, horribly, lust swell again — and “oh, no”, Lolita would say with a sigh to heaven, and the next moment the tenderness and the azure — all would be shattered“. (p. 286-7).

<sup>8)</sup> “Couple of inches taller. Pink-rimmed glasses. New, heaped-up hairdo, new ears. How simple!.. She was frankly and hugely pregnant. Her head looked smaller... and her pale fleckled cheeks were hollowed, and her bare shins and arms had lost all their tan, so that the

little hairs showed. She wore a brown, sleeveless cotton dress and sloppy felt slippers“. ... “I could not kill her, of course not... You see I loved her. It was love at first sight, at last sight and every sight...“ (p. 271).

<sup>9)</sup> “Thus, neither of us is alive when the reader opens this book. But while the blood still throbs through my writing hand, you are still as much part of blessed matter as I am, and I can still talk to you from here to Alaska. Be true to your Dick. Do not let other fellows touch you. Do not talk to strangers. I hope you will love your baby, I hope it will be a boy. That husband of yours, I hope, will always treat you well, because otherwise my specter shall come at him, like black smoke, like a demented giant, and pull him apart nerve by nerve. And do not pity C. Q. One had to chose between him and H. H., and one wanted H. H. to exist at least a couple of months longer, so as to have him make you live in the minds of latter generations... And this is the only immortality you and I may share, my Lolita“. (p. 311).

## Жизнь писателя

Хорошо известно, какую роль для исследователя жизни и творчества выдающихся писателей играют свидетельства людей, бывших близкими к писателю в жизни. Трудно представить себе работы о Толстом или Достоевском без тех свидетельств, которые оставили нам С. А. Толстая и А. Г. Достоевская. Поэтому особенно оправданно, что В. Н. Муромцева-Бункина издала первую часть своих воспоминаний о покойном И. А. Бунине. В строгом смысле слова рецензируемая книга — даже не воспоминания, а тщательное воссоздание той части жизни писателя, которую он прожил до своей женитьбы на В. Н. Муромцевой, т. е. до 1906 г. В основу этой книги легли автобиографические конспекты И. А. Бунина, заметки и краткие дневники, относящиеся к молодым годам писателя, а так-

же рассказы его родных и родственников, которые были тщательно использованы В. Н. Муромцевой-Бункиной. Свидетельства лиц, знавших И. А. Бунина в молодости и до сих пор живущих в эмиграции, помогли В. Н. Муромцевой-Бункиной создать задуманную книгу.

Книга В. Н. Муромцевой-Бункиной, в частности, преследует цель опровергнуть сложившуюся, по вине некоторых критиков, легенду, согласно которой книга Бунина «Жизнь Арсеньева» является автобиографией. Автор книги показывает, что «Жизнь Арсеньева», хотя и включает в себе много автобиографических черт, является, в то же время, плодом творческого воображения, которое требовало переработки и изменения фактического автобиографического материала.

Самым ценным в рецензируемой книге представляется нам описание развития художественного вкуса и направления И. А. Бунина на фоне столь богатой литературной жизни России конца прошлого и начала этого века. Описаниям встреч Бунина с Чеховым, к которому И. А. Бунин до конца жизни сохранил чувство любви и восхищения, посвящены лучшие страницы книги.

Естественно, что в рецензируемой книге, которая относится к тому периоду жизни писателя, который предшествовал их совместной жизни, В. Н. Муромцева-Бунина не могла познакомить нас с творческими методами Бунина, ввести нас в его мастерскую художника. Нужно надеяться, что этот естественный в данной книге пробел будет восполнен, когда В. Н. Муромцева-Бунина издаст

свои воспоминания, относящиеся к тем сорока шести годам, которые ей дано было прожить вместе с писателем. Эти воспоминания, несомненно, не только будут приняты с благодарностью русскими и иностранными почитателями Бунина, но и послужат опровержением той клеветы, которую возводят на И. А. Бунина советские литературоведы, пытающиеся представить его «советским патриотом», лишь случайно не вернувшимся в СССР. Бунин очень тяжело переживал изгнание, но до конца жизни оставался верен трудному, но достойному званию политического эмигранта.

К. Ф.

В. Н. Муромцева-Бунина. «Жизнь Бунина», 1870—1906. Париж 1958 г., стр. 170.

## „Юность“ — журнал молодых

На Третьем съезде писателей СССР Валентин Катаев, говоря о том, что ему по должности главного редактора журнала «Юность» приходится участвовать в рождении новых писательских имен, заявил, что «речь идет не об отдельных молодых дарованиях, а о целом, довольно большом отряде молодых талантливых литераторов». Подтверждает ли журнал «Юность» это заявление Катаева? В какой-то мере да. Безусловно известная талантливость, непосредственность, правдивость чувствуется у целого ряда молодых авторов, печатающихся в журнале, хотя это относится главным образом к прозаикам. С поэзией дело обстоит значительно хуже. Но безусловно и то, что все эти качества могли бы проявиться еще ярче, если бы главный редактор не считал, что «надо сделать все для того, чтобы воспитать смену в духе преданности идеям нашей славной коммунистической партии, что-

бы все творчество было насквозь партийно, потому что **партийность — душа литературы, а бездушной литературы нам не нужно**». (Выделено в цитатах здесь и дальше нами. — И. Г.). Конечно, подобная установка главного редактора должна сковывать молодые таланты и оставлять за бортом многие ценные произведения. И все же, вопреки этим словам Катаева, в журнале мы видим произведения далекие от партийности, но совсем не бездушные. Скорее напротив — чем больше чувствуется партийность в том или ином произведении — тем бездушнее само произведение. Что же можно сказать о первых шести номерах журнала «Юность» за 1959 год? Раздел поэзии оставляет тягостное впечатление. Большинство поэтов молодые или начинающие, или же совсем недавно начавшие печататься. Мы помним как два-три года назад именно стихи молодых поэтов радовали своей новизной, искренностью, исканиями; именно стихи молодых поэтов позволяли думать о лучшем будущем нашей поэзии. Теперь же, хотя молодой поэт Владимир Павли-

«Юность» литературно-художественный и общественно-политический ежемесячник. №№ 1—6, изд-во «Правда», Москва, 1959 г.

нов в своем стихотворении «Да здравствует открытие америк!» и говорит:

«... Жизнь — это сплошь открытие  
америк.

Они во всем.

Сумей заметить их.

И потому несутся ввысь ракеты,  
Поэты ищут новые слова,  
Рождаются моря и острова  
И фрезы до каления нагреты...» —

но новых слов в подавляющем большинстве стихотворений, помещенных в журнале, мы не видим. А видим штамп, шаблон, зачастую просто рифмованную хроникальную историю. Судя по первым шести номерам журнала «Юность» молодые поэты далеки от открытия америк. Впрочем, нельзя особенно осуждать поэтов, не надо забывать, что кроме авторов существует еще редакция, и будем надеяться, что не молодые поэты потеряли молодость, а просто отбор стал более тщательным. Мы не знаем, кто ведет в журнале раздел поэзии, но видимо некто очень «бдительный», и надо думать, что почти все оригинальное, все самобытное отставляется в угоду шаблону.

В целом ряде стихотворений трактуется, именно трактуется, о коммунизме, партии и т. д. Несколько стихотворений посвящены двадцатому первому съезду. Здесь особенно свирепствует штамп, которого не мог избежать даже талантливый и своеобразный поэт Е. Евтушенко в своем стихотворении «Это наша дорога».

«Двадцать первого съезда мы ждем с  
нетерпеньем:

Нужно слово большое и главное  
нам», — провозглашает Евтушенко.

Ему вторит Борис Шаховской:

«Не рок нам указал пути вперед,  
А съезда Двадцать первого трибуна».

Стремясь к идеологической выдержанности стихотворений, поэты доходят порой до курьезов. Так, например, Константин Мурзиди, которого начинающим поэтом не назовешь, в стихотворении «По дороге в тайгу» говорит:

«... Вот уже трое в ночи  
Молча над картой склонились  
Тесным кружком у свечи.

Трое, скажу вам по чести,  
Это же целая рать!»

После двоеточия читатель вправе ожидать перечисления подвигов, которые эта рать может совершать, но поэт заканчивает стихотворение словами:

«... Трое, когда они вместе,  
Могут комсорга избрать».

Вот уж неожиданное заключение! Видимо, избрание комсорга — дело, для которого нужна «целая рать».

Правда, подобных стихов не так уж и много в журнале, но и большинство других стихов — будь то чистая лирика, будь то стихи на гражданские мотивы — весьма бледны и трафаретны. Немало стихов о труде, в частности, три стихотворения говорят о рабочих мозолистых руках. Тема вполне достойная быть воспеваемой в стихах, но все три стихотворения удивительно шаблонны и поэтому однообразны.

Из стихов известных поэтов можно указать на некоторые стихи Н. Рыленкова, которые, не являясь ценным вкладом в поэзию, привлекают своей непосредственностью, и на стихи Л. Мартынова, в особенности «Венера», где мы видим, что и на злободневные темы можно писать стихи, а не рифмованные информации.

Хороши стихи Роберта Рождественского, пожалуй, наиболее талантливого из современных молодых поэтов. Его стихотворения «Арктическая болезнь» и «Север» из книги «Дрейфующий проспект» проникнуты романтикой севера и, как всегда, самобытны:

«... Если б вы хоть однажды  
увидели

угловатую царственность  
льда,

если б вы хоть однажды

поняли

долгожданного солнца  
приход,

если б легкие вы наполнили  
звонким воздухом

этих широт,  
если б вы извели счастье  
и величие  
дружбы земной,  
вы, конечно, тогда —  
ручаюсь я! —  
повторили бы вместе со мной,  
повторили:  
одни —  
а другие —  
украдкой,  
в голос крича:  
«Заболел...  
Заболел я  
арктикой!  
Не зовите  
ко мне врача!»

Из молодых поэтов, не считая Р. Рождественского, который хотя и молод (25), но занял уже прочное место в нашей литературе, можно задержать внимание лишь на Владимире Павлинове. Павлинов — молодой инженер, совсем недавно окончивший учебу. В журнале помещено несколько его стихотворений. Все они выделяются из серой массы большинства стихотворений настоящей молодостью, искренностью, полетом. Одно из своих стихотворений поэт кончает словами:

«И сердце рвется в высоту  
С путей исхоженных и гладких.  
Мне трудно — значит, все в порядке!  
Мне трудно — значит, я расту!»

Читая стихи В. Павлинова, хочется верить в дальнейший рост поэта.

Вот, собственно говоря, все, что можно сказать о стихотворениях, помещенных в первых шести книжках «Юности». О крупных поэтических произведениях — романах в стихах, поэмах и прочем — сказать ничего нельзя, ибо они в журнале отсутствуют.

Проза производит значительно более радостное впечатление, чем поэзия. Не все, конечно, в журнале равноценно, есть и очень слабые произведения, да и лучшие тоже не лишены недостатков, но многие произведения, в особенности молодых авторов, привлекают юной непосредственностью, искренностью, правдой.

Можно заметить, что в прозе журнала количество никак не переходит в качество, а наоборот качество прозаических произведений улучшается с уменьшением количества страниц. Впрочем, для молодых авторов это вполне естественно.

Единственный роман, помещенный в журнале за первое полугодие — «Колотка громкого боя» Николая Панова, который печатается с сокращениями, одно из наиболее слабых произведений в журнале. Этот роман из современной жизни военно-морского флота отображает нас на несколько лет назад —

«В жизнь,  
где ставились конфликты  
Только «лучшего»  
с «хорошим».

Действительно, все действующие лица этого романа (офицеры и старшины) до того хорошие, до того сознательные и, в силу этого, до того одинаковые, что различаешь их лишь по полонам да по фамилиям.

Наименее сознательный из всего офицерского состава лейтенант Денисов, не доложив по начальству о четырехминутном опоздании из увольнения исполнителя скромного старшины Шусева, подавлен своим поступком: «Денисов смотрел ему вслед. И вдруг невыносимая тяжесть навалилась на сердце. Он остановился как вкопанный, истиснув увольнительную в пальцах. Что я сделал? Совершил воинское преступление, укрыл опоздание на корабль!»

Тут автор явно перекстарался. Укрытие опоздания — это, конечно, проступок, но вряд ли его можно назвать преступлением. В дальнейшем того же старшину Шусева за самовольную оплучку разжалуют в матросы. За самовольную оплучку ни на одном флоте по головке не гладят, и разжалование вполне нормально, но отношение товарищей к разжалованному вряд ли близко к жизни. «И тут он поймал на себе взгляд Генералова — ближайшего друга. Это был необычный, тугающий взгляд, как будто не друг Лешка глядел на него, а посторонний, суровый человек рассматривал не совсем понятное противное существо...»

— Ты Леша, что? — шепотом спросил



Щусев. И осознал: не только Генералов, но и несколько других старшин смотрят на него таким же полусожалеющим, полупрезрительным взглядом».

Вот эти полупрезрительные взгляды, а в особенности взгляд Генералова, знавшего, что самовольная оплучка его друга была вызвана личной душевной драмой, никак не вяжутся с жизненной правдой.

В таком духе написан весь роман. Обидно то, что автор не без таланта — отдельные места написаны хорошо, но, видимо, дух лакировки снова входит в нашу литературу.

Фантастическая повесть И. Ефремова «Сердце змеи», о космических полетах в далеком будущем, не представляет интереса.

Повесть Михаила Пархомова «Хороший парень» написана очень неровно. Написанная живым, образным языком, с известной долей юмора вначале, она постепенно как бы затухает и к концу становится довольно бледным повествованием.

Повесть М. Маклярского и Д. Холендро «Часы чемпиона» можно назвать криминальной повестью с тенденцией. Криминальный сюжет не несложен: у голландского конькобежца на ленинградском стадионе украли часы. Оперативный работник милиции Андрей Калашников занялся поисками этих часов. Единственной зацепкой оказалась записка, найденная на стадионе. На эту записку наматывается ряд других фактов, и похититель часов находится. Это молодой парень Алешка, действовавший по указке опытного рецидивиста Сыча.

«Тенденция» же заключается в том, что милиция не только стремится обнаружить преступника, но и старается выявить все причины, толкнувшие его на преступление, и помогает ему стать на правильный путь.

Написана повесть живо и не без юмора, за развитием сюжета следить с интересом, но вот рассуждения о причинах, толкнувших Алешку на скользкий путь, а также забота милиции звучат не очень убедительно. Так же не убедительны герои повести — Андрей, Вера, Алешка. Алешка еще ярче других, но Андрей и Вера весьма бледны и схематичны. Зато

целый ряд встречающихся в романе эпизодических персонажей очень ярки и жизненны.

То же самое относительно характерности героев можно сказать и о повести Д. Холендро «Опасный мыс». Повесть эта из жизни азовских и черноморских рыбаков. Семнадцатилетний парень Васыка Гавриш поступает на сейнер рыбаком и отправляется в свое первое плавание, впервые покидая поселок, где он родился. На сейнере Васыка попадает под влияние мастера лова Федора Разуваева, заботка своего дела, но стремящегося из всего извлечь выгоду лично для себя. Он пьянствует вместе с Васыкой, учит его обману при приемке рыбы и в дальнейшем заставляет продать рыбу спекулянтке. Васыка попадает на этом деле, сознает глубину своего падения и становится новым человеком.

Сюжет несложный, и, видимо, для автора дело не в сюжете, а в тех картинах жизни рыбаков, картинах их труда и отдыха, которые написаны с любовью и удалась автору.

Что же касается характеров действующих лиц, то здесь наблюдается неравномерность. Образ Васыки, к которому автор относится с большой симпатией, в общем удался, хотя мог бы быть более выпуклым. А вот образ Федора и выставленного в противовес ему бригадира Антона Баркарова автору не удалось, в особенности Антон — фигура очень схематичная. И борьба за душу Васыки добра и зла, Антона и Федора, не убедительна. Зато так же как в «Часах чемпиона» второстепенные персонажи — матрос-романистик Юрчик Маркуша, веселый механик Петя Жуков, летчик Миша и ряд других стоят, как живые.

Повесть молодой писательницы Инны Гофф, недавно окончившей Литературный институт, «Поэтом можешь ты не быть», упоминают Катаевым на съезде писателей и действительно заслуживает внимания.

Повесть эта из жизни Литературного института имени Горького. Перед нами проходят студенты института — «случайный» студент Виктор Назаров (герой повести), поступивший в Литературный институт только потому, что не попал в геологический; безусловно хороший поэт

Артем, не удовлетворенный своими стихами — «поезд идет в тупик... Разве так надо писать?.. Детский лепет все это...»; самоуверенный, кричащий о своем рабочем происхождении Куклин, пишущий стихи вроде:

«Сверх плана, токари, даешь!

«Даешь» — сказала молодежь...»

не выносящий критики и не слишком знакомый с литературой; критик Тая из новой «аристократии», презирающая Третьяковскую галерею и изрекающая сомнительные афоризмы. Знакомимся мы с руководителем семинара прозы Усольцевым, писателем «неудачником», чья книга в свое время пролетела, но затем ее стали обходить молчаливым, с писателем-карьеристом Прогиным, находящимся в почете у критики, и с целым рядом других персонажей, показанных живо и правдиво.

Встает перед нами и жизнь института, и та «друшловщина», о которой не раз писалось в прессе. Упоминаются и дискуссии в институте, о которых тоже писалось в свое время. «Артем рассказывал, какие в прошлом году у нас в институте шли бои и дискуссии. Некоторые ребята целиком зачеркивали все, что есть в нашей поэзии, и заявляли, что надо писать по-новому, совсем по-новому. «Конечно, — сказал Артем, — серьезности у нас в поэзии немало, и доля правды в их словах была».

Написана повесть хорошим языком, проблемы затронуты в ней интересные, образы яркие, и ее можно считать наиболее значительным произведением в журнале за первое полугодие.

Особо хочется отметить «маленькую повесть» Сергея Львова «Полтора месяца в жизни Тамары».

Повесть написана в первом лице от имени Тамары. Тамара — лаборантка в московской больнице, три года как кончила школу. В больницу попадает новый больной — инженер Иванников. В Москву он приехал в командировку, на улице с ним случился сердечный приступ. От семьи, живущей далеко, он свою болезнь скрывает, в Москве у него нет никого. Зная это, Тамара оказывает ему несколь-

ко услуг, а затем навещает его. Очень скоро забота Тамары переходит в любовь. Через некоторое время Тамара уезжает на две недели. В это время Иванников умирает. Вот и все. Но это далеко не всё. Это лишь канва, на которой автор выткал прекрасную повесть зарождающейся и не вполне осознанной любви. Отношение Тамары к больному, постепенное созревание чувства переданы автором необычайно тонко и тепло. Слово любовь ни разу не упоминается, да и Тамара сама себе боится в этом признаться. «Я сижу в кухне над новым недошитым платьем и думаю: «Как это странно, как странно, как странно!.. Десять дней назад его пронесли мимо меня на носилках. Я ничего о нем не знала. Потом я поехала в гостиницу за его вещами, на междугородную, потом в больницу, только чтобы сказать, что выполнила поручение. А сама просидела в палате и поговорила с Иванниковым до тех пор, пока санитарка не объявила: «Посетителям пора сдавать халаты». Странно, странно, странно...» И дальше: «В Москве у Иванникова никого нет, а я еще раздумываю, можно ли к нему идти или нельзя. И можно и нужно. И пойду!»

Перед отъездом Тамара прощается с Иванниковым, который говорит, что к ее возвращению настолько поправится, что сможет выйти из сад.

«Я представила себе, что он в самом деле встал и мы действительно сидим рядом в саду, и поняла, как это будет мне трудно...»

Когда Володя хочет меня обнять, я говорю: «Не надо». Если бы Иванников захотел меня обнять, я бы ему так не сказала, но он никогда не узнает, что я вдруг подумала об этом... Надо идти... Пора... — Он устал. Только нужно еще что-то сказать.

— Если успеете, пока я вернусь, берите себя».

Вернувшись из поездки, Тамара готовится к встрече с Иванниковым.

«... Руки делали все сами, а я, в который уже раз за эту неделю, представляла себе, как снова открыла дверь пятой.

... Все оказалось очень просто. Иванников лежал на боку, укрывшись с голдовой одеялом. Я обрадовалась. Значит,

ему разрешили поворачиваться. Будить его не стала. Теперь много времени впереди...»

«... Иवानников услышал мой голос, повернулся, склонил одеяло с лица... и я увидела, что это не Иवानников...»

Кончается повесть словами:

«Вот и кончились эти полтора месяца в моей жизни. Они кончились, но я их никогда не забуду. Мне кажется, что я стала взрослой.

Бережки построит другой, но Иवानников оставил свой след на земле.

В моей жизни тоже».

И эта повесть должна оставить след в душе каждого, прочитавшего ее.

Большинство рассказов, помещенных в журнале, в особенности опровергают заявление главного редактора о «бездушной литературе», ибо они далеки от партийности и вследствие этого глубоко человечны. Не имея возможности останавливаться на каждом рассказе, мы упомянем лишь трех молодых авторов.

Рассказы Сергея Наумова «Зыбь» и «Осыпь» привлекают своей непосредственностью. Это — картины, выхваченные из жизни. Лаконичные названия рассказов вполне отвечают языку, которым они написаны. Короткие фразы, скупые слова, а картина, встающая перед нами, ярка и жизненна.

Известный поэт Е. Евтушенко впервые выступает в печати как прозаик и выступает весьма успешно. Его рассказ «Четвергая Мещанская» очень хорош. Живой, образный язык; выпуклые, жизненные образы героев, да и не только героев: любой, появляющийся лишь на мгновение персонаж, мы видим перед собой. «Как-то на такси ее привез симпатичный долговязый парень в ковбойке с прогтершившимся воротничком — видимо, студент. У него не хватало рубля, чтобы уплатить по счетчику, и, заливаясь краской, он униженно долго собирал из всех карманов мелочь. Шофер, ухмыльнувшись, вспрянул на ладони монеты, пересыпанные табаком, хлебными крошками, и золотой зуб в углу его рта высокомерно блеснул».

Мы не будем подробно останавливаться на этом рассказе, так как читатели смогут познакомиться с ним в ближайшем номере «Граней».

Впервые появились в печати рассказы Анатолия Приставкина «Трудное дело», «Подзаголовок — «Маленькие рассказы». Рассказы действительно маленькие: самый большой из них не превышает страницы, но в этих коротких строках сказано очень много. Автор с десятилетнего возраста жил в дедовом и в этих коротких рассказах дал отдельные картины своего действительно нелепого детства. Рассказы эти — лучшее, что есть в журнале. Они будут напечатаны в следующем номере «Граней».

Есть в журнале страничка сатиры и юмора «Пылесос», на которой останавливаться не стоит, так как сатира, как и всякая сатира в советской печати, весьма беззуба.

Литературной критики в журнале нет. Есть, но очень скудная, казенного образца библиография. Об отсутствии литературно-критических статей приходится пожалеть: такие статьи, написанные молодыми критиками, были бы особенно интересны своей непосредственностью и молодым полемическим задором. Быть может, именно поэтому их в журнале и нет?

Оставивши в стороне такие разделы как «Наука и техника», «Спорт», «Шахматы» и др., не представляющие особого интереса для этой статьи, а также разделы типа «Огни юмилепки» и «Наши интервью», наполненные явно инстинктивно-материальным материалом, задержимся на «Почте «Юности», в частности на одном письме, вызвавшем живые отклики читателей.

Автор письма, студентка, пишет, что, познакомившись на практике с рабочими, она подружилась с ними, а затем «нам показалось, что мы любим друг друга». Но вскоре выяснилось, что интересы у них разные, что их принадлежность к разным кругам общества сказывается и на их взаимоотношениях. Они разошлись. В конце письма студентка говорит, что ей теперь «неприятны воспоминания о нем, стыдно перед знакомыми за нашу дружбу, стыдно, что первый поцелуй отдали ему». И спрашивает: «Что это? Гадкая я? Где я ошиблась? Помогите мне, дорогая редакция!»

В ответ на это письмо в редакцию пришло много писем. Из напечатанных пи-

сем видно, насколько этот вопрос больной. Лишь одно письмо, написанное прескутим, миллиговым языком, безоповорочно осуждает студентку. Во всех остальных письмах авторы их, в общем осуждая девушку, плавным образом за ее стыд по отношению к прошлому и, в особенности, за то, что она сделала, не постаравшись поднять своего друга до своего уровня, подходят к этому вопросу очень серьезно и взвучиво. В особенности интересно письмо московского рабочего, который, не обвиняя студентку, пытается найти причины, которые делают подобные случаи возможными. В ча-

стности он говорит «о нашей подчас невысокой культуре» и сетует, что «часто некоторые молодые рабочие принимают элементарную культуру за «пижонство».

Но ни в одном письме не говорится о главной, на наш взгляд, причине. О том, что в так называемом бесклассовом государстве классовое различие сильнее, чем во многих «буржуазных» государствах, о чем и говорит следующая выдержка из письма студентки: «Один мой знакомый сказал мне: «Как это тебя, такую интересную девушку, утраздило встречаться с этим... простым рабочим?»

*И. Гусев*

## О „Мостах“ через пропасть

Увесистый (432 стр.), на добротной бумаге, по-немецки тщательно, и по-американски рекламно (с портретами участников) изданный том привлекает читателя многообещающим предисловием «От редакции».

«Альманах «Мосты» предназначен в первую очередь для советского читателя... книги находят свои дороги из зарубежья на родину...»

Надо думать, что предлагаемая книга поедет за «Железный занавес» даром, потому что даже по себестоимости она была бы в несколько раз дороже книг советского издания.

Дальше, в утешение зарубежному читателю, и в похвалу советскому писателю провозглашается: «Три последних года были для нашей родины временем «ревизионизма», «критицизма» и почти «повального вольнодумия».

«Духовными вежами», ведущими к этому выводу, называются: Дудинцев, Евтушенко и Пастернак. То, что они ищут на родине, то эмигрантские писатели ищут в зарубежье. Поэтому «искать надо вместе»... «нам видятся мосты, переброшенные через пропасть...» Образ не плох, но его пустил в ход в 1929 году

«Мосты» I, 1958. Альманах литературы, искусства и политики. Издательство «ЦОПЭ» в Мюнхене.

Мао Цзэ-дун, да и теперь еще существует в Нью-Йорке издательство «Мост». В этом, конечно, беды нет. Серьезнее то, что, несмотря на девиз, что «Осуществление его — дело всего творческого русского зарубежья», выбор авторов и тем носит характер случайный, так что этот альманах, несмотря на некоторые удачи, никак не может быть посылаем на родину в качестве посла «всего творческого русского зарубежья».

На правильно поставленный риторический вопрос: «Но что же напишем мы на собственных знаменах?» редакция, следуя общему течению на Западе, делает заем (на сей раз духовный) в Америке у Вильяма Фолкнера: «Я верю, что человек не просто уцелеет: он восторжествует. Он бессмертен... потому что у него есть душа, дух, способность к состраданию, самопожертвованию и терпению. Долг поэта, писателя — напоминать об этом. Поэту дано великое право поддерживать человека на его тернистом пути к бессмертию, возвышая его душу, напоминая ему о мужестве и чести, о надежде и гордости, о сострадании и жертвенности — обо всем, что составляет *былую славу* человека».

Манифест настолько всеобъемлющий, что особенно обвинять редакцию в подчеркивании «разительного сходства» с высказываниями «крамольной» совет-

ской литературы не приходится. Отсюда один шаг до восторженного оптимизма: «Время распада русского общества прошло, и мертвый пункт в его внутреннем развитии перейден. Наслушивается время больших и малых синтезов и связей».

Устами этой редакции да и «мед бы пить»! Жаль только, что периодическая печать всего мира неустанно льет деготь в эту медоточивость.

В пределах рецензии откликнуться на список 32 авторов невозможно: мы ограничимся только отзывами о тех авторах, произведения которых вызывают «споры и к размышлению ведут».

Выбор двух отрывков из главы романа «Уезд в тылу» Бориса Пастернака мы считаем неудачным по той простой причине, что мы хотим верить редакции, что «Мосты» найдут дорогу на родину; зачем же посылать им то, что они и без нас найдут в «Литературной газете» за декабрь 1938 года? Не предпочтительнее ли было бы поместить что-нибудь из тех произведений Пастернака, на которые наложено табу в Советском Союзе?

Все три поэта «Мостов» талантливы; у каждого из них — свой голос. Однако чуткое ухо протестует против стихов Ильинского:

«И летучую мышь привлекает  
Говорящий осыны ствол».

Очень хорошо стихотворение «У огня». Особенно удачны последние два стиха первой и последней строфы:

«Такая маленькая по сравненью  
С огромной тенью, согнутой дугой».

«Такая маленькая по сравненью

С моим огромным чувством за  
спиной».

«Страх», четыре главы из романа Владимира Юрасова говорят о хорошей записной книжке, о добросовестно ведущем дневнике; это, если хотите, блестящая хроника, но художественной изобразительности, которую мы находим у антиподов — Шолохова и Пастернака, в ней и поминать нет, а ведь с него и начинается постройка «Мостов». Все эти выраженьица «Зануда старо-эмигрантская!», «субчик», «остовец» «белый власовец» и тому подобные — фотографии с натуры; даже бред героя скорее смахивает на риторичку, порою очень

меткую... Тут и принципы, и политическая целесообразность, и подписка на заем, и психологическая раздвоенность, над которой повсюду парит и склоняется во всех надеждах «Страх». В последней книге «Нового журнала» М. Коряков пишет о пьесе Афиногенова «Страх»; не стану на этом останавливаться: сравнение было бы не в пользу Юрасова. Геноссе Сталин, конечно, обкручивал Рузвельта, да и Хрущев ему не уступает в обкручивании доверчивых демократов, но как убоги осылки на Киркегора и Сартра! От бесконечного повторения Иосифа Кротового, от долгих дискуссий «инициаторов свободы» с одним «возвращенцем», от обвинений вдовы Рузвельта, — правдивая, местами хлесткая (Это не Платлинг, а Блютлинг!) хроника в романе все-таки не превращается.

У Лидии Алексеевой свой самобытный «серый щебет», иногда переходящий в соловьиую трель; даже солнце у нее пытлиное, и бездомность ее трогательна, и забывчивость ее невинна... Не одобряю только я «зеркальца кривого», слишком в последнее время затасканного и Н. Осиповым в «Мостах», и Ильиным, а еще ранее и пишущим эти строки.

Даже Л. Д. Ржевский, которого не я один считаю одним из лучших зарубежных беллетристов пятидесяти лет, представлен «Полдюжиной талантов», рассказом не только стоящим ниже его нормального уровня, но и совершенно не подходящим для путешествия по «Мостам» на родину.

Разумеется, это произошло совершенно случайно, в результате хронологической последовательности капризной игры творческих порывов, но результат может опариваться только в первой его части; что же касается «подходящести», то судите сами: выведен герой не только совершенно неподходящий для ссылки на родину, но совершенно не характерный для русской эмиграции всех трех «призывов», которая не только в первом, но часто даже и во втором поколении, сохраняла свое лицо и даже влияла на свое окружение, в то время как его герой потерял не только имя и фамилию, превратившись в Теодора Шустера, не только все свои таланты, но и свой человеческий образ. Он превратился в по-

слушную марионетку своей немки Эрики, которую автор со свойственной ему зоркостью описывает так: «показалась уродливой: тонкая, как муравей, в брючках дудочками, и вся жолучая: острые плечи, острым треугольничком лицо, вытянутый нос, подбородок — все тоже острое и колкое... крикнула все тем же... пронзительным голосом с металлическим лязгом...» Тип такого эмигранта не может не стать бензином, подливаемым на костер советской пропаганды.

Рассказ Н. Верберовой «Памяти Шлимана» принадлежит к той категории претендует на роль Уэльса, Орвелла, если не самого Жюль Верна: вначале они заинтересовывают, потом вызывают недоумение, заставляют перечитывать в поисках изюминки и, под конец, лопаются, как мыльные пузыри.

Стихи О. Анстей написаны с привычным мастерством и находками, вроде «И двери хлопают веселым сквозняком». Приемлю даже на мое ухо не благозвучный стих: «Пьешь разреженный воздух нелюбви». Отмечу трогательные стихи:

«И свежестью отплаженной полна  
Душа, как скатерть на столе  
пасхальном».

Рассказ В. Ченцова, которого читаю впервые, «На хуторе» написан легко и занятно, а по сюжету очень подходит для посылки на родину.

«Таня» Н. Нарокова не носит на себе стигматов политики и риторики; язык этой главы без побрякушек, без притянутых за уши манерных описаний природы, исполнен той простоты, к которой стремился Лев Толстой в последний период своей жизни. Вопросы о «подходящести» и возникнуть не может.

Вступать в дискуссию с каждым из одиннадцати публицистов и критиков отдела «Литература и искусство» потребовало бы целой книги; я ограничусь поэтому разбором наиболее содержательной статьи о поэте Н. Заболоцком; статья подписана «Георгий Петров».

Укажу только предварительно, что в дискуссии на тему «О большой форме», которую ведут между собой (по привычному для эмиграции порядку) два уча-

стника «Мостов» Н. Верберова и В. Марков, слово «большой» употребляют не в том смысле, как обычно в спорте, науке, поэзии и т. п., не как переход к слову «великий» (большой мастер — ученый — поэт), а в смысле «длинный»; что предпочтительнее, поэмы длинные или короткие? В. Марков защищает поэтические длинноты.

Что касается Петрова, то он, видимо, увлекался Заболоцким в двадцатых годах, когда все его любимые поэты — Пастернак, Мандельштам, до известной степени — Кюнов и Заболоцкий были захвачены так называемым футуризмом. Наиболее талантливый из них, Пастернак, в опубликованной им автобиографии откровенно кается в том, что поэты в ту эпоху «не ценили плавной речи, как таковой, ценили не слово, а остроту около него; обещивали его побрякушками, усложняли выкрутасами; словом, достигали оригинальности неумением владеть ясной, образной, но понятной речью». (Чтобы выиграть место, я вынужден был это признание сконцентрировать).

Как это видно из стихов теперешнего Заболоцкого, перепечатанных из 12 кн. «Нового мира» за 1957 г. этот поэт в последний период своего творчества так же, приблизительно, относился к своим первым опытам, как Пастернак к своим.

Так или иначе, но мы не собираемся умалять таланта Заболоцкого, но только до определенного предела. Когда Петров пытается доказать «эстетическое равноправие» приведенных ниже стихов Заболоцкого с бессмертными стихами «Медного всадника», написанными 130 лет тому назад, то нам становится как-то не по себе и невольно вспоминается окрик Маяковского: «Почему не атакован Пушкин?» Чтобы доказать это «эстетическое равноправие», Петров приводит очень живописный лубок Заболоцкого:

«Сидит извозчик как на троне,  
из ваты сделана броня,  
и борода, как на иконе,  
лежит, монетами звеня.  
А бедный конь руками машет.  
То вытянется, как налим,  
то снова восемь ног сверкают  
в его блестящем животе».

Не спорю, хорошо, но где мощь пушкинского звукоподражания, его скульптурной музыкальности?

«А в звере сем какой огонь?  
Куда ты мчишься борзый конь  
И где опустишь ты копыта?»

Да и вообще весь ритм этого «тяжелозвонкого скаканья по потрясенной мостовой!»

Никакие ссылки на авторитеты, никакие мудрствования меня в «эстетиче-

ском равноправии» Заболоцкого с Пушкиным не убедят.

Не могу не отметить интересных статей С. Левицкого и Завалишина. Энергично порицаю перевод из Гзкли «Обыкновенно разрушено», в котором все правители государств только и занимались убийствами и разрушениями. Мне все-таки кажется, что между Ташмерланами, Чингиз-Ханами, Сталиными, с одной стороны, и Периклами, Александрами, даже Наполеонами, с другой стороны, кое-какая разница есть.

Григорий Забежинский

## Тарасов-Труайя — французский академик

Во Французскую Академию на кресло, освободившееся после смерти Клода Фарера, французские академики в первом же туре единогласно избрали Льва (Люсьен) Тарасова, литературный псевдоним которого Анри Труайя.

Читатели, следящие за литературной жизнью Франции, оценили по достоинству этот единственный в XX веке случай. Обычно избрание происходит после многих (от трех до семи) туров большинством в 13-18 голосов. На сей раз из 33 академиков (семь не явились на собрание, двое подали белые бюллетени) все поданные 23 голоса высказались в пользу Труайя.

Казалось бы, что русские газеты должны зазвонить во все колокола, но этого не случилось, а одна из газет, как бы извиняясь за единогласие французских академиков, пригласила к этому избранию инцидент с кандидатурой Морана, вызвавшей отставку академика Пьера Бенуа, но к избранию Труайя отношения не имевшей, так как Моран не претендовал на кресло Клода Фарера. Против кандидатуры Морана протестовал де Голль за то, что тот был активным коллаборантом с немцами.

Труайя еще нет 48 лет: это самый молодой академик. Присутствовавшие на приеме академики наперебой рассказывали о том, как они сразу открыли в нем большой талант. Рекорд побил Андре

Моруа, которому его дочь принесла из лицея рассказ ее одноклассника Тарасова; рассказ так понравился писателю, что он сразу отрекомендовал его для печати. Жорж Дюамель воскликнул: «Единогласное избрание — неслыханно!» Несменяемый секретарь Академии Женевуа, Эмиль Андрило, шеф литературного отдела старейшей газеты «Ле Мюнд», Франсуа Морьяк, профессор Мондор, Владимир д'Ормессон и недавно умерший критик Робер Кемп были в восторге.

Тарасов родился в 1911 году в Москве от отца-армянина и русской матери. В 1920 году его родители эмигрировали через Константинополь и Венецию в Париж. Одно перечисление его произведений заняло бы целую страницу. Ограничимся премированными произведениями: первый же его роман «Ле фо жур» принес ему премию Полюлистов; роман «Л'Арень» принес ему в 1938 г. Гонкуровскую премию; роман «Ля кле ле Вут» получил премию академика Барту, а в 1952 году он получил большую премию княжества Монако. Таким образом, Академия не нуждалась ни в каких инцидентах с Мораном, чтобы единодушно принять в свою среду эту четырехжды увенчанную голову.

В двадцать лет Тарасов получил французское гражданство, отбыл воинскую повинность офицером интендантства и

по окончанию юридического факультета поступил чиновником в Парижскую Префектуру.

Широкоплечий и могучий лауреат и ростом вышел более шести футов. Он рано женился, его старшей дочери уже двадцать два года. Жена его, скульптор, очень удачно вылепила бюст своего мужа, воспроизведенный французской прессой.

На меня и, полагаю, на каждого русского читателя сильное и незабываемое впечатление произвели три увесистые тома «Покуда земля будет стоять (длиться)» и пятитомный роман «Посевы и жатвы». Начинается эта хроника с описания жизни его предков на Кавказе и доводится до параллельной истории двух семейств, одной чисто французской, а другой армяно-русской, которым пришлось впоследствии соединить браком свои судьбы.

Читая эти романы, нельзя отделаться от чувства, что первые несколько томов написаны на основании рассказов его родителей, вывезенной еще в «первобытном» состоянии бабушки и дяди и тети по материнской линии. Потрясает правдивость и художественность описания всех подробностей быта Кавказа и юга России, а впоследствии и Москвы и Петрограда до 1920 года.

Предки по отцовской линии носят в романе фамилию «Дановы» и владеют большим по тем временам мануфактурным делом (Тарасовы позже были крупными мануфактуристами сначала на Кавказе, потом открыли отделение на юге России и в Москве); дед по материнской линии Арапов был доктором и имел трех сыновей и двух дочерей, биографии которых резко отличаются друг от друга.

Михаил Данов, герой первых трех томов и отец Бориса, героя последних пяти, в котором, в отличие от его брата,

именно и чувствуется прототип самого автора, тип необычайной привлекательности, на которого еще до большевистской революции выпало много горя, несмотря на его богатство. Во время войны и Дановы, и Араповы оказываются либо на фронте, либо в Москве и Петербурге.

Рассказать сюжет этой огромной многотомной хроники в пределах заметки было бы самонадеянной и обреченной на провал резвостью. Читателю придется мне поверить, что все эпохи описаны проникновенно, все типы до сих пор живут передо мной своей неподдельной клокочущей жизнью, и каждый из них неподражаем в своей единственности.

То же можно сказать и об изображении широкого полотна жизни русской эмиграции в Париже. Еще больше таланта и воображения потребовалось, вероятно, лауреату для художественного изображения среды для Тарасова новой, французской семьи, история которой тоже начинается с бабушки и бабушки главной героини, сыгравшей цветистую и многогранную роль в жизни Бориса Данова.

Кроме романов, Тарасов, как, впрочем, и Набоков, написал для французов биографию Пушкина (1946), «Странная судьба Лермонтова» (1952), большой труд о жизни и творчестве Достоевского (1940), «Размышления и воспоминания о Святой Руси», «Повседневная жизнь в России при последнем царе». Мне удалось уже прочитать и последний его роман «Компаньоны макового цвета», вышедший в эпоху выборов в Академию; об этом романе парижские критики высказаться еще не успели, между тем очевидно, что этот роман ляжет фундаментом, на котором автор построит какую-нибудь новую тетралогию.

Г. Борский

## Врачи в концлагерях

Две книги разных авторов, но схожие по содержанию. И в той и другой героя-

**Heinz G. Kosalik**, „Der Arzt von Stalingrad“, Kandler Verlag, München, 1956.

ми являются заключенные врачи и русские женщины-врачи.

У немецкого автора Г. Косалика — герой романа «Врач из Сталинграда» — военнопленный врач Вэлэр. У венгерско-



го автора Дечи Арвая в его книге «Ты не смеешь любить, кого хочешь» первой политзаключенный врач Бэла Фаркаш.

И в той и другой книге, помимо описываемых трудностей, с которыми пленным врачам приходится и днём и ночью бороться, большую роль играет любовь.

Г. Консалик уделяет много внимания более или менее односмысленным и, в пределах лагерной жизни военнопленных, не совсем правдоподобным любовным сюжетам. У Дечи Арвая, наоборот, несмотря на всю натуралистичность, с помощью которой он срывает последние покровы с человеческих переживаний, в отношениях между мужчинами и женщинами чувствуется большая трагедия, в которую веришь и которая вызывает глубокую жалость и боль.

Автор разворачивает перед читателем сцены «коллективной» лагерной «любви». И он же ведет нас в детдом к — плодам этой «любви», — детям, с серьезными глазами, детям, которые боятся улыбнуться невпопад, из уст которых, вместо смеха и шуток, летят отборная ругань.

Кстати, о ругани. Ею нестрият особенно первые страницы романа, и это то единственное, от чего автор — и не в ущерб своему произведению — свободно мог бы отказаться.

Но эти оба романа — не только истории любовных отношений. В то время как Консалик ограничивается описанием лагерной жизни военнопленных и командного состава лагерей, в книге Арвая затрагиваются серьезные, злободневные темы. В ней — искание истины и правды, искание новых путей, ненависть к коммунистическому режиму, оприданье существующего порядка, глухая, но упорная борьба за что-то новое, лучшее в жизни, немое, пусть еще не вполне осознанное, но медленно зарождающееся прозрение.

Небезынтересно отметить, что фильм «Врач из Сталинграда», первый фильм из жизни немецких военнопленных (в главных ролях Хассе — врач Бэлер и Ева Барток — Александра Косалинская) был оценен на кинофестивале в Виши как лучший иностранный фильм. Из-за этого фильма Советский Союз отказался от участия на фестивале. Больше того,

советское правительство приказало ответственному генералу Сталинградского района заявить через агентство ТАСС, что показываемые в фильме «Врач из Сталинграда» советские санитарные условия не соответствуют действительности, и врачебная помощь никуда не смещивалась с политическими или персональными требованиями. А шеф протокола советского посольства в ГДР Панасенко заявил в Шенеберге, что подобные фильмы, как «Врач из Сталинграда», вредны и несовместимы с задачей укрепления дружественных отношений между немецким и советским народами.

Но вернемся к самим книгам.

### ВРАЧ ИЗ СТАЛИНГРАДА

Автор, Хейнц Г. Консалик, посвящает свою книгу всем, кто не вернулся из плена, чья судьба осталась неизвестной.

Консалик рассказывает о враче Бэлере, попавшем в плен под Сталинградом, враче по призванию, а не только по профессии.

«Мы, поворот Бэлер, врачи не только потому, что умеем обходиться со степоскопом и скальпелем. Нет, мы должны быть примером. Мы должны быть сильны духом».

Кто же его пациенты? Военнопленные — истощенные, истощенные непосильной работой. Он — ему запрещено самому производить операции — оперирует простым ножом, ложкой, зашивает раны ниткой из украденной санитаром шелковой шали.

Честностью и стойкостью он вызывает к себе невольное уважение и русское врача и команданта лагеря. Благодаря своему поведению, ему удается добиться помощи от тех, кто сам не хочет жестокости, но над которыми, как Дамоклов меч, довлел система бесчеловечности и беспощадности.

Много тяжелого видит Бэлер: жестокость, право сильного, насилие, «коллективизацию» души, обезличивание человека, попрание человеческого достоинства. Но все усилия, десятками лет направленные на то, чтобы овладеть душой русского человека, сделать его вылитком в партийной машине, не увенчались успехом. Душа человеческая жива!

Она жива в Воротилове, коменданте лагеря, как жива и в русском враче Креслине. Она пробуждается в Александре Косалинской, обуреваемой любовью-ненавистью к одному из немецких врачей. Она точно боится своего сердца. Но всё же, иногда, в минуты раздумья и одиночества, Косалинская спрашивает себя: «Где оно, мое сердце? Кому оно нужно, заплыванное, испоганное и поруганное столькими ласками без любви?»

Пробудится ли душа когда-нибудь и в фантазике Маркове? Его идеал — всемирный коммунизм. Он ненавидит немцев всеми силами души, но, быть может, и в его жизни наступит час и он познает, что Бог создал людей братьями.

Бог вездесущ, Бог жив. Он среди одиноких и страждущих. Это о Нем тихий, надорванный голос священника-пленного, прерываемый глухим кашлем, произносит вечные слова любви и успокоения у койки тяжело больного.

В Бога всемогущего, вездесущего верит и врач Вэлер. Это Бог милосердия заставляет, наперекор указаниям властей, Креслина из Косалинской снабжать санчасть инструментами и медикаментами.

Рисую образы военнопленных немцев, автор находит среди них и отрицательные типы. «Стукач» Вальтер Гроссе, бывший мелкий партиз литлловского режима, предает своих товарищей, надеясь этим ускорить свое освобождение. Его постигает участь, обычная в лагерной жизни для «стукача».

Маловероятным кажется момент присутствия всего лагерного начальства, не исключая и Маркова, на ёлке военнопленных, на рождественском богослужении и на последующей всеобщей пьянке. Тут автор явно переборщил.

Из рассказов вернувшихся из плена мы знаем, что всё добро творилось тайно, вся жалость выражалась скрыто, ибо Бог и добро и жалость вычеркнуты системой из распорядка дня и живут лишь в глубинах человеческих душ.

### ТЫ НЕ СМЕЕШЬ ЛЮБИТЬ, КОГО ХОЧЕШЬ

Герой романа Дечё Арвая — венгерский врач Вэла Фаркаш — когда-то был коммунистом. Но он, как и многие другие, разочаровался, когда в Венгрии при-

шли «освободители». Он, как и многие другие, думал, что на знаменах пришедших будет пылать слово «Свобода». Но не свободу принесли «освободители», а рабство, угнетение и насилие. Фаркаш принадлежал к обществу венгерско-английской дружбы. Его неслепо обвинили в шпионаже, засудили по 58/4 статье и выслали отбывать наказание в концлагерь.

К своему счастью, он попадает в санчасть. Среди окружающего его ужаса он ищет человека и человечности. И в этих поисках Фаркаш постигает великую мудрость: он находит секрет, раскрытый «Маленькому принцу», — он начинает «видеть сердцем»\*).

Там Фаркаш встречает русскую женщину-врача — Наташу. Наташа — коммунистка. Она, не видевшая и не слышавшая ничего иного, слепо верит лживой пропаганде и напыщенным лозунгам. И только в разговорах с Фаркашем, по мере всё сильнее и сильнее пробуждающейся в ее сердце любви, она духовно прозревает и начинает прислушиваться к словам правды. Она познает всю гнусность, продажность и фальшь окружающей ее среды. И заключенные для нее становятся уже не преступниками, как это было вначале, а помятыми и страдающими людьми. Душа Фаркаша содрогается от бесконечных мрачных картин бедности, угнетения и мук.

Постепенно Фаркаш начинает ощущать нарастающее недовольство режимом. Люди ему доверяют и не стараются перед ним скрывать антикоммунистических настроений.

Меркулов — начальник «режима» открыто заявляет: «Если бы это было в моей власти, я бы отпустил всех заключенных». А на вопрос Фаркаша, как это он, член партии, решается говорить такие слова, Меркулов отвечает: «Я надеюсь, наступит время, когда мы, наконец, сможем говорить»...

Среди прочих встреч — встреча с Николаем. Он — студент-революционер, принадлежавший к подпольной организации, состоявшей из отдельных групп, не

**Deszö Arvay.** „Du darfst nicht lieben, wen du willst“. Verlag der Sternbücher, Hamburg, 1957.

\*) Сэнт-Экзюпери. Маленький принц.

более 3-4 человек в каждой, строго законотрированных. Они печатали антикоммунистические листовки, к ним призывало все больше и больше учащейся молодежи. Только после ареста, после многочисленных очных ставок Николай узнал, сколько у него было единомышленников, среди которых нашлись и люди, занимавшие высокие посты в партии.

Фарикаш, Наташа и Николай решаются бежать. Они благополучно добираются до горюда, где их встречает Леонид, — давнишний преданный друг Наташи. Леонид — писатель. Внешне — юн послушный исполнитель партийных заказов, но в душе — революционер и бунтовщик против существующего строя, духовного порабощения. Леонид снабжает беглецов провиантом, оружием, под-

ложными документами. Беглецы пробиваются к финской границе. И вот они на заминированном поле. Ползут ночные туманы. Пограничнику на вышке холодно и скучно. Закурить бы, погреться. Но вдруг — тревога! Тревога — вышка 197! Тревога — вышка 198. Тревога! Ракет, выстрелы. Бегущие леги. Лай собак. Наташа падает, она смертельно ранена.

«— Беги, Николай, спасайся! У тебя есть многое что сказать, там — на Западе!» Нога Фарикаша осторожно нащупывает спрятанную в траве мину. Крики: «Руки вверх!»... и взрыв.

А Николай, изнемогая от усталости, бредет по делям финского леса. И думается ему: «Россия! Почему погибают твои дочери, и сыны твои обречены скитаться на чужбине?!» М. Шведова

## Молодежь и коммунизм

В западном мире о коммунизме написано много, но в написанном приходится довольно долго копаться, прежде чем обнаружится достойное серьезного внимания.

Поэтому понятно чувство осторожности, даже некоторой предвзятости, с которыми мы подходим к каждой новой книге иностранного издания, автор которой взялся за нелегкое дело описания или объяснения того или другого явления или качества коммунистической системы.

С таким чувством затаенной тревоги и опасения — не очутиться бы снова, в который раз, под тенью развесистой клюквы — раскрыли мы книгу Эмиля Видеркера — «Молодежь в сфере влияния красной морали».

Из названия книги явствует, что автор ее пожелал ознакомить читателя с целями и методами коммунистического воспитания молодежи, показать результаты

этого воспитания. Естественно напрашивалось предположение, что иностранный автор может в своей работе пойти по легкой, проторенной дорожке довольно распространенного в демократическом мире мнения, будто молодежь, выросшая в условиях коммунистической несвободы, неминуемо должна целиком и полностью верить в ту ложь, которой систематически оправляет ее коммунистическое воспитание.

Однако Видеркер не пошел тем путем, что легче. Он не стал искать юмнистических логических подпорок под основной аргумент, на котором держится утверждение о коммунистической «диспорченности» восточной молодежи, заключающийся в том, что изолированность молодежи, живущей в коммунистических странах, от внешнего мира лишает ее возможности сравнений и тем самым делает ее некритической вообще и восприимчивой к коммунизму, в частности.

Эмиль Видеркер не последовал весьма заразительному примеру многих, так называемых знатоков и специалистов по восточным вопросам, и не стал заниматься в своем труде подбором сомнительных фактов, подтверждающих ту или иную, более или менее фантастическую теорию.

**Emil Wiederkehr.** „Jugend im Bahnkreis der roten Moral“, Dokumente und Tatsachenberichte über die Lage der Jugend in den Oststaaten. Hilfskomitee für die Opfer des Kommunismus, Bern 1958.

Он просто знакомит своего читателя на основании обилия фактического материала с принципами, на которых строится воспитание и образование молодежи в коммунистических странах. Этот материал, несмотря на то, что он несколько устарел, в связи с проведением последних реформ высшей и средней школы в СССР, позволяет читателю создать довольно полную картину положения молодежи в коммунистическом мире, вскрывает основную цель коммунизма, заключающуюся в стремлении создать так называемого нового человека социалистического общества. То обстоятельство, что в фактический материал, используемый Эмилем Видеркером, воцарились незначительные и принципиально несущественные погрешности никак не умаляет ценности книги, ибо эти погрешности не искажают истинного положения вещей в целом.

Вне всякого сомнения, ознакомление западного читателя с принципами и методами коммунистического воспитания и образования — дело само по себе очень полезное и важное. Но если речь идет о главной цели коммунизма, о создании т. н. человека нового социалистического общества, то совершенно недостаточно дать читателю представление об огромных затратах коммунистической системой сил и средств на дело образования и воспитания молодежи в уютном ей направлении. Автор книги о молодежи обязан ответить на один из важнейших вопросов современности — удалось ли коммунизму, по крайней мере в России, достичь своей основной цели, создать реального, осязаемого человека социалистического общества.

Эмиль Видеркер дает в своей книге ответ на этот важный вопрос, и ответ его принципиально верен. На основании анализа фактического материала он приходит к выводу, что коммунистическая система потерпела фиаско в деле создания человека социалистического общества даже там, где она существует более сорока лет.

Видеркер очень удачно определил сущность т. н. человека социалистического общества, каким его хочет видеть коммунизм. Это — «человек, лишенный своего личного духовного и умственного ка-

питала». Но такого человека, утверждает автор, несмотря на все старания и ухищрения коммунизма, в природе не существует и существовать не может.

«Молодежь, пишет Видеркер, даже сама того вполне не осознавая, не может бесконечно долго удовлетворяться голыми фразами о построении социализма. Молодежи нужен «опыт» духовных ценностей, которую коммунизм дать ей не может». И несколько дальше: «... несмотря на колоссальное давление коммунистического воспитания на молодежь, в Советском Союзе рождаются люди, которые по складу своего характера стремятся к критическому мышлению. Эти люди видят существующие противоречия между большевистской теорией и большевистской практикой».

Неспособность системы дать молодежи духовные ценности, наличие глубокого противоречия между теорией и существующей практикой — вот основные причины, которые заставляют передовую часть молодежи становиться в оппозицию к режиму, ее возглавляемому. Это хорошо показывает Видеркер своему читателю, основываясь на объективном фактическом материале.

«Конечно, можно считать, что анти-советские настроения молодежи являются лишь инстинктивной реакцией молодых людей против односпоровности и, прежде всего, против огуки, предписанного государством образа жизни...», — замечает Видеркер и сразу же отбрасывает подобно рода предположения. Пороки коммунистического режима значительно тяжелее. «Самое ужасное в системе... это то, что система превращает жизнь в одну единственную опрощенную ложь, что ежедневно и ежедневно приходится слышать и читать ложь и приходится лгать самому». Именно против наглой лжи режима восстает молодежь и восстает не молчаливым пассивным протестом, а с оружием в руках. Поэтому много места в своей книге отводит Видеркер описанию и анализу Венгерской революции 1956 года и показывает, что революция эта была революцией молодежи.

Отдавая должное революционным событиям 1953 и 1956 гг., рассматривая их как показатель самого яркого и активного проявления сопротивления молоде-

жи коммунистическому режиму, Видеркер, однако, предупреждает, что было бы глубоко ошибочным считать, будто только в период открытых революционных выступлений молодежь имеет возможность проявлять свое отношение к системе, оказывать ей реальное сопротивление.

«Было бы совершенно неверным считать, — пишет Видеркер, — что поведение советско-венгерской молодежи во время революционных событий 1953 и 1956 гг. является единственной формой сопротивления молодежи красному режиму. Это сопротивление существует постоянно, хотя формы его меняются, что очень часто не замечается западными наблюдателями. В настоящее время сопротивление это оказывается в моральном и духовном планах. Студенты Ленинградского университета, дискутирующие о книге «Не хлебом единым», киевские молодые рабочие, бойкотирующие своих производственных начальников, варшавские юноши, создающие джаз-оркестр... тысячи молодых людей, с успехом отказывающиеся от «добровольного» поступления в армию в ГДР — все они оказывают сопротивление режиму».

Рассматривая различные формы борьбы молодежи Видеркер особое внимание обращает на влияние церкви и религии на молодежь, особенно в России. «Христос живет в России», — с радостью отмечает автор и считает, что это обстоятельство является залогом тщетности большевизма привлечь на свою сторону ценную по своим духовным качествам молодежь.

Коммунистическая власть реагирует на сопротивление молодежи, применяя против нее меры насилия и террора. Но насилие в единоборстве с идеей оказывается бессильным. «Вождей оппозиционной идеи можно бросить в тюрьмы — но идею запретить нельзя. Она продолжает жить, не обращая внимания на то, раз-

решена ли она или запрещена,» — так считает Видеркер, и он абсолютно прав.

Непредвзятый подход к теме и наличие обширного фактического материала позволили Видеркеру прийти ко многим очень интересным, ценным и порой революционным для западного образа мышления выводам. Исходя из хорошо им обоснованного убеждения, что молодежь, вырастающая в условиях коммунизма, является его самым страшным врагом, Видеркер приходит к заключению, что коммунизм исторически обречен на гибель.

Не имея возможности в коротком обзоре дать развернутый и глубокий анализ работы Эмиля Видеркера, которого она определенно заслуживает, можно с удовлетворением отметить, что ему удалось написать очень хорошую книгу, которая не только знакомит читателя с фактической стороной положения молодежи в коммунистическом мире, но и рассеивает довольно распространенный на Западе миф о коммунистической «испорченности» подрастающего нового поколения. Наличие обширного фактического материала и построенные на нем строго логические выводы — без мудрствования лукавого — вот основа успеха Видеркера.

Короткий обзор интересной и очень ценной книги хочется закончить цитатой из нее: «Общество, в котором предостерегающий голос критики нетерпим, теряет силы, которые необходимы ему для очищения от вырабатываемого им самим шлака. Зажим голоса сомнения одновременно является зажимом голоса ответственности. Там, где голос совести принужден молчать, распространяется бессовестность. Такое общество осуждено в конце концов задыхнуться в своей собственной грязи. Именно в таком состоянии находится большевистское общество... и из этого состояния спасения быть не может».

*О. Красовский*

## В защиту идеи промышленной демократии

Промаатривая как-то №10 журнала «Мировая экономика и международные отношения» (за 1958 г.), мы невольно обратили внимание на рецензию М. Вюлко-ва, помещенную под заголовком «Фабианская утопия, о промышленном партнёрстве», и в результате этого ознакомились с оригиналом — книгой проф. Джорджа Коула «Доводы в пользу промышленного партнёрства», заслуживающей внимания нашей общественности.

Сперва скажем вкратце о самом авторе. Проф. Джордж Коул представляет интеллектуальные кружки британской лейбористской партии, он является президентом Фабианского общества и известен как теоретик в социологической и экономической областях. Следующие труды Коула характеризуют круг его интересов:

- а) «История социалистической мысли», состоящая из трех томов, именно: т. I — «Социалистическая мысль. Предвестники социализма»; т. II — «Марксизм и анархизм»; т. III — «Второй интернационал»;
- б) «Опыт пред-юнионов (К изучению истории британских профсоюзов)»;
- в) «Введение в историю экономики»;
- г) «Движение британских рабочих (Избранные документы)»; эта работа сделана совместно с А. Филсоном.

Для дополнения характеристики Джорджа Коула отметим, что он далеко не во всем согласен с руководством своей партии, в частности он выступает против бюрократической национализации предприятий и целых отраслей национального хозяйства. Коул предпочитает систему промышленного самоуправления рабочих, которой, собственно, и посвящена рецензируемая книга.

Автор назвал ее «Доводы в пользу промышленного партнёрства», но в сущности книга охватывает более широкий круг вопросов и ее скорее можно было бы назвать «Доводы в пользу промышленной демократии». «Если в политической жизни, — пишет Коул, — британские рабочие и служащие располагают

демократическими правами, то почему в промышленной жизни также нельзя внедрить демократический порядок». И этот порядок он полагает возможным установить через систему промышленного партнёрства. Иначе говоря, Коул ратует за предоставление каждому рабочему статуса партнёра, статуса соучастника. Автор книги полагает это тем более необходимым, поскольку труд является творческим фактором в производстве и обслуживании (service), в то время как капитал является лишь инструментом, с помощью которого возможно применение этого труда.

Ратую за предоставление рабочим и служащим статуса партнёра, проф. Коул, вместе с тем, выступает против демагогических коммунистических призывов к классовой борьбе. Он, наоборот, видит решение социальной проблемы в развитии духа единения, он верит, что артельный дух (team spirit), чувство общей ответственности за производство создадут благоприятные условия в промышленности и в целом в общественной жизни. Следует при этом заметить, что Джордж Коул в демократии видит не политический жупел, нет, он рассматривает демократию в гуманистическом, и, мы сказали бы, в солидаристическом аспекте.

Но это единение, этот дух возможны, прежде всего, при том условии, если каждый рабочий, каждый служащий будут уверены в своем «завтрашнем дне», если они будут знать, что при всех обстоятельствах они не останутся безработными. Такую уверенность, по мысли Коула, и дает статус партнёра. Управление предприятием, приняв систему партнёрства, не может уволить рабочего или служащего, если таковой не совершил порочащего его проступка; если по тем или иным причинам нет необходимости в данной профессии, администрация предприятия обязана за свой счет обучить данного рабочего новой квалификации и предоставить затем работу в этой новой для него области. Более того, проф. Коул полагает необходимым статус партнёра распространить на всю промышленность, благодаря чему тот или иной трудящийся в случае отсутствия работы

на одном предприятии будет переведен к сохранению права партнера на другое.

Этот вопрос автор связывает также с проблемой полной занятости и подходит к ней весьма серьезно и ответственно. Он отдает себе отчет, что успех британского хозяйства в значительной мере зависит от экспортных возможностей и экономического положения других стран. Коул поэтому предостерегает от рискованных экспериментов при решении проблемы полной занятости. Он связывает ее решение также с необходимостью центрального планирования капиталовложений, но и к этому вопросу он подходит не догматически: нет, он полагает правильным подходить разное к различным отраслям промышленности, в соответствии с факторами, определяющими каждый из них, и, в том числе, с уровнем их технического развития. Так, например, угольная промышленность, электроснабжение, железные дороги, гражданская авиация подлежат, по его мнению, центральному планированию, а газовая промышленность — нет.

Здесь следует оговорить, что проф. Коул не за планирование советского типа, чересчур детализированное и потому бюрократическое, а за планирование, устанавливающее лишь узловые точки (starting points). Частные предприятия и объединения планируют развитие своего производства сами, но предприятия ведущих отраслей, как, например, по производству сырой стали, должны сочетать свои планы с планом национального развития.

Вопросы автоматизации, реконструкции, а стало быть и планирования, Коул связывает с применением статуса партнера. Он полагает необходимым обязать администрацию предприятий, прежде чем планировать, автоматизировать, реконструировать, — консультироваться по этим проблемам с их партнерами — рабочими и служащими, обладающими практическим опытом в данном производстве. Администрация предприятий морально обязана консультироваться, т. е. автоматизация, и вообще всякая реконструкция, приводит к перемещению рабочих и служащих, а то и сокращению их численности. Консультироваться с ними необходимо и потому, что реконст-

рукция в плане партнерства приводит к перекалфикации части рабочих и служащих. Коул полагает, что такая консультация устраняет недоверие к администрации, что вообще совместное обсуждение открывает путь к совместному решению.

Право соучастника-партнера распространяется и на контроль всей рабочей жизни, причем этот контроль может осуществляться или непосредственно самими рабочими и служащими или, в случаях решения высокой производственной политики, их представителями.

Наконец, Коул настаивает на праве партнеров избирать низовых руководителей производства — бригадиров, десятников, мастеров, даже техников, при этом он оговаривает, что таковые должны избираться из числа технически квалифицированных работников.

Джордж Коул полагает, что общество в своем развитии все более тендирует к социальности, что в общественной и государственной жизни всё более будет проявляться общественный контроль то ли в виде общегосударственных корпораций, то ли в виде местных муниципальных или кооперативных обществ.

Как социалист Д. Коул — противник частной собственности и сторонник той формы предприятия, которую он называет non profit making (не преследующих прибыль). Он полагает, что удельный вес общественной собственности (social ownership) всё будет возрастать и что распределение дохода будет всё более справедливым.

В связи с отрицанием Коулом частной собственности, выявляется и его социалистическая же позиция по отношению к системе участия трудящихся в прибылях. Он полагает, что эта система превращает рабочих в низшего сорта капиталистов, что эта система не устраняет, а исправляет капиталистическую эксплуатацию.

Коул против участия трудящихся в прибылях, поскольку таковая система касается лишь части всех трудящихся, в то время как предлагаемая им система партнерства касается всех, в том числе промышленных рабочих и служащих национализированных предприятий, работ-

ников транспорта, просвещения, здравоохранения, социального обеспечения и т. п.

Здесь мы можем возразить автору, что система участия трудящихся в прибылях вполне применима и в государственных предприятиях, на транспорте и в частных учебных заведениях и больницах. Если лейбористы не сумели наладить дело в национализированных ими отраслях, то это еще не мотив вообще отклонять систему участия трудящихся в прибылях; если в России железные дороги всегда приносили и в дальнейшем будут приносить доход, то почему часть этого дохода не может быть отчислена самим железнодорожникам, которые при этих условиях будут еще в большей степени стараться поднять коммерческий оборот. И вообще отклонение этой системы из-за ее неприменимости в тотальном масштабе, с нашей точки зрения, недостаточно резонно. Социалисты всегда гоняются за глобальными масштабами, а что из этого получается — хорошо известно нашему народу.

Коул выдвигает и другую мотивировку, что будто система коллективных договоров — лучший способ для справедливого распределения заработков, но и это возражение не выдерживает критики, т. к. скажем мы, — одно другому не мешает. Ведь доля прибыли есть дополнение к основному заработку, к тому же доля, исчисляемая пропорционально основному заработку. Поэтому система участия в прибылях никак не нарушает справедливое распределение.

Далее Коул полагает, что оплата труда должна учитывать качество труда, а вовсе не исходить из степени успешности предприятия. Но, заметим мы, временная система, ведь, не учитывает качества труда, а сделанная, как показывает советский опыт, и вовсе противоречит качественной стороне, оценка же успешности предприятия, наоборот, включает в себя и качественный признак.

В выборе системы оплаты труда у Д. Коула также оказывается социалистический подход, направленный на уравнительность, который, конечно, ставит в

выгодное сравнительно положение неквалифицированных рабочих и, наоборот, в невыгодное — квалифицированных. Мы против такой уравниловки, мы полагаем, что система участия трудящихся в прибылях, из которой вовсе не исключаются и неквалифицированные рабочие, повышает благосостояние человека. Коул, кстати сказать, признает, что фирмы, применяющие эту систему, часто выплачивают рабочую долю прибыли в гораздо большем проценте по сравнению с процентуальным образованием самой прибыли.

В заключение отметим некоторые моменты, не относящиеся непосредственно к основной теме нашей статьи, но вместе с тем интересные для последователей системы направляемого хозяйства. Как видно из рецензируемой книги, в такой либералистической стране, как Англия, правительство фактически направляет экономическую жизнь. Коул указывает, например, что в целях поднятия уровня априкультуры, иначе говоря в целях сокращения импорта продовольственных товаров, британское правительство выдавало сельским хозяевам субсидии. С другой стороны, как указывает Коул, правительство оказывало давление на производителей с целью увеличения экспорта; автор книги прямо отмечает, что правительство проводило «политику сжатия кредитов» (очевидно в отношении импортёров), чтобы сбалансировать торговый баланс.

Разумеется, всё изложенное проф. Коулом не могло уподобиться руководству КПСС, и потому журнал «Мировая экономика и международные отношения», выполняя роль своих хозяев, идею промышленного партнёрства пытается представить утопичной, несбыточной, простым прожектерством. Критика партийного журнала сводится к столь известным и приевшимся штампам, что приводить их нет смысла, но то, что руководство КПСС обратило внимание на идею проф. Коула, говорит о том, что оно обеспокоено возможным влиянием подобных идей на советских граждан.

*М. Залевский*



Copyright by „Possev“

---

Главный редактор **Е. Р. Романов**  
Заместитель главного редактора **Н. Б. Тарасова**

Редакционная коллегия:  
**А. Н. Артемов, А. Н. Неймирок, А. И. Поплюйко, А. С. Светов.**

---

Адрес редакции журнала «Грани»:  
**Possev-Verlag, Frankfurt/M., Merianstr. 24-a**

---

**Druck: Possev-Verlag, V. Goraschek K. G., Frankfurt Main.**

**Цена 6 марок (6 DM)**